

- **КАК СТАТЬ СВОИМ В СТРАНЕ ТИРАНОЗАВРОВ** –
новая "Повесть "экскурсовода" Дм. Шляпентоха
- **ЛЕВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ В ПОЗЕ ОТЧУЖДЕНИЯ** –
статьи Э. Ротштейна и А.-Б. Иошуа об израильской
"левой"
- **Я – НЕ АНТИСЕМИТ,** –
или скандал вокруг "Тезисов" профессора Нольте
- **ТРАГЕДИЯ, ПРЕВРАЩЕННАЯ В ДРАМУ** –
раздумья Нины Воронель о творчестве в эмиграции
- **ПЕРЕВОД ЕСТЬ ПЕРЕВОД ЕСТЬ ПЕРЕВОД** –
заметки М. Генделева и Д. Юста о поэтическом
переводе
- **ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ** –
новое прочтение эмигрантской судьбы Александром
Суконином

22

**МИШУСЬКИ И ПЕРУСЬКИ
- А В КНЯЖОМ**

53

МИ

№ 53

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле
Лауреат премии имени Р. Н. Этингер за 1984 год*

53

апрель-май 1987



*издание общественного культурного фонда
"МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством израильского комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3 *ДМИТРИЙ ШЛЯПЕНТОХ*. Тиранозавр Рекс
56 *ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ*. Слово за слово (часть третья)

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 95 *ЭДВАРД РОТШТЕЙН*. Левый интеллектуал в позе отчуждения
107 *А.-Б. ИОШУА*. Вина левых интеллектуалов
116 *Р. Н.* Вместо послесловия

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 118 *ДАНИЭЛЬ ДАГАН*. Я не антисемит, — говорит профессор Нольте

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

- 131 *РИЧАРД НЕЙХАУЗ*. Перечитывая Ортегу

РУССКИЙ ВОПРОС

- 142 *АЛЕКСАНДР СУКОНИК*. Апология господина Лимонова

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

- 175 *НИНА ВОРОНЕЛЬ*. Воскрешение из мертвых

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

- 187 *МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ*. Подстрочник-87
201 *ДАВИД ЮСТ*. Об одном переводе

ЛЮДИ И КНИГИ

- 212 *Г. ДРИЗЛИХ*. Реинкарнация литературного героя
215 *А. ПТАШКИН*. Заметки читателя
218 *Б. КАМЯНОВ*. Перлы, извлеченные из жемчужин

ПИСЬМА

- 221 *Н. КОРЖАВИН*. Письмо Н. Щаранскому
222 *Н. ЩАРАНСКИЙ*. Ответ Н. Коржавину

ЛИТЕРАТУРА

Секретарь парторганизации нашего Бюро решительно отличался от прочих членов правящего триумvirата. Он был строен, подтянут и никогда не позволял себе неряшливую небрежность в одежде и панибратское похлопывание по плечу экскурсоводов, столпившихся в курилке. Не унижался он до распекания вверенной ему паствы за халтуру, но подавал голос только тогда, когда вопрос имел вечно-политическое идеологическое, а не преходяще-экономическое значение. И поэтому-то, когда он, оправив пиджак, поднялся со стула, чтобы выступить на очередном профсоюзном собрании, граждане встrepенулись, ожидая что-нибудь политически значимое. "Товарищи! — сказал он. — Национальный вопрос очень важный вопрос. Его нельзя недооценивать".

От этой четко выговоренной фразы граждане застыли в тревожном ожидании очередной негативной информации. Большинство не ожидало ничего необычного. Все было ясно: поступила очередная жалоба в вышестоящую инстанцию, но на этот раз клиент был недоволен не халтурой, а каким-нибудь идеологическим ляпсусом. Хотя никакая жалоба не сулила ничего хорошего, идеологическая жалоба, могу уверить читателя, тревожила работников нашего Бюро несравненно меньше, чем жалоба про-

Дмитрий Шляпентох

ТИРАНОЗАВР РЕКС

(Из "Записок экскурсовода")

изводственного характера. Идеологические ошибки совершались обычно земными новобранцами или внештатниками, и совершались они не по причине отсутствия должной политической подкованности, а из-за творческого подхода к работе. Неисхалтурившись и веря в свое творческое, культуртрегерское призвание, внештатники и новобранцы желали действительно ублажить клиентов, а тут-то с неизбежностью и отходили они от канона, отличительной чертой которого была мертвящая скука. Уж на что я был убежденным халтурщиком, уж на что был пуган доброхотами перед вступлением в ряды экскурсоводов (будь бдителен и осторожен, в Кремле собираешься работать, а там, сам понимаешь, стукач на стукаче), да и то не выдержал — захотелось по началу творчества, чтоб уж клиенты не совсем спали. Так вот, эта самая греховная страсть к творчеству с неизбежностью поволокла меня куда-то в сторону от проторенных и идеологически проверенных путей. И на Соборной площади вместо того, чтобы обстоятельно истолковывать и расписывать гражданам значение этого архитектурного комплекса, стал я им говорить про террор Ивана Грозного и его лично-сексуальную жизнь (на нее я особенно не жалел красок), что граждан, естественно, сразу оживило. На беду, а может на мое счастье, “слушал” меня какой-то начальствующий тип и после экскурсии сделал мне соответствующее внушение: всю эту кровавую сексуальность нужно немедленно отменить, а упор делать на закомарах и кокошниках. И намекнул, что ежели какая кровавость или сексуальность будет замечена в будущем, то не избежать мне беды. Пугал он меня, а зря. И не стоило ему на меня энергию тратить, ибо по прошествии нескольких месяцев я окончательно исхалтурился, интерес к вверенному мне делу потерял и стал пономарем бубнить экскурсию. И это мое бубнение какому-либо творчеству было абсолютно чуждо, а посему ни секс, ни террор в нем не присутствовали; они не появились бы даже в случае объявления свободы слова, печати и собраний. Только в этом случае стало бы мне труднее отбиваться от настырных клиентов. Сейчас, при советской власти, всегда есть ответ: “Скучно? А я эти тексты сам не сочиняю”. А при свободах так просто от них не отбрыкаешься, так что, как экскурсовод, я всегда был против этих самых свобод.

Сообщив гражданам, что национальный вопрос является очень важным и забывать о нем никак не следует, парторг обвел пронизывающим взором притихшие ряды экскурсоводов, останавливая его периодически то на экскурсоводе, читающем детектив, то

на его товарище, основательно пережевывающем бутерброд. И в тот самый момент, когда парторг обводил наши ряды своим взором, я стал перебирать все возможные источники очередной неприятности, а именно, как "национальный вопрос" может повредить нашему Бюро, а, главное, мне лично.

Наше Бюро было многонациональной организацией. Кроме господствующей народности, украинцев, евреев, азербайджанцев и армян, в наших рядах был замечен даже один кореец, китаец шофер и полунемка, в глубине души своей верившая в то, что на ее горе, все считают ее никакой там не полунемкой, а настоящей стопроцентной арийкой. Евреи и арийцы трепетали и при возможности усиленно маскировались под несемитов и неарийцев. Одна из работниц нашей бухгалтерии была толстая старая еврейка пенсионного возраста. Свиным студнем она расплывалась на сидении маленького колченого стульчика и выдавала толпившимся и горланившим экскурсоводам путевки. В том случае, когда мы оставались наедине, она не без труда приподнималась со стульчика и, колыхаясь всеми своими складками и чудовищными обвисшими грудями, шипела мне в лицо с пророческим пафосом: "Поверь мне! Пройдет еще немного времени и нас здесь не будет". После этого, с чувством исполненного долга, она снова медленно оседала на свой отчаянно скрипящий под непосильной ношей стульчик и застывала. В ее старческих добрых глазах я видел пророческий ужас. Так, наверное, пророки смотрели на великий и пышный город Иерусалим, уже обреченный к гибели за свои многочисленные и сладостные грехи.

Нас в Бюро было до удивительности много: где-то, наверное, процентов 25, а с полукровками и четвертушками и того больше, но наиболее примечательным было то, что непрекращающийся набор евреев в штат происходил в течение всех трех царствований, которые мне удалось пережить.

Семиты трепетали. Но гораздо больше их трепетали арийцы, вернее та единственная полунемка, которая была в рядах нашей организации. Я разговорился с ней, когда мы вместе ждали прибытия группы в высотном здании Московского университета на Ленинских горах. Экскурсия по зданию заказывалась довольно редко, главным образом для иностранцев. Сидя в ожидании экскурсии под массивной колонной, я заметил своего коллегу. Я знал ее в лицо, но лично познакомиться нам до этого не довелось. Она тоже. И назвала свою фамилию. "Вы еврейка?" — "Нет, — сказала она и

как-то вся съежилась, инстинктивно сжалась от сознания своего первородного греха, — я немка, вернее полунемка. Мать у меня русская, а отец немец". Она посмотрела на меня грустными еврейскими глазами: "Ты знаешь, Дмитрий, мать моя иногда полушута называет меня фашисткой. И ты знаешь, если что произойдет, то вас наверное сошлют, а нас расстреляют. Это точно".

Был у нас в Бюро и один испанец. Если я не ошибаюсь, он был из тех испанских детей, которых вывезли из осажденной Барселоны. Он знал испанский и говорил совсем, по-моему, не таясь, что подумывает о возвращении на свою национальную родину. Эти разговоры об эмиграции не рассматривались властями, как нечто криминальное и были почти легализованы. Перед тем, как принять окончательное решение, испанец направился в Испанию туристом и возвратился разочарованным, но не столько в Испании, сколько в капитализме. Он говорил, что жить там он, наверное, сможет лучше, чем в России, но никакой работы, кроме как уборщика, он не найдет.

Из других экзотических народностей, обитающих в районе Бюро, я хотел бы отметить китайцев и ассирийцев. Юная и симпатичная китайка работала в столовой, размещенной как раз под нашей штаб-квартирой. Она была еще более закомплексована, чем немка, и не желала подымать китайскую тематику вообще. Ассирийка занималась тем, чем занимается подавляющее большинство московских ассирийцев: чистой обуви. Однажды, после трудового рабочего дня я поставил перед ее усатой, крючконосой семитической физиономией свой потрескавшийся бутс. Решив блеснуть эрудицией и продемонстрировать свои познания в ассирийской истории, я сообщил чистильщице, что ее народ не всегда пребывал в политическом убожестве и почти три тысячи лет тому назад был обладателем огромной империи, наводившей ужас на весь Ближний Восток. Чистильщица радостно встрепенулась и, продолжая с удвоенным рвением начищать мои бутсы, заметила мне, что нечто сходное говорили местные ассирийские старики, хранители исторических традиций народа. По их словам, сообщила мне чистильщица, действительно, была у них великая империя и просуществовала бы она, быть может, по сей день, да случилось несчастье: один из царей ассирийских оказался человеколюбив и гуманен и в руки оружия не брал. Даже тогда, когда надо было спасать страну от иноземных завоевателей. От гуманизма этого, закончила чистильщица и свою речь, и шлифование бутс, и пала империя, и впали мы в убожество.

В такой-то, оказывается, форме дошла до моей чистильщицы почти трехтысячелетняя легенда о Сарданапале. Только в соответствии с первоначальным текстом легенды Сарданапал не возглавил ассирийскую армию вовсе не по причине гуманизма, а потому, что был ослаблен излишествами.

Представители всех этих экзотических и неэкзотических народностей водили экскурсантов, чаще всего русских, по русскому Кремлю. И надо сказать, что тот факт, что экскурсоводы по национальному центру русского народа сами были часто не русскими, приводил если и не к трению, то, определенно, к некоторому отчуждению между экскурсоводами и клиентами. Это несоответствие между национальной символикой архитектурно-исторического храма и нерусскими фамилиями жрецов чувствовали и сами носители этих фамилий. Однажды, прогуливаясь по Александровскому саду, я заметил мою коллегу, обладательницу звучной восточной фамилии, стремительно вместе с группой несущуюся к Боровицким воротам. Я окликнул коллегу, назвав и имя ее, и фамилию. После экскурсии коллега сделала мне выговор: не называй меня по фамилии в присутствии клиентов: нечего им, дескать, знать, что ведет их по Кремлю не русская девушка, а какая-то восточная личность. Кошунственное что-то в этом могут усмотреть. И была, в общем-то, права: сам я свою звучно-иудейскую фамилию предпочитал клиентам не называть. Не нравилось клиентам иногда и то, что имена строителей Кремля были все итальянские. Составители методички, понимая возможность нежелательных вопросов, требовали от нас, чтобы мы говорили, что хотя имена архитекторов и итальянские, но архитектурный стиль соборов русский. Надо было также отметить, что многовековое татаро-монгольское иго привело к нехватке национальных кадров, а поэтому и приходилось прибегать к помощи иноземных специалистов. Но я, например, часто эти все разъяснения методички пропускал и на вопрос: "А почему это тут все имена иностранные? Что же это русских мастеров не было? — отшучивался иногда: "Обращайтесь, товарищи, в отдел кадров к Ивану Ш".

Методичка также требовала, чтобы мы указывали, что славяне жили на территории Москвы издревле и являются ее исконными жителями. Если бы я долго останавливался бы на том, что до славян здесь жили финно-угорские племена, а славяне пришли сюда довольно поздно, то, прослушав бы мою экскурсию, методисты не сделали бы мне выговора, но отчуждение между мной и

группой могло возникнуть. Граждане, выслушав обстоятельную речь экскурсовода о том, что вовсе не являются они коренными жителями этой земли, а наследовали ее у каких-то финно-угров, стали бы внимательно приглядываться к лицу экскурсовода. И приглядевшись, легко пришли бы к выводу, что лицо-то совсем не славянское и что за нейтральным “Дмитрием Владимировичем” скрывается иудей. “Так вот, — решили бы они, — этот еврей пытается доказать, что он и мы, чистокровные русаки, имеем одни и те же права на эту землю. Это явно сионистские происки”. И будет отчуждение между экскурсоводом и клиентами, а отчуждение может легко перейти в скандал, а скандал в выговор. А поэтому я предпочитал о финно-уграх долго не распространяться.

Вообще желание меньшинств доказать, что все на данной территории люди пришлые, а желание большинства доказать обратное — явление, по-моему, универсальное. Помню, был я перед отъездом в Средней Азии. Кажется, в Хиве я заинтересовался серо-пепельной стеной, четко вырисовывавшейся на фоне глянцевого синего неба. “Когда построена?” — спросил я у туземного гида. “Во втором веке до нашей эры”, — кажется, ответил он мне. “Спасибо. Значит, строили ее, наверное, или кушане, или парфяне”. — “Какие там еще парфяне, узбеки строили”, — возмутился гид. “Простите, — сказал я, — я, конечно, не специалист в среднеазиатской истории, но точно знаю, что никаких узбеков до 16-го века здесь не было. Если я, конечно, не ошибаюсь, в это время на территории Средней Азии были парфяне и кушане; я могу, повторяю, ошибиться, но то, что я знаю точно, так это то, что никаких узбеков здесь не было”. — “Ничего вы не понимаете, — ответил мне гид, — здесь всегда жили узбеки, но просто тогда, во втором веке до нашей эры, их называли парфянами”.

Совсем иное виденье туземной истории я нашел у русского экскурсовода в Ташкенте. Ташкент был конечным пунктом моего путешествия по Средней Азии. В столице республики нас (я путешествовал с сестрой) пригласил к себе какой-то комсомольский вождь (моему отцу удалось устроить наше путешествие так, что мы оказались под покровительством ЦК комсомола Узбекистана и принимались как почетные гости), который вручил нас толстой русской девице лет 27, должной сопровождать нас по республиканскому историческому музею.

В музее девица переходила от стенда к стенду и сообщала нам о том, что Узбекистан был проходным двором, через который че-

редой проходили народы и племена, ничего общего между собой часто не имевшие. “Вот здесь обратите внимание на портреты пирующих вельмож, — девица указала на копию древней фрески, висевшей на стене. — У одного из них лицо явно европейское, у другого — монголоидное. Это свидетельствует о том, что в формировании населения древнего Узбекистана участвовали представители различных рас. Здесь были европейцы: скифы, сарматы, парфяне. Затем пришли гунны и тюрки: монголоиды. Их сменили арабы: семиты. Затем: сельджуки и монголы. Потом сложилась империя Тимура и, наконец, в 16-м веке сюда пришли узбеки, а в конце 19-го века, как вы знаете, русские”. Так что, исходя из ее лекции, история узбеков была лишь одним из отрезков истории Узбекистана, отрезком не более значимым, чем все остальные, в том числе и русский. После экскурсии мы вышли из музея. Я поблагодарил нашего гида за содержательную экскурсию и попытался сделать ей комплимент: “Я вот из Москвы, большой, знаете, город, европейский, да скучный. Проза, никакой изюминки культурной нет. А вы тут на востоке, экзотика, я даже вам в некоторой степени завидую”. — “А вы не завидуйте, — решительно парировала мою реплику девица. — Поживите вы здесь немного и плевать на все будете. И ненавижу я все здесь, все. Этих узбеков, отвратительные мерзкие животные. Никого никуда не пускают. Везде сами своими задами приросли, — в ее загоревшихся от ненависти глазах появилось отчаянье еврейки, жалующейся на дискриминацию где-нибудь на Украине или Молдавии. — Ненавижу я их всех. Проходу не дают”. — “Уезжайте”, — посоветовал я. — “Уезжать?! — она повернула ко мне лицо, полное боли и возмущения. — Почему я должна уезжать?! А почему не они? Здесь, в Ташкенте, дед мой родился и отец. И я всю жизнь прожила, Ташкент — мой город”.

Граждане, как я уже заметил, часто реагировали на то, что фамилия экскурсовода была нерусской, а строители Кремля иностранцами. Не были они равнодушны и к патриотическим ноткам моей экскурсии. И реакция тут тоже была разная.

Некоторые из моих клиентов относились к Кремлю с патристически-религиозным пиететом. Это были все провинциалы, чаще всего прибывшие в Москву издалека, иногда видевшие ее в первый раз за свои 50—70 лет. Для них посещение Москвы было ответственным событием в их жизни, и подходили они к нему с полным сознанием всей важности происходящего. Изолированные, оторванные от столичных веяний, они жили еще в мире пятидесятых годов,

что хорошо было видно по их одежде: широким брюкам и ярко начищенным парадным штиблетам тридцатилетней давности, заботливо хранимых в дедовских сундуках. Четко и сурово они устремляли свои обветренные красные лица на Мавзолей, Кремлевскую стену и здание Президиума. Они были организованы, не задавали вопросов, щедры на благодарности и твердо верили в то, что каждое мое слово есть эманация божества, именуемого отечеством.

У некоторых из них, особенно у людей пожилых, патриотизм превратился в своеобразную религию. Я видел одного старика, прибывшего в Кремль из какой-то дальней, если не ошибаюсь, сибирской деревни. Он говорил, что за все свои 70 лет никуда не выезжал по своей воле, но тут вот понял, что жизнь приближается к концу и нужно совершить паломничество: нельзя умереть, не увидев Кремля и Ленина. Старик был хром, но не отставал от меня ни на шаг, и слеза то и дело скатывалась на его щеку, когда он проходил по священным камням.

Если бы сказали этим провинциалам и старикам, что "боги жаждут" и требуют жертв, что для того, чтобы эти камни оставались непо потревоженными на мостовой, им нужно отдать свое имущество и даже жизнь, то они бы не колебались. Я думаю, что подобного рода типы в Америке не встретишь. И американский экскурсовод, водящий экскурсии по Капитолийскому холму, не назовет и единого случая, когда глаза его клиентов увлажнялись бы при виде Белого дома.

Но таких вот верующих старичков и провинциалов из медвежьих углов было мало.

Для большинства моих русских клиентов существовало две Москвы и два Кремля. Была Москва "небесная", символ страны, но символ в достаточной степени абстрактный, и Москва "земная", "блудница на семи холмах", обладательница гумов, цумов, сухой колбасы и прочих материальных благ; надо сказать, что культурно-идеологические объекты, в том числе и Мавзолей Ленина, тоже был отнесен к категории материальных благ, которые были заgrabастаны москвичами для их исключительного пользования. Я настаиваю на том, что Мавзолей есть такой же товар, как и сухая колбаса. И граждане выстраиваются в длинную очередь не столько потому, что хотят увидеть святого, сколько потому, что Мавзолей и Ленин один и дефицитен, как сервелат. Я уверен, что никто из паломников, мужественно простоявших часы на морозе, не повесил портрет

Ильича над своей кроватью, вернувшись в свою провинцию. И именно потому, что портрет этот можно купить в любом киоске.

Так вот, повторяю, эта Москва "земная" была обладательницей всех тех бесчисленных благ, которыми она завладела, пользуясь своим имперским, столичным положением. Завладела, ограбив не какой-нибудь Узбекистан или Польшу, что естественно рассматривалось бы экскурсантами господствующей народности как вполне законное действие, но их, жителей Тамбова и Рязани. И вот, считая национальные республики и многочисленных "друзей"-союзников паразитами, сидящими на шее русского народа, эти самые рязанские жители относили часто к разряду этих паразитов и Москву. Помнится мне такой забавный эпизод: веду я по Кремлю группу из Владимира и привожу ее, в полном соответствии с методичкой, на Соборную площадь. Там я показываю им на Успенский собор и говорю, льстя их владимирскому местному патриотизму, что прототипом этого собора послужил Успенский собор во Владимире. И далее сообщаю я им, что Москва была когда-то заштатным городком Владимирского княжества, а Владимир их был столицей. И вполне случиться могло, что и остались бы все тем, чем они были: Москва — заштатный город, а Владимир их — стольным градом, столицей огромного государства. Мысль эта понравилась моим владимировцам, и один из них бойко отрапортовал мне со смешком: "Это хорошо было бы, если столица была бы у нас, а не у вас. Тогда бы не мы к вам, а вы к нам за колбасой ездили бы". Москвичи, естественно, платили голодным провинциалам, выстроившимся в очереди у их продовольственных магазинов, той же монетой, и реплики о том, что в магазинах не всегда есть продукты из-за этих приезжих, были весьма часты. Все были уверены в том, что если и существуют нехватки, то это в первую очередь есть следствие паразитизма соседей. Жители провинциальных городков любили расписывать свои продовольственные богатства: все они сообщали о том, что около их городков находятся огромные фермы с тучнейшими стадами, что в самом городке существует огромный комбинат, выпускающий ежесекундно тьму колбас и сосисок и что, если все это изобилие никак не отражается на их диете, то это потому, что все это богатство уплывает в Москву.

Одни говорили о своих несчастьях и алчности москвичей со скрытой злобой, другие — с христианским смирением, видя в идущих из их родного городка составах с колбасой в Москву что-то

вроде искушения святого Антония, которое нужно перебороть и пересилить.

Москвичи вместе с провинциалами, в свою очередь, были едины в том, что их продовольственные бедствия во многом порождены алчностью национальных республик, которым нужно почему-то "помогать".

Вся эта зависть и недоверие между столичными жителями и провинциалами и между самими провинциалами очень глубоки, хоть и не имеют никаких национальных корней. Этот местный, региональный сепаратизм, эти центробежные силы, гораздо более сильные, чем силы центростремительные, коренятся в почти абсолютном отчуждении общества от государства, как такового и, соответственно, от центрального правительства — символа единой нации. В каждом действии правительства, в том числе и связанном с распределением материальных благ, области, как и отдельные граждане, видят чаще всего нечто абсолютно чуждое их интересам, желание экспроприровать любой маломальский излишек.

А отсюда и желание отгородиться от центральной власти, вообще отгородиться от всего мира, залезть в свою региональную скорлупу.

О глубине этого регионального сепаратизма свидетельствует история русской революции. Как только центральная власть ослабела, то от нее стали отделяться не только национальные окраины, но и вполне русские города, в которых, на удивление современникам, вдруг воскрес удельный дух. Мало того, процесс дробления дошел до того, что в самом Петербурге каждый район превратился в практически самостоятельное княжество.

Я проповедовал патриотизм не только представителям коренной национальности, но и выходцам национальных республик. И все они относились к моим ритуальным заклинаниям по-разному.

Представители среднеазиатских республик были невозмутимостепенны, когда я расписывал им кремлевские прелести, но тем не менее показывали мне своими кивками, что понимают символику происходящего. Они знали, что где-то там на севере есть Москва — столица огромной империи, в которую входит и их республика. Там есть и Ленин. Это был основатель этой огромной империи. Он был добр к простым людям, и после его смерти душа его продолжает заботиться о них, а потому-то и выстроились эти паломники в очередь в Мавзолей: они пришли сюда, чтобы попросить за-

ступничества у этого доброго и великого бога и его бессмертной, реющей над империей души.

В отличие от приезжих провинциалов, видящих в мумии Мавзолея во многом, как я уже отмечал, дефицитный товар-зрелище, каковой нужно урвать наряду с дефицитными матблагами, среднеазиатские аксакалы относились к Мавзолею с религиозным пиететом. И именно потому, что их отношение к Ленину было искренне-религиозным, они не спешили втиснуться в очередь, чтобы получить свою пайку религиозно-патриотического дефицита. Они стояли в стороне, в задумчивой почтительности рассматривая красно-черный кубок.

В Москве был и Дворец Съездов, здание, куда на Всесоюзный Курултай съезжались со всей страны партийные нойоны и нукеры. Здесь же бывал и Брежнев — властитель империи. И, чтобы показать экскурсоводу, что они знают и почитают и Ленина, и Дворец Съездов, и Всесоюзный Курултай, и, наконец, самого Леонида Ильича, и качали они с одобрительной важностью своими головами.

Зачем они приезжали на мои экскурсии? Я думаю, что для некоторых из них посещение Кремля было просто повинностью. Помню, однажды зимой вручили мне группу из Средней Азии. Один из моих клиентов, бритый молодой узбек в цветастой тубетейке был одет лишь в тощенький пиджачишко и отчаянно дрожал от холода. "Почему не оделся, как следует?" — спросил я его. Дрожащий клиент не отвечал, ибо, видимо, знал русский очень плохо. Он продолжал дрожать и испуганно смотреть на меня, тем самым показывая, что прекрасно понимает, как преступно так жалко-рабски дрожать перед священными стенами Кремля. За него ответил его товарищ: "Нет у него ничего". — "А почему не взял из дома?" — продолжал допытываться я. "Не успел — сказал председатель колхоза: "Сейчас едешь в Москву". И он тут же и поехал".

Председатель, посылающий этого колхозника в Москву, теоретически, видимо за какие-то его особые заслуги, даже, полагаю, и не думал о том, что он вовсе никуда и не желает ехать. В этой отправке не было и культуртрегерского рвения, просвещенного абсолютизма, гнавшего своей административной властью на экскурсии школьников и солдатиков. В этой высылке была только демонстрация власти. Откуда-то сверху наместник провинции сообщил подчиненному бею, что старательных колхозников нужно премировать отправкой на экскурсию в Москву. Неотправка могла бы рас-

смастраваться как невыполнение приказа и поэтому-то избранная жертва была тут же схвачена и депортирована, а наверх понесся радостный рапорт об исполнении.

Однако я не думаю, что всех узбеков отправляли в Москву в добровольно-принудительном порядке, как на строительство великих каналов, великих стен и не менее великих пирамид. Были здесь и те, кто прибыл в Москву и по своей воле. Эти добровольцы были отличны от большинства, прибывающего в Москву для охоты за различными матблагами и на поклонение святым местам. Я не видел аксакалов в халатах, устремляющихся в ГУМ. При всей почтительной религиозности их отношения к Ленину, он все-таки не был их национально-кровным богом и занимал в их сознании место Моисея или Иисуса в мусульманском пантеоне; они были, безусловно, почтительными людьми, но истинный пророк был только один — Мухамед. Ради Ленина они не приехали бы в Москву. Абсолютно чужды были им, естественно, соборы, дворцы и иные культурные памятники. В Москву, по-моему, вели их традиционно-восточные понятия о долге, я имею здесь в виду долг гостеприимства — одна из центральных патриархальных добродетелей. Аксакалы видели русских, приезжающих в их республики. Эти русские не рассматривались ими как туристы, то есть как люди, прибывшие в их республики для просвещения и развлечения, но как гости. Гость в этой системе ценностей и посещал тебя ради просвещения или развлечения. Напротив, прием гостя мог быть работой и не приносить никакого удовольствия ни хозяину, ни самому гостю. Последний должен был есть и пить даже, например, тогда, когда ему это вовсе не хотелось. Отказ в этом случае означал смертельное оскорбление. Люди отправлялись в гости и исполняли все необходимые обряды не для удовольствия, а для того, чтобы продемонстрировать уважение к хозяину дома, показать своим посещением, что он не забыт. Хозяин дома, в свою очередь, должен был нанести ответный визит и претерпеть все ритуалы. Так вот, аксакалы своим посещением Кремля и наносили ответный визит русским. Посещая русских братьев, аксакалы исходили из того, что русские хозяева должны оказать им почет. А то, что их обносили не пловом и чаем, а соборами и дворцами, то это никак не оскорбляло аксакалов, полагавших, что у каждого народа есть свои обычаи, и сообщения о величии русского народа, ритуальные лозунги-заклинания и наконец обстоятельный рассказ о закомарах воспринимался ими с равнодушной почтительностью. Они полагали, что должны потре-

бить все это точно так же, как русский гость в узбекской деревне должен был потребить чудовищное количество плова и выпить цистерну чая.

Среднеазиатские жители не только не задавали никаких провокационных вопросов, что было понятным, но никогда не жаловались на скверность обслуживания и очевидное хамство и не только потому, что седобородые аксакалы полагали ниже своего достоинства жаловаться на безусых юнцов, но и потому, что считали неприличным жаловаться на хозяина в его же доме. Но я уверен, что всякое хамство — и не только представителей нашего Бюро, но и москвичей, относящихся к представителям среднеазиатских республик без всякой почтительности, вызывало в душе их бурю возмущения, ибо одна из центральных заповедей их патриархальной морали преступалась.

Помню, встретил я на площади, уже в то время, когда мы собирались подавать заявление на выезд, узбека. Узбек, бритый, облаченный в какое-то халатоподобное одеяние — смесь туземной и европейской одежды — стоял посреди площади. Он был, видимо, из какой-то среднеазиатской глубинки и был абсолютно беспомощен в людском круговороте огромного города. На ломаном русском языке он обращался то к одному, то к другому пробегающему москвичу, но большинство, даже не остановившись, бросало ему пару реплик, которых он вовсе не понимал. Он был жалок, глаза его испуганно бегали.

Глядя на узбека, я живо представил себя на его месте в каком-нибудь американском городе, среди толпы, тоже не обращающей на меня никакого внимания и говорящей на языке, мне плохо знакомом. И мне стало жалко самого себя, а поэтому и стоящего передо мной узбека. Я подошел к нему и наверное с полчаса старательно слушал его ломаный, отвратительный русский, пытаюсь понять, что он от меня хочет. Узбек желал узнать, как проехать в один из районов Москвы, где жили его родственники. Я потратил полчаса, пытаюсь объяснить, где находится метро и где нужно будет сделать пересадку. Но узбек не понимал, и я решил провести его до станции сам. Узбек семенял за мной ножками и укоризненно говорил мне, что подобное отношение к гостям, кое он видит среди жителей Москвы, есть страшное хамство, попрание элементарных нравственных норм и что в Узбекистане так с гостями никто не поступает. И действительно, в мою бытность в Узбекистане местные жители были всегда чрезвычайно внимательны и оказывали мне

всяческое содействие в поиске нужных мне мест. Эта чрезвычайная внимательность, как мне объяснили туземные русские, объяснялась исключительно моим гостевым положением и что она сменилась бы равнодушием и даже враждебностью, как только бы я превратился бы в русскоязычного жителя республики. Мне также говорили, что многие туземные жители видят в туристах-гостях великое зло для их материального благосостояния (тем они, надо сказать, в корне отличались от жителей большинства европейских стран, весьма заинтересованных в туристическом потоке) и полагали, что нехватка в магазинах и рост цен на рынке во многом вызваны толпами приезжих. Но нравственный императив патриархальной морали всегда пересиливал голодную злобность и отношение к приезжим было в целом весьма дружеским.

Водил я и жителей Кавказа, которые тоже по-разному реагировали на мои заклинания и патриотические лозунги.

Наиболее интернационалистическими среди них были азербайджанцы, в южных глазах которых я замечал даже некоторую национальную закомплексованность. Этот же закомплексованный интернационализм бросился мне в глаза и во время моего путешествия по республике.

Во время моего пребывания в Баку я неоднократно опрашивался туземными гражданами по поводу того, где меня принимали лучше: в Азербайджане или в соседних республиках. Я слышал одобрительные реплики бакинских жителей, когда я сообщал им, что жители Азербайджана самые гостеприимные. Но в репликах не было ничего антиармянского или антигрузинского. На экскурсии экскурсоводы долго говорили об интернационализме и дружбе с братским армянским и грузинским народами и, естественно, с русским. Перечисляя национальности тех, кто принимал участие в революционной работе на территории Азербайджана, экскурсовод не забывал и евреев, что тоже, надо сказать, было интернационалистическим новшеством: в экскурсиях, прослушиваемых мною в других национальных республиках, а тем более в РСФСР, евреи как национальность не фигурировали. Они не были ни плохими, ни хорошими. Их просто не существовало.

В этом подчеркнутом азербайджанском интернационализме я чувствовал определенный комплекс, подавленный национализм. Как и всем народам Кавказа, их окружающим, азербайджанцам хотелось бить себя в грудь и доказывать не только то, что они древние, великие и благородные, но что и их древность, величие и благородство во много раз превосходит древность, величие и благо-

родство соседних кавказских народностей, в особенности, конечно, армян. Но это желание им нужно было подавлять. И понятно, почему. Положение Азербайджана было весьма двусмысленным. Юг находился во владении проимпериалистически настроенного шаха. Кроме того, азербайджанцы были родственниками турок, а те были членами НАТО. Так что подчеркивать величие азербайджанского народа было не слишком удобно. К этому нужно добавить и то, что в истории азербайджанцев не было веков унижения и резни, а поэтому их национальное чувство не было доведено до той стадии белой горячки, когда никакие холодные примочки долитического благоразумия не могут предотвратить гордо-восторженных патристических излияний и действий.

Водил я и армян, положение которых в семье кавказских народов было не менее двусмысленным, чем положение азербайджанцев, а может быть даже и более, можно сказать, полуеврейским. Армяне были разбросаны по всему миру, большая армянская колония, как известно, есть и в Америке. Но за плечами армян были столетия резни и море крови, а потому их национализм, подобно отчаянию солдата зверем обложенного со всех сторон и знающего, что у него нет выхода, кроме достойной смерти, был дик и безрассуден. Национальное чувство было живо и интимно. Нацию трудно было расколоть, ибо всякая атака на конкретную личность или социальную группу часто рассматривалась, как вызов всей нации, которая немедленно съживалась, ощетинивалась, готовясь к обороне. Эту, так сказать, смазанность классового чувства, хорошо можно, по-моему, проиллюстрировать следующим любопытным примером. На одном из местных базаров я видел старичка, продающего им же самим намалеванные портреты. Среди них был какой-то средневековый витязь в шлеме и кольчуге, франтоватый интеллигент прошлого века в сюртуке и, наконец, советский генерал в форме и при всех регалиях. Единственно общим между ними было то, что все они были армянами. Картинки не были фотографиями членов Политбюро, покупаемые по своей воле разве что западными туристами как экзотические сувениры, но продавались на свободном рынке, а посему должны были быть кому-то действительно нужны. Подобного я никогда не видел в России. И не только потому, что появление подобного рода картинок на одном из московских рынков могло вызвать конфликт с милицией, но и потому, что владелец картинок просто не нашел бы покупателей. Я думаю, что даже московский славянофил, даже тот, кто упивается "Словом о Полку

Игорева" и собирает православные иконы, не дошел в своей любви ко всему русскому до того, чтобы вместе с иконами (часто, надо сказать, имеющими вполне определенную материальную ценность) повесить на стену портрет Дмитрия Донского и фельдмаршала Кутузова. И только потому, что и Дмитрий Донской, и фельдмаршал Кутузов — национальные герои. А армяне вешали. И ничего не боялись, что я сразу почувствовал самым непосредственным образом, пересекая азербайджано-армянскую границу.

Русская чета мирно обзревала пейзаж из окна поезда, как вдруг в стекло полетел камень. К счастью, никто не пострадал. К месту происшествия тут же подскочил проводник. "Это армяне! — закричала она. — Это армянские пастухи! Их так родители учат: обстреливать каждый проезжающий поезд из Азербайджана. Это бандиты!" Армянские пассажиры возмутились и началась перепалка. "Дашнаки!" — кричали одни. "Муссаватисты", — не отставали другие. Наконец азербайджанка проводница без всякой связи с предыдущим прокричала с надрывом: "А русский народ самый великий!" Замолчав и уперши рука в бока, она с вызовом посмотрела на своего армянского оппонента, который, как она полагала, не посмеет оспорить ее тезис. Армянский оппонент ответил на ее выкрик вызывающим взглядом, говорящим, что хотя он не сомневается в величии русского народа, но армянский народ не менее велик, и на этом он будет стоять насмерть.

Нация стояла крепко и добилась того, что наслаждалась свободой национального самовыражения, невиданной по советским стандартам, что хорошо было, по-моему, видно по течению религиозной жизни: церкви, соборы и монастыри в горах были открыты, служба происходила свободно с участием молодых людей, видимо, не боявшихся, как например, в России, что посещение службы может как-то сказаться на их карьере. Но самое удивительное было другое: в Ереване я видел новую церковь, построенную на деньги, собранные среди зарубежных армян. Трудно даже представить, чтобы в Москве кому-то пришла в голову идея соорудить новый православный собор, да еще на деньги, собранные с зарубежных русских.

Армяне, в отличие от представителей других народов Советского Союза, не боялись, что из их республики вывезут сервелат или буженину, ибо кроме туфа и древних, невывозимых монастырей, в стране ничего не было. И я думаю, что многие шустрые армяне чувствовали себя экономически весьма вольготно, присосавшись к феодально-непредприимчивому русскому телу. Их крепкое на-

циональное ядро не боялось и жерновов ассимиляции. И все это отражалось на восприятии армянами моей экскурсии.

Блестящие и иронические глаза, глядя на экскурсовода, говорили четко и ясно, что они прекрасно понимают, что все мои ритуально-патриотические и партийно-государственные, быстрой скороговоркой произносимые заклинания есть абсолютная ложь. Всех этих побед, достижений не было и не будет. Но ложь не сводила им скулы в презрительной усмешке, не направляла их взгляд куда-то поверх экскурсовода в синюющую даль, не разжимала им рты для робкой фразы: "А мы все это знаем". Ложь, как, например, у жителей Рязани, не ассоциировалась у них с бодрим изобилием заголовков и сумрачной скудностью материального бытия. Все было как раз наоборот. Ложь означала, что под прикрытием бойко-патриотического лозунга можно что-то продать из-под полы, приписать и получить, в лжи слышалось шелестение банковских купюр и звон бокалов застольных пиров. Ложь пахла вином, жареным мясом и женским телом, а потому с ложью и лозунгами любого характера, в том числе и патриотического, у них были панибратско-сниходительные отношения. Требовалось только, чтобы ложь, подобно застольному тосту, расписывающему несуществующие достоинства хозяина, не была слишком длинной и утомительной.

Снисходительно-добродушное отношение к патриотической информации, к прославлению величия русского народа объяснялось еще и тем, что, как и для большинства из них, русские, как и все прочие народы, живущие вне пределов Кавказа, не были их историческими врагами.

Грузины тоже были интернационалистичны, но уже без азербайджанских комплексов. Естественно, что никакого религиозного пиекета к древним соборам и площадям они не испытывали, но советскую историю чувствовали вполне своей. Помнится мне почти девяностолетний грузинский старичок, который, несмотря на свой весьма почтенный возраст, прошел, вернее, пробежал со мной весь маршрут; только в самом конце экскурсии старичок сказал мне с некоторой укоризной в голосе, что далеко не все экскурсанты обладают его крепостью и половину группы я растерял. Так вот этот старичок показывал мне шрам на руке — след австрийского штыка, пропоровшего ему руку где-то под Перемышлем в 1915 году — восторженно вздыхая всякий раз, когда я сообщал группе о Ленине, победах социалистического отечества и ожидаемом всеми нами блистательном будущем:...

Любили грузины и Сталина; это всем хорошо известно. Здесь, однако, не нужно полагать, что это свидетельствует об их любви к сталинизму как политической доктрине. Прямо наоборот. Грузия — одна из наиболее либеральных республик. И не только потому, что она, как опять же известно, славна своим подпольным бизнесом. Грузинское искусство, литература и философия — одни из наиболее неортодоксальных. Портреты Сталина и ритуальные пляски вокруг монумента вождя есть дань Сталину лишь как национальному герою. С другой стороны, критическое отношение к Сталину, которое я встречал в других республиках Кавказа (экскурсоводы здесь даже иногда упоминали о сталинских "необоснованных" репрессиях, тема совершенно запретная для московского экскурсовода), вовсе не свидетельствует о каком-то особом антисталинизме армян или азербайджанцев. Просто историческая вражда между ними и грузинами наложила отпечаток на их отношение к великому диктатору.

Одна из отличительных характеристик кавказских групп заключалась и в том, что на них можно было хорошо заработать, получить, так сказать, дополнительный приварок к основному заработку. Был этот приварок плодом любви между экскурсоводами и фотографами.

Фотографы, их бизнес, их отношение к клиентам, кремлевским мальчикам, экскурсоводам и друг другу были весьма специфическими продуктами, так сказать, разлагающегося совфеодализма. Фотографы были героями советского "первоначального накопления". Они не были приписаны к сощячейке, не состояли членами коллектива и, отпочковавшись от стройно-иерархической феодальной лестницы с ее партбаронами, рыцарями коморденов, священнослужителями научного коммунизма и подлым сословием, жили на свой страх и риск. Как свои прародители 15—16 веков, они были бойки, предприимчивы и цепки. Выстаивая долгие часы на морозе или солнцепеке, они караулили жертву-клиента — обычно это были экскурсанты, прибывшие в Москву в первый раз в своей жизни — и искушали его суетность возможностью сфотографироваться на фоне Царь-пушки, Дворца Съездов или памятника Ильичу. Экскурсовод должен был дать возможность уловленным в сети клиентам выстроиться цепочкой и сфотографироваться, за это и перепадала ему какая-то денежка. Иногда довольно значительная.

Подобно шустрым купцам "первоначального накопления", они

знали, что у каждого потенциального потребителя их товаров свои нравы и обычаи, и подступались к нему соответствующим образом. Многие из экскурсантов из Средней Азии, как я уже отмечал выше, посылались в Москву для отбывания своеобразной повинности-поощрения. Возглавляемые начальствующим лицом, они слепо подчинялись ему. Понимая это, фотограф сосредоточивал на нем огонь своей тяжелой артиллерии – логики, доказывая необходимость для всей его группы быть сфотографированной на фоне Царь-пушки или колокола. Если ему удавалось убедить лидера, задача была решена: его подопечные немедленно исполняли приказ-рекомендацию и рассматривали фотографирование у разных кремлевских объектов, как своеобразный налог. Но легче всего было с кавказскими жителями. Они не подчинялись руководителю, но тем не менее существовало магическое слово, заставляющее их немедленно раскошелиться. Стоило только произнести слово “нищие”, как кавказцы, желая разубедить фотографа, начинали закупать фотографии дюжинами.

В соответствии с лучшими империалистическими традициями, столь популярно изложенными в советских учебниках, фотографы объединялись в своеобразные картели и синдикаты, делили сферы влияния и рынки сбыта. Среди них были и одинокие гриззли, медведи-шатуны, не признающие клановых делений, сфер влияний и сражающиеся со всеми. Борьба с ними шла отчаянно-уголовная. Один из таких джентльменов удачи, лохматый супермен, любитель “Литературки” и женских округлостей, растирая затекшую мускулистую руку, говорил мне, что его конкуренты грозят сбросить его с моста в Москву-реку, но не даром он занимается каратэ и дорого продаст свою жизнь. Он также поведал мне, что в темном переулке на него уже наскакивали дюжие молодцы, но он успешно отбил их и будет продолжать свой промысел, ни с кем не вступая ни в какие соглашения.

Фотографы были буржуа, класс, который, в соответствии с марксистским видением истории, должен будет в конечном итоге вытеснить феодала, дав ему повсеместно бой. Но это будет в будущем, а пока феодализм еще силен, и надменный партрыцарь, восседающий на коне, с мечом, хлопающим по закованной в броню ляжке, презрительно смотрит, чуть приподняв забрало, на униженно-суетливую буржуазную фигурку. Да облаченный в рясу партмонах, в потной ручке сжимающий требник диамата, бросит на этого легитимизированного грешника сурово-осуждающий взгляд. Главные

блага по-прежнему проходят только через фьефы должностей и синекюры назначений. Партфеодал и, соответственно, партфеодализм господствует безраздельно, во всяком случае, в столице, а потому-то мои буржуа стыдились своего буржуйства и своей постыдной для феодального общества чрезмерной любви к деньгам. Мой, например, лохматый гризли, сидя на лавчонке в Александровском саду и поглядывая одним глазом в развернутую простыню "Литературки", а другим на проплывающие мимо него женские округлости, любил говорить мне, как он презирает своих конкурентов. По его словам, эти плебеи интересовались исключительно лишь низменно-пошлыми предметами: деньгами, выпивкой да Афродитой простонародной. С этими словами он углублялся в "Литературку" и даже забывал обозреть очередную округлость, проплывающую в опасной близости от его легко возбудимых и зорких глаз.

Но вернемся к нашим нацменьшинствам. Водил я и прибалтов. Из всех нацменьшинств, которых мне приходилось водить, прибалты встречали мою патриотическую информацию наиболее сдержанно-отчужденно, а иногда и просто враждебно. Помнится мне, один из таких гостей столицы после прослушивания пространных моих сообщений о величии русского народа и его славной истории, стал доказывать, и опять-таки не опасаясь, что могу донести куда следует, что моя экскурсия вся пронизана великодержавным шовинизмом и что подобных славословий его нации он нигде не слышал. При всех своих критических отношениях к моим экскурсиям, прибалты, однако, в отличие, например, от групп с Украины, никогда не скандалили и относились к экскурсоводу с подчеркнутой вежливостью; иногда даже одаривали его каким-нибудь маленьким, но приятным подношением, бутылочкой рижского бальзама, например.

Водил я, наконец, и представителей совсем маленьких народностей, часто закомплексованных до последней степени от ощущения своей незначительности. Так, например, девушка-башкирка, одна из моих клиенток, была поражена не только тем, что я отличаю башкиров от бурятов, но и знаю башкирскую поговорку: "Деньги есть — Уфа гуляем, денег нет — Чишма сидим".

Хотя наше Бюро в общем специализировалось по обслуживанию соотечественников, перепадали нам и иностранцы. Это были по большей части представители соцлагеря, хорошо знавшие русский язык и обходившиеся без услуг переводчика.

Чехи были молодцами, как на подбор. Чистые, подстриженные, аккуратно одетые и, наверно, проинструктированные, быть может, сотню раз перед отправкой в братскую социалистическую и славянскую страну, они не столько наслаждались красотами Кремля, сколько исполняли важную идеологическую функцию, показывая своим радостным и ухоженным видом, что социалистическая Чехословакия процветает и очень благодарна СССР за помощь, оказанную ей в отражении контрреволюции. Они демонстративно подчеркивали, что они крайне довольны всем — и видами Кремля, и отношением к ним простых и непростых советских людей и даже обслуживанием нашего Бюро — и прочувствованно иногда жали руки в конце экскурсии, одаривая экскурсовода значком или иным каким сувениром.

Никаких конфликтов не случилось у меня и с болгарами, с которыми была у меня однажды забавная беседа. Помнится, вручили мне группу болгар где-то в году 1976, как раз в разгар празднования столетия русско-турецкой войны и освобождения болгар от турецкого ига. Вручили мне заказную группу болгар и вот я с ней не спеша иду по Александровскому саду. Иду я медленно, а не лечу стрелой по той причине, что среди моих клиентов оказался хроменький старичок. Будь старичок не болгарский, а отечественный, то я по свойственному мне хамству шага бы не замедлил и оставил бы старичка гулять по аллее в гордом одиночестве. Но тут были иностранцы, хотя и из братской социалистической страны, и повадок я их, как клиентов, не знал: а вдруг они привыкли к более или менее нормальному обслуживанию и при моем чрезмерном хамстве настрочат на меня жалобу? А посему я благоразумен и стараюсь семенить ножками в стоптанных штиблетах с умеренной частотой. День солнечный. Свет щедро разлит по всему саду. Четко прочерчена черная асфальтовая дорожка. Солнечные зайчики играют в кронах деревьев и оттуда слышится весело-злое чириканье периодически слетающих на дорожку пташек. Старик благодушно щурится, и, с осторожной основательностью опираясь на палку, медленно шествует за мной. Он в том состоянии, когда от мира ничего не нужно и можно покинуть его спокойно и легко, без проклятий, благословений и надежд. Просто раствориться в солнечном луче. Старик идет медленнее всех, и мне приходится, хотя, повторяю, я стараюсь не спешить, часто останавливаться и ждать его. Наконец, я решаю, что удобнее просто пристроиться к старику и следовать за ним. Разговорились. Вспомнили и историю, в том числе и празднуемый юби-

лей. Разговор как-то сам собой перешел на болгарских турок. “Как им живется?” — осведомился я. “Как им живется? Едут, едут они, турки-то, — старик сказал это без всякой злобы, даже послышалась нотка сожаления. — Они у нас меньшинство, — продолжал он, — мы к ним и подходим как к меньшинству, зла не держим. Специальные даже есть для них квоты в университетах, чтобы легче им было получить образование. А вот едут. И куда едут, турки эти? В Турцию они едут, а ведь знают же, что своих турок в Турции девать некуда, они оттуда валом валят, эмигрируют. А что там наши болгарские турки делать будут? Все у них есть: образование, работа, родина, а едут”.

Водил я и вьетнамцев, тоже весьма покладистых клиентов. С вьетнамцами я впервые познакомился еще во время моего обучения в МГУ. По своему характеру и мышлению — страх перед начальством был у них замешан на наивности и реальной вере в пропагандируемые им лозунги — они напоминали советских граждан 20—30-х годов.

Один из них, маленькое и щупленькое существо, с фигуркой мальчика, звали его, кажется, Хен или что-то в этом роде, был весьма опечален своими сексуальными неудачами. “Не любят меня русские девушки. И вообще... — при этих словах Хен начинал немного запынаться и застенчиво опускал голову, — встретил я вчера русскую девушку и знаешь... лицо ее я забыл”. — “Слушай, Хен, — говорил я, смеясь и слегка хлопая его по плечу, — с русскими девушками у тебя явно ничего не получится, а вот соотечественниц явно можно атаковать. Их в университете хватает. Организовать компанию будет очень просто. Купи бутылочку, пригласи какую побойчее к себе в комнату. Подыми тост: “За победу на Севере!” И не должна она, как патриотка, отказаться. Затем — “За победу на Юге!” И опять же не откажется. А после двух рюмок она, как сказал бы Владимир Ильич, с неизбежностью станет “слабейшим звеном в системе империалистических государств” — много ли им, вашим махоньким соотечественницам, нужно? — и тут ты и действуй, да порешительней”.

От этих моих слов Хен подымал на меня лицо и не без вызова отвечал: “Не могу я так поступать”. — “Это почему же?” — “Да потому, что после этого на ней никто не женится. Я гуманист”. — “Ну, уж если ты гуманист, — отвечал я, несколько обиженный его вызывающим и даже, я сказал бы, враждебным взглядом, — так его и лопай, гуманизм свой, и нечего нюни распускать”.

После того, как американцы стали выводить свои войска и победа Севера стала лишь проблемой времени, я направился к Хену в общежитие, дабы поздравить его с успехами его социалистической родины. "Хен, — сказал я, войдя в его комнату, — война явно идет к концу. Вы победили и, главное, не будут убивать". Мне хотелось поздравить его чисто по-человечески, ибо я понимал, что страна, потерявшая за продолжающуюся несколько десятилетий войну, по крайней мере, несколько миллионов человек, страстно желала мира. (Что будет потом, после мира, в Индокитае, особенно в Камбодже, я не думал; одно утешение, что не только я один был таким наивным.) В комнате находился и один мой русский приятель по университету, который в то время, как я поздравлял Хена, вставил тут же какую-то шуточную фразу, пародируя газетный заголовок. От этих слов Хен встрепенулся и вытянувшись в струнку, как бы рапортую, отчеканил: "Вьетнамский народ искренне благодарен советскому народу за помощь, оказанную им в отражении империалистической агрессии!"

При всем том, что страх играл немалую роль в формировании хенового мышления, он все же не страдал, как мне кажется, от двоемыслия, столь характерного для представителей тех социалистических стран, с которыми мне довелось встретиться. В его любви к социализму было много искреннего. Это же я заметил, когда мне пришлось однажды вести группу вьетнамцев. Они как-то бойко и непосредственно, хотя и без религиозного пиетета русских старичков-провинциалов, воспринимали революционные объекты. Около памятника Ленину руководитель группы, он же переводчик, попросил, чтобы я вытянул руки. Не успел я исполнить просьбу вьетнамского товарища, как на импровизированную вешалку были свалены курточки моих клиентов, в то время как они налегке, выстроившись цепочкой, радостно осклабились в уставленный на них объектив. Все это произошло так быстро, непосредственно, я бы сказал, по-детски, что мне и в голову не пришло обидеться. Запечатлев себя на фоне памятника, они быстро разобрали свои курточки с моих вытянутых и уже начавших затекать рук и с радостной торжественностью вручили мне маленький значок с изображением "дядюшки Хо".

В чем была причина этой детской непосредственности, этой, как мне кажется, искренней веры в социалистический идеал? Причина здесь, я думаю, в следующем. Вся история Северного Вьетнама состояла из сплошной вереницы больших и малых войн, надо сказать,

не кончившихся и по сей день. Эта война, с одной стороны, избавила северовьетнамцев от массового террора камбоджийско-русско-китайского размаха (известно, что во время войны с немцами террор в России спал и даже некоторые из репрессированных советских военачальников были извлечены из лагерей для отправки в действующую армию), с другой — с самого начала сплела социализм с национализмом. А это и внесло в восприятие северовьетнамцами социализма элементы искренности.

У моих вьетнамцев национальное чувство было крайне обострено. Они полагали, как мне тогда показалось, что все их грандиозные победы являются грандиозными только для них и более не для кого, что о том, что они вообще существуют, как народ, мало кому известно. И поэтому всякий интерес к их истории крайне им льстил, один из моих клиентов, раненный при Дье-Бен-Фу, был крайне польщен моими расспросами о сражении и даже тем, что я просто знаю о том, что подобная битва вообще была.

В ходе экскурсии подошли мы к Покровскому собору, сооруженному, как известно, в честь победы над Казанским ханством; около него находился и перенесенный с центра площади памятник Минину и Пожарскому. Мне было совершенно ясно, что ни о каких поляках мои вьетнамцы и слыхом не слыхали, да и Казанское царство ни сердцу их, ни уму ничего не говорит. И вот, чтобы помочь им как-то разобраться в предлагаемых объектах, я решил прочитать им небольшую вступительную лекцию. "Товарищи, — сказал я, — вы, наверное, знаете, что в 13 веке монголы создали огромную империю: они захватили почти всю Евразию от берегов Японии (японцев спас от потери независимости ураган "камикадзе", потопивший большую часть монгольской флотилии) до границ Австрии. Русский народ тоже оказался под властью монголов, но после долгой и упорной борьбы ему удалось сбросить монгольское иго. Казанское ханство было одним из монгольских царств, с которым русские долго воевали, наконец, Казань была разбита, и вот в честь этого события и был сооружен собор, который вы и видите перед собой". Мои вьетнамцы выслушали все это внимательно, а затем от группы отделилось какое-то маленькое существо, мальчик со сморщенным личиком обезьяны и евнуха и гордо сказал через переводчика: "Да, монголы завоевали Европу, и Россию завоевали, и Китай, а вот вьетнамцев не смогли. Вьетнамцы их разбили". Его махонькие товарищи радостно заулыбались школьниками, хвалимых учителем за хорошо сданный экзамен. Сказав это, седенькая

обезьянка с черными блестящими глазками, спрятанными между складок кожи, окинула взглядом огромную площадь с мельтешащим народом, мощные красные зубчатые стены, краснолобый блестящий крепыш Мавзолея, надменный, смотрящий откуда-то сверху зеленый купол Совмина, и гордо распрямила свои детские узкие плечи. А затем он снова повернул ко мне голову, и вдруг что-то тронуло краешки его губ и потухли гордые искорки в глазах. Он улыбнулся грустно и извиняюще, как бы прося прощения за эти расправленные плечи и надменные искорки в зрачках. Он просил прощения не у меня и даже не у этой площади и стен, а у самого себя за то, что он забыл, что все смертно и преходяще в этом мире бывания и что не только он и эта огромная империя, но и его родной Вьетнам когда-нибудь исчезнут без следа, что все победы и поражения есть лишь май, покрывало-образ, скрывающий истинную сущность вещей — великое Ничто.

Полный порядок был у меня и с немецкими группами, даже у таких для них чувствительных объектов как Могила неизвестного солдата. "А теперь товарищи, я прошу подойти к Могиле поближе и почтить память павших минутой молчания". Таковы правила, так требует методичка.

Моя группа "сборная солянка", в ней наши, советские граждане, поляки-туристы и несколько офицеров восточногерманской армии, обучающихся здесь в Москве. Поляки, несмотря на мой призыв, остались в стороне. Они неторопливо закуривают и искоса, с иронической усмешкой посматривают то на оставшуюся часть группы, то на меня, то на огонь. Они не верят ни мне, ни этой стране, ни этой армии, ни этому народу, ни даже этому солдату, навеки замолкшему осенью сорок первого в одном из ослизких от грязи окопов на северо-западном направлении.

Немцы, выстроившись в шеренгу, гусиным шагом подходят к Могиле. Быстро, с профессиональной четкостью, отдают честь.

В этой чести, в этой стойке "смирно" у Могилы солдата, который, может быть, прежде, чем с предсмертным хрипом вытянуться у себя в траншее, выпустил очередь в живот их отцу или деду, было что-то противоестественное, во всяком случае для меня. Они стоят перед самым огнем, пламя почти лижет их открытые с правильными чертами лица. Широкие плечи, стройные фигуры в чистых, аккуратных мундирах так похожи на те, в которые были одеты их отцы и деды почти тридцать пять лет тому назад. Все это так красиво и торжественно на фоне красного гранита и черного лабрадора.

Я внимательно всматриваюсь, внимательно, очень внимательно всматриваюсь в лица этих немецких парней, офицеров армии сателлита, страны побежденной и униженной. Здесь должно быть что-то не то. Я ищу в их глазах равнодушие, скуку, ненависть или презрение. Но ничего не нахожу. Что здесь? Интернационализм? Воспитание? Или может быть другое: империя, их третий райх, сгорела фениксом в пожарах весны сорок пятого, сгорела, чтобы возродившись, покрыть крыльями имперского орла пространство от Эльбы до Тихого океана. И они часть этой империи, часть этой армии, так что они получили то, к чему стремились их деды и отцы 35 лет тому назад, те, что были отброшены от стен Москвы в декабре сорок первого. Кто-то говорил мне, что восточногерманские дивизии считаются одними из самых надежных в Варшавском пакте, и я это верю.

В положении румын было много двусмысленного: с одной стороны, они формально числились советскими союзниками, с другой — постоянно подчеркивали свою независимость от Кремля, заигрывая то с Западом, то с Востоком.

Критические заметки в румынский адрес периодически появлялись в советской прессе, а поэтому я смело задавал своим румынским клиентам провокационные вопросы и вступал не в менее провокационные беседы, хотя они их явно избегали. "В фильме "Даки", я его смотрел недавно, — я пытаюсь вступить с деланной непосредственностью в разговор с руководителем румынской группы, которую я сопровождаю по Кремлю, — много намеков, намеков на современную политическую ситуацию. Древние даки — это явно современные румыны, а римляне... так тут явно намек на одну из великих держав, которой даки эти должны покориться в силу печальной необходимости". Мой румын, уткнув голову в землю, делает вид, что ничего не слышит и не понимает. Я, между тем, наслаждаясь чувством полной безнаказанности, продолжаю насаждать на свою жертву: "А почему это к вам китайская делегация пожаловала? Отношения между СССР и Китаем знаете, какие?" Подобно загнанному оленю румын старается уйти от своих преследователей, но они не отстают и обкладывают его со всех сторон, и тут-то ему не остается ничего другого, как опустить свою рогатую голову. Румын видит, что я не отстану, и он цедит сквозь зубы: "Китайская делегация... Да, у нас хорошие деловые отношения с Китаем. Хорошие отношения... И потому, что с ним у нас нет общей границы".

Иногда приходилось водить мне и туристов западных стран. Ча-

ще всего я водил их по МГУ. Наиболее беспокойными среди них были итальянцы. С ними произошел у меня следующий смешной эпизод.

Я ввел группу итальянцев в один из вестибюлей университета. Но не успел я начать свой рассказ, как она окончательно дезинтегрировалась: клиенты разбрелись по разным углам, где стали что-то оживленно обсуждать, приправляя каждую фразу темпераментной жестикуляцией, в центре же вестибюля носился бамбино, радостно и оглушительно вопивший во всю мощь своих младенческих легких. Через несколько минут он был схвачен подскочившей мамой, давшей ему основательную затрещину, после чего младенец завыл с протяжной оглушительностью пожарной сирены. Мои попытки с помощью переводчика собрать группу и заставить ее прекратить галдеж ни к чему не привели, и тогда-то я попросил переводчика перевести обращенную к нашим подопечным следующую фразу: "Ваши предки, древние римляне, отличались любовью к порядку и сдержанностью". Переводчик исполнил мою просьбу и группа, к моему удивлению, притихла на мгновение, а затем от нее отделился старичок, который, ткнув в меня пальцем, прошипел: "Фашисто". И только тут я вспомнил, что к античной традиции активно апеллировали итальянские фашисты.

Как реагировали советские граждане на появление в Кремле и Москве представителей зарубежных государств? Здесь, в первую очередь, нужно отметить отношение к иностранцам со стороны "искусствоведов в штатском". У них иногда были проблемы с иностранными корреспондентами. Корреспонденты любили фиксировать письменно или на пленку всевозможные угнетения, дискриминации и недостатки в соцстроительстве. И делали они это вовсе не потому, что были обеспокоены судьбой униженных и оскорбленных. С той же настырной старательностью, с какой их камера майским жуком жужжит около носа страдающего диссидента, она жужжит и у подергивающейся щеки отрубленной головы где-нибудь в Саудовской Аравии. Она мастерски заносит на пленку не только его вселенскую грусть и жажду всемирной теодесии, но и фонтан крови, бьющий из отрубленной шеи. Корреспондент — профессионал и должен продвигаться и зарабатывать, а для этого он должен из каждой страны вывезти то, что будет пользоваться наибольшим спросом в редакциях газет и журналов. Диссиденты и евреи — один из наиболее ходких русских товаров, а поэтому корреспонденты в России охотятся за ними, а не за отрубленными головами. Профес-

сионально-настырные, они иногда заставляли кремлевских "мальчиков" повозиться.

Рассказывали мне, что евреи-отказники решили устроить демонстрацию в районе Александровского сада. Были предварительно оповещены иностранные корреспонденты. В положенное время явились и корреспонденты. Евреи что-то там стали демонстрировать, а корреспонденты стали быстро щелкать своими фотоаппаратами и жужжать фотокамерами. Все это произошло так быстро, что кремлевские "мальчики" не смогли предотвратить перенесения на пленку диссидентско-сионистского сборища. Но "мальчики" не растерялись: не успели корреспонденты окончить свои стрекотания и щелканья, как они быстро подскочили к ним и с той бесцеремонностью, с которой часто полиция в западных государствах обращается с представителями древнейшей профессии, стали вырывать у них камеры и фотоаппараты. Корреспонденты возмущались и отбивались, но мальчики были во много раз толще, тренированной и бесцеремонней, а посему фотоаппараты и камеры были у них, в конечном итоге, вырваны и пленки засвечены. Затем корреспонденты были с миром отпущены, и скандала международного никакого не было.

Но в большинстве своем западные туристы не были опасны для мальчиков внешней охраны; да и понятно, почему. Корреспонденты, учиняющие всякие пакости, были достаточно редким и легко различимым зверем, что облегчало его обезвреживание. Инициативники, направляющиеся в диссидентско-еврейские квартиры, тоже не были достаточно распространенным типом западного туриста. В своем подавляющем большинстве они были достаточно пассивны и входили в Кремль смиренными агнцами. Западные туристы не будут протаскивать в Кремль бомбы или кидаться с пистолетами на членов правительства. Не слишком велика была вероятность и того, что иностранные гости начнут разбрасывать по Кремлю антисоветские прокламации — скорее уж этого можно ожидать от доморощенного диссидентствующего Аввакума. Они-то как раз и могут дойти до всяких антиобщественных экстравагантностей. Один из них, уголовник, отсидевший положенное, пробравшись в Кремль, стал в знак несогласия с решением властей, не дававших ему московскую прописку, резать себе вены. От советских граждан нужно ожидать в первую очередь всяких иных поползновений. Я имею здесь в виду охоту за валютой, нехорошими книжками и прочим.

И были здесь, надо прямо сказать, советские граждане весьма шустры, я сказал бы, даже слишком.

Уже подав заявление на выезд, я стал распродавать накопленное имущество, и тут-то через третьих лиц вступил в соприкосновение с миром, о существовании которого я до этого не подозревал. Это был тоже продукт разлагающегося совфеодализма, джентльмены удачи, напоминающие моих кремлевских фотографов, но явно большего калибра. Они занимались уже делами откровенно криминальными. Иностранцам западного, естественно, производства сплавлялись всякие местные экзотические вещички, главным образом антиквариат. Через посольство, в специальных контейнерах с дипломатическими пломбами, все это уплывало за рубеж, чтобы найти пристанище в частных кунсткамерах Парижа или Нью-Йорка, а что попроще и дешевле шло в "Русские магазины". Иногда, как рассказывал мне один из таких типов, перевоз был до смешного прост. Любая личность, обладающая дипломатическим паспортом, а таких, по его словам, довольно много, могла, сев в обычный поезд, пересекающий границу, завалить купе иконами и хотя криминальный вывоз наценностей был налицо, пограничная охрана ничего не могла сделать, ибо владелец икон был защищен дипломатическим иммунитетом. Таким вот наглым вывозом наценностей, опять же по словам личности, занимались по большей части представители "развивающихся" государств, главным образом африканских; нищие государства не слишком щедрились на содержание своих полномочных представителей, и им приходилось подрабатывать на свой страх и риск. В эпоху снисходительности таможенных служб иностранные клиенты мало чего боялись и спрос на антиквариат возрастал. Но периоды благодушия сменялись периодами повышенной бдительности. Таможенники переставали церемониться с обладателями дипломатических паспортов и даже взламывали контейнеры с дипломатическими пломбами, если были уверены в том, что в контейнере находится то, что там не должно находиться. За вскрытие таможня, по словам личности, платила большой штраф и был большой скандал. Но часто содержимое контейнеров стоило и штрафа, и скандала. В периоды этой повышенной бдительности спрос на продукцию падал и доходы тех, кто занимался подпольным бизнесом, падали соответственно.

Снабжая иностранцев антиквариатными вещичками, джентльмены, в свою очередь, получали от них товар, пользующийся, так сказать, повышенным спросом; получалось и оприходывалось все: от

одежды до "тамиздата". Личность, которая с неожиданной откровенностью сообщала мне подробности своего подпольного ремесла (я старался завоевать его доверие, ибо намеревался через него достать некоторые редкие издания, могущие, как мне тогда казалось, понадобиться мне в Америке), была уже настоящим буржуа, представителем того класса, каковой должен будет, как я уже писал, вытеснить феодала. В отличие от фотографов, он уже избавился от всех комплексов начисто. Его полный разрыв с феодальными ценностями проявлялся не только в его безразличии к тому, что он не приписан к сословию и выпадает из феодальной лестницы, но и в абсолютном равнодушии к знанию. Феодально-теократический мир зиждется на партаппаратчике-священнике, человеке книги, а поэтому, несмотря на объявление деятельности рабочих и крестьян наиболее уважаемой, главным героем совобщества является интеллект. А никто не может быть настоящим интеллектуалом без известной изощренности, кою желательно приперчить некоторым количеством критического отношения к содействительности. Поэтому-то мой лохматый фотограф любил демонстративно читать либерально-интеллигентную "Литературку" и отпускать колкие замечания по поводу своих коллег, ничем, по его словам, кроме баб и денег, не интересующихся. Личность же была уже настоящим буржуа, и все феодальные комплексы были начисто вымыты из его сознания "холодной водой эгоистического расчета", в котором, если конечно верить марксову "Манифесту", тот "рыцарский энтузиазм", "религиозный экстаз" и "мещанская сентиментальность". Через руки личности проходило немалое количество "тамиздатовской" литературы, не говоря уже о книжках, легально изданных в СССР, но таким маленьким тиражом, как, например, поэтические сборники Ахматовой или Пастернака, что они были доступны лишь немногим счастливицам. Феодальная ценность "престижа" распространяется, как известно, не только на материальные блага, но и на знания: возможность знать то, что по тем или иным причинам было недоступно большинству, подымает тебя в глазах общественности точно так же, как американские джинсы, обтягивающие задницу.

Так вот, эти феодальные ценности требовали, чтобы мой собеседник всячески подчеркивал бы свое превосходство надо мной, обосновывая его тем, что он читал или во всяком случае, держал в руках то, что мне было недоступно. Но ничего подобного не было. Личность была абсолютно равнодушна ко всей печатной продукции, с которой ей приходилось иметь дело и была совершенно невеже-

ственна. Как настоящего, истинного буржуа, все эти "тамиздатовские" книжки и иконки его интересовали только, как товар, и более с никакой иной стороны. Товар продавался и получались деньги. Часть из них снова шла в оборот, а другая тратилась, главным образом, на женщин — их он был большой любитель. И опять же в его отношении к ним не было ничего от феодально-салонного отношения к разврату, требующего улавливание жертв в искусно сплетенную паутину, наконец, бравоирования своим суперменским цинизмом. Ничего подобного не было с моей личностью: она говорила о своих амурных похождениях со скучной американской основательностью; точно так же она обсуждала свой бизнес — обмен икон семнадцатого века на энное количество джинс, а джинс — на томики Пастернака. Женщины были не только его главной жизненной радостью, но и удерживали его (он был еврей) от эмиграции. "Тут, — говорил он мне с расстановкой, как бы рассуждая с самим собой, — со мной и семнадцатилетняя пойдет. А там кто?" И был прав.

Встречал я и другую личность подобного рода, она тоже уже была вполне сформировавшимся буржуа, буржуа без всяких пережитков феодальной идеологии.

Этот буржуа был дородным представителем какого-то кинобизнеса — во всяком случае, он мне так представился. Пригласив меня к себе домой, знаток кинобизнеса расплылся в выпуклом, удобном кресле и, поглядывая на меня своими востренькими семитскими глазами, спросил о цели моего визита. Я сказал ему, что мне нужно переправить кое-какие записи за рубеж, ибо в ближайшем будущем я также собираюсь пересечь государственную границу. Я заверил моего собеседника в том, что то, что я собираюсь ему вручить, не является ни государственным секретом, ни записками клеветнического характера. Государственных секретов я просто не знаю, а что касается моего отношения к советской власти и ее имперско-эсхатологической миссии, то во все это я искренне верю и страстно люблю, а если и уезжаю, то лишь по той причине, что советская власть моих чувств не разделяет; он должен знать, что такое бывает в жизни — неразделенная любовь. То, что я собираюсь ему вручить, абсолютно безопасно: это всевозможные выписки из книжек о Великой Буржуазной французской революции, написанных где-то в начале нынешнего столетия; книжки эти явно ничего ни клеветнического, ни секретного не содержат и крайне нужны мне лишь потому, что над темой "Французская революция в русской общест-

венной мысли начала 20 века" я работаю уже более пяти лет и хотел бы продолжить свои занятия и на Западе.

Киноспец спокойно выслушал мою исповедь и сказал, что характер моих записок его совершенно не интересует. Его интересуют исключительно деньги. "Как так, — спросил я его, — не интересуют? А если я передам пакет с планами размещения советских стратегических ракет? Вы это тоже у меня возьмете для переправки?" — "А хоть и это", — ответил он. "А ежели вас поймают?" — "А я скажу, что этот пакет мне подсунули".

Зачем нужны были ему эти деньги? Он вкладывал их в имущество и спасал от инфляции — это было несомненно: комната, в которой он принимал меня, была маленьким антикварным магазином или, вернее, напоминала комнаты-экспонаты, которые затем я часто видел в западных музеях. Комнаты эти с тщательно подобранными экспонатами дают посетителю возможность представить, как выглядела гостиная французского аристократа 18-го века или рабочий кабинет голландского купца 17-го столетия. Так вот, комната кинодеятеля и напоминала один из таких музейных залов-экспонатов: старинная полированная мебель, дорогие сервизы за толстым стеклом, мерцание бронзы и позолоты корешков редчайших изданий.

Внешне все эти накопления выглядели весьма прочно и основательно, но это была иллюзия: по существу все было хрупким и зыбким. Накопленное антикварное имущество нельзя было легально продать, наиболее ценные предметы вообще не должны были находиться у частного лица, а в запаснике музея. На худой конец они должны были быть зарегистрированы в соответствующей организации. Наконец, все это имущество, накопленное отнюдь не законным образом, могло быть конфискованным в единый час, а его владелец, по меньшей мере, мог быть отправлен в тюрьму. "Что копишь, — сказал бы один из наиболее известных персонажей Евангелия. — В единую ночь возьмет Бог душу твою". Всю эту непрочность материального бытия киноличность прекрасно понимала, а посему предпочитала вкладывать основной капитал в нечто более весомое и прочное, чем антиквариат. О том же, какое портфолио имелось у моего кинодеятеля, я узнал у нашей общей интимной знакомой. Вообще, к слову сказать, иметь общих интимных знакомых иногда весьма полезно, ибо через них ты можешь получить весьма интересную информацию. Император Нерон имел, например, общую интимную знакомую с римским писателем Петронием и

когда этот Петроний высказал несколько критических замечаний о литературных достоинствах произведений императора (обнимая при этом, естественное, общую знакомую), то император узнал об этом на следующую же ночь. Узнав о характере мышления одного из своих подданных, император сделал соответствующие выводы, и Петронию в конечном итоге пришлось, во избежании худшего, перерезать себе вены, сидя в теплой ванне и ведя философскую беседу со знакомыми и рабами. Так вот, общая наша знакомая, находясь в объятиях кинодеятели и разглядывая музейно-антикварную роскошь кабинета, спросила его о мегацели торговых махинаций и накопления матблаг. "Зачем тебе все это?" — "Как зачем? Я деньги делаю". — "А деньги зачем?" — "А за деньги, — ответила киноличность, — я получаю таких прекрасных женщин, как ты". И это было безусловно мудрым и предусмотрительным решением. В отличие от фарфоровых сервизов, бронзовых статуэток и книг редчайших изданий, половой акт не мог быть конфискован органами ОБХСС, а посему, как вложение капитала, мог соперничать по надежности даже с вкладами в швейцарские банки.

Так вот, повторяю, главное зло шло не от иностранцев, а от соотарищей, кои и были особенно активны в деле добывания нехороших книжек, сплавлении наценностей за рубеж и совращении белобрысо-нравственных дакотийских жителей. Стоит более или менее основательно закупорить иностранцев в гостинице или тургруппе, как опасность их пребывания в СССР сводится на нет — так, я думаю, и полагали многие из мальчиков внешней охраны. Закупоривание на улице было делом достаточно трудным, но не в Кремле и Красной площади: тут каждый пяточок хорошо просматривался, и всякий отечественный инициативник, пытающийся вступить в контакт с иностранными подданными, улавливался немедленно. А отсюда было у большинства мальчиков внешней охраны к западным туристам снисходительно-благодарное отношение. Их, патлатых, грязных и нечесанных, в потрепанных джинсовых курточках и заплатанных джинсах, пускали в Кремль, тогда как совграждан в грязных портках и с небритой щетиной в Кремль не пускали. По отношению к иностранцам позволялись и более серьезные послабления. Помнится мне, молодая пара направлялась в Кремль с огромной сумкой-люлькой, в которой, посасывая палец, мирно сопел розовый младенец. Будь обладатели сумки совподданные, их бы с этой люлькой-сумкой никуда бы не пустили: а вдруг под невинной

розовостью младенца маскируется динамит? И не посчитались бы туземные Аввакумы с невинной розовостью младенца и "со слезками", смущавшими Дмитрия Карамазова. И если бы знали они, что для ликвидации ненавистного большевизма (ведь хуже его ничего нет и ничего не будет, в этом-то Аввакумы абсолютно уверены), нужно будет поразить тирана или тиранов, а для уничтожения тирана или тиранов необходимо принести искупительную младенческую жертву, то с неизбежностью пришли бы к выводу, что жертва эта не только возможна, но и необходима. Тем бы, кто попытался бы их упрекнуть младенцем, они тут же бы заявили, что большевики уже загубили миллионы этих младенцев и в будущем загубят еще миллионы, если и не физически, то нравственно и морально; так что гибель миллионов младенческих душ гарантирована с неизбежностью в случае существования большевиков. Они также заявили бы критикам, что, метая бомбу, они топчут собственные принципы, требующие от них любви к ближним, к ближним младенцам в особенности, а посему они не столько Пилаты, сколько Христы и достойны жалости, и Магдалин, которым вовсе не всегда нужно, особенно по ночам, с ними каяться. Что же касается убиенного младенца, то в будущей свободной России ему поставят храм-памятник, что-нибудь в виде Спаса-на-Крови.

И вот в силу того, что Аввакумы еще не произрастают на одномерно-скучных, "мелко-достойных", как заметил бы К. Леонтьев, полях Северной Дакоты, и был пропущен розовый кап-младенец на территорию Кремля, а не сдан, как "прочая кладь", в камеру хранения.

Простые и безыскусные мальчики внешней охраны, озабоченные исключительно спокойствием на вверенном им пяточке, относились к западным туристам снисходительно. Иное было с их мыслящими коллегами, начальниками, думающими об интересе системы, как таковой: у них отношение к иностранным туристам было более сложное. Турист, как я думаю, они полагали, является обладателем двух ипостасей: полезной и вредоносной. С одной стороны, туристы были источником информации. Мне говорили интуристовские коллеги, что они пишут об отношении к нашей стране и прочем. Подобная информация, особенно, если она касалась влиятельных на Западе лиц, очень была полезной вышестоящим органам. К слову: наша организация, во всяком случае экскурсоводы, подобным сбором информации не занимались. Если от нас и шла какая-нибудь информация наверх, то не об иностранцах и даже советских экскур-

сантах, а, я думаю, о самих экскурсоводах. Я уверен, что в нашем штате было энное количество информаторов. Они не доносили о тебе лично, если ты рассказывал какой-нибудь антисоветский анекдот, это, по-моему, уже никому неинтересно, но сообщали об общих настроениях экскурсоводческой массы. Один из таких вот информаторов, сидя на лавочке в Александровском саду, любил расспрашивать меня весьма детально о моем отношении к тем или иным политическим событиям, хотя по глазам его было видно, что ему лично эта информация абсолютно неинтересна. Но вернемся к органам. Они были очень рады использовать иностранцев как источник информации, но понимали, что подопытный наблюдаемый кролик сам мог быть вполне наблюдателем-исследователем. Процесс познания в этом случае был обоюдным. А это-то мыслящим гебистам очень не нравилось. Раз один из них, прогуливаясь по садику и заметив группу западных туристов, сказал мне: "Будь моя воля, я бы их сюда, в СССР, никогда бы не пускал". — "Это почему же?" — осведомился я. "А потому, что за один день в стране они могут узнать о ней больше, чем за годы сидения в своих библиотеках".

Отношение совграждан к иностранцам было различным. На большинство из них они не производили никакого впечатления; иностранные группы были таким же элементом архитектурного ландшафта, как соборы или дворцы. Равнодушно-невосприимчивыми были даже иногда те, кто попадал за рубеж. Я водил, помнится, одного молодого парня, который вернулся из заграничной стажировки, он пробыл, кажется, несколько лет в Новой Зеландии, где изучал достижения рыбоконсервной промышленности. Из-за рубежа парень вернулся с денежками и был щедр. После экскурсии он пригласил меня в ресторан, где мы хорошо выпили. После того, как глаза парня заблестели, я стал расспрашивать его о западных впечатлениях и выдавил из него лишь то, что там была у него какая-то веснушчатая пассия. И не думаю, что он темнил. Вполне возможно, что рыбная промышленность, движения по лавкам и распродажам, страсть его веснушчатой пассии вполне удовлетворяли его. И равнодушный к какой-нибудь интеллектуальной деятельности у себя на родине, он и на Западе игнорировал, без особого для себя напряжения, предлагаемую ему диссидентско-сексуальную клубничку.

То же сходное отношение к Западу было у моего приятеля испанца, мы вместе с ним учились в МГУ. Приятель не интересовался ничем, кроме выпив.и и мордобоя, и посещение родины предков не

оказало на него никакого влияния. На все мои расспросы он отвечал неизменно одно: "Вот был в Испании и башмаки купил, отличные башмаки". Так что все посещение Испании и свелось у него к приобретению башмаков на толстой подошве.

Было и положительное отношение, но лишь на бытовом уровне. В том случае, если иностранец обращался за помощью к москвичу, ему скорее приходили на помощь, чем к провинциалу. Здесь было не только гостеприимство, но и желание показать себя с лучшей стороны, боязнь негативного образа. Это желание частных граждан представить все происходящее в СССР с лучшей стороны совпадало с соответствующим желанием властей.

Известно, что официальная установка исходит из того, что иностранец может видеть только одну деревню — Потемкинскую. Дело здесь иногда доходило до смешного. Веду я раз по МГУ группу итальянцев, и по ходу экскурсии мне нужно зайти в Актовый зал университета — одну из главных университетских достопримечательностей. Зал, украшенный мрамором, был действительно хорош, и наивные иностранцы меня часто через переводчика спрашивали, не жил ли здесь царь. Узнав, что все, что они видят, является все-таки университетом, а не царскими палатами, иностранцы цокали языком и говорили, что ничего подобного у себя на родине они не видели и подобная мраморно-бронзовая роскошь, предоставленная народу, то есть студентам, несомненно свидетельствует о чрезвычайной заботливости и демократичности советского правительства. Так вот, желая проникнуть в этот привлекательный зал, я попытался открыть дверь. Она была заперта. Я постучал, и тут появилась какая-то бабка, которой, видимо, и был вверен надзор за залом. Я объяснил ей, что я экскурсовод, что веду иностранную группу и что посещение зала входит в нашу экскурсию. На бабка противилась и не желала нас никуда впускать, ссылаясь на то, что с потолка свалилась люстра и ее ремонтируют. Я ответил бабке, что мы никому мешать не будем и станем у самой двери, но бабка не отступала. И дело, как я понял, было не в том, что мы будем мешать монтерам, а в том, что вид разбитой люстры мог быть антисоветски истолкован иностранными туристами: падение люстры будет рассмотрено, как свидетельство наших неудач в коммунистическом строительстве. Я стал доказывать бабке, что падение люстры никак антисоветски истолковать нельзя и что люстры падают и при капитализме. Но бабка, евнухом защищающим обнаженные прелести наложниц султана от посторонних нецеломудренных взоров, стояла

на смерть. Я было уже хотел отступить, но тут в дело вмешались мои клиенты — итальянцы. Один из них, смерив взглядом меня, а затем бабуку и все, видимо, поняв, крикнул, призывно махнув рукой: “Аванте популо!” “Populo” ринулось вперед и, без труда оттеснив бабуку, ворвалось в зал; я последовал за ними.

Это желание показать товар лицом, желание представить себя в лучшем виде глубоко коренится и в сознании среднего советского человека, в том числе в сознании автора этих строк.

Однажды, возвращаясь после очередной экскурсии, я заглянул в предбанник Оружейной палаты. Здесь продавались билеты и толпились жужжащие на всех языках иностранные туристы. Около окошка кассы стояла что-то доказывая на ломаном русском языке, маленькая девчушка. Я обратился к ней на своем отвратительном английском, и девчушка радостно откликнулась. “Я австралийка, — быстро выпалила она, — австралийская студентка и член международного студенческого союза. И вот всем членам этого союза делается скидка при покупке билетов. Это международное правило. А вот у вас оно не действует. И вообще, — сказала она с горечью, — какие у вас все люди злые и неприветливые”. И хотя я был полностью согласен с девчушкой, ее заявление обидело меня, ибо выходило, что и я “злой и неприветливый”. Решив разубедить девчушку, я пригласил ее на тур по Кремлю и провозился с ней почти два часа. И был очень рад, когда девчушка пересмотрела свою точку зрения.

Положительное отношение к иностранцам было также связано с тем, что они выступали поставщиками ценных, дефицитных товаров. Последние были весьма разнообразны и включали в себя не только престижные джинсы фирмы “Lee” и не менее престижные томики Пастернака, кои через Нью-Йорк или Париж оказывались на исторической родине, но и такой предмет, как секс.

Вообще сексуальная жизнь среднего советского человека представляет собой, как мне кажется, совершенно уникальный феномен и часто является единственной сферой, где он может свободно проявить себя. Так что, если на Западе можно утверждать, если, конечно, верить фрейдистам, что политическая и культурная жизнь общества есть сублимация сексуального желания, то в СССР все наоборот: сексуальная жизнь есть часто единственно возможное проявление многих аспектов экономической, культурной и социальной жизни общества.

Советское общество представляет собой уникальное явление и

не может быть сравнимо ни с чем, даже с его восточно-деспотической разновидностью. Действительно, даже в восточной деспотии, где все, включая жизнь подданных, юридически принадлежало фараону или императору, не было такой беззащитности частной собственности, даже если она не была "орудиями и средствами производства", как в России 70—80-х годов, не говоря уже о сталинском периоде. Житель Поднебесной империи, где все, повторяю, теоретически принадлежало императору, мог тем не менее вполне легально копить золотые слитки и продавать их по мере надобности. В СССР не только продажа золотых слитков, но даже редких книг, если она не производится через государственные букинистические магазины, а на толчке, — есть криминальный или, во всяком случае, полукриминальный акт. Операции с собственностью настолько затруднены, твой статус собственника настолько зыбок и неустойчив, что вопрос о том, стоит ли ее копить, возникает в уме даже того, кто самой природой создан для того, чтобы быть живым воплощением скаредного трудолюбия первоначального накопления.

Протестантская этика очень быстро глушится, даже на благодатной грузинской земле, сорняками феодального эпикурейства с его желаниями промотать и расточить, превратить банкноты, антиквариат и прочие легко конфискуемые компетентными органами блага в то, что органам этим недоступно. А что для них недоступно? Ну, во-первых, можно вложить все эти матблага в человеческие отношения. Как известно, они играли в докапиталистических формациях роль совершенно исключительную. Ритуальные пиршества имели сакральное значение, и если человек, с которым ты ел и пил и который считался твоим другом, предавал тебя, то это было смертным грехом. Взяв, человек должен был отдать. И подобно тому, как в варварских королевствах феодальный сеньор предпочитал не зарывать золотые награбленные динары в землю, а раздавать их дружинникам, увеличивая тем самым их преданность, так и советский буржуа вкладывает часто свои капиталы в человеческие отношения. Хождение по ресторанам, вождение домой на домашние пиры — все это вложения капитала, создание "связей", приобретение дружинников, кои теоретически должны по первому зову сеньора явиться "конно, людно и оружно" и отработать влитый в них коньяк. Но и эти вложения неустойчивы.

Друг всегда может отговориться тем, что, хотя он и помнит о выпитом коньяке, но выше лба уши не растут и то, что от него требуют, он исполнить никак не может. Дело может быть и того

проще: коррумпированного вином, шашлыком и брильянтами партдруза могут просто снять, как это и произошло в шеварнадзевскую эпоху в Грузии, и все вложения в этом случае превращаются в прах. Единственно надежное вложение лишь то, что ты сожрал или, да простит меня читатель и особенно читательница, вы...л. Это все при тебе. Оно тебя никогда не обманет, не продаст и для КГБ или ОБХСС недоступно.

Традиций гурманства в России нет, а простое, неизысканное, неизощренное пожирание сервелата вскорости надоедает, чего никак нельзя сказать о сексуальном удовольствии. Так что женские гениталии заменяют money market, акции компаний или дома. И к ним-то и стремится советский Казанова или маркиз де Сад, каковой родись он где-нибудь в империалистических джунглях, с неизбежностью превратился бы в сурово-нравственного пуританина, накопителя зеленых бумажек.

Секс выполняет и важную политическо-диссидентскую функцию. От любви к "евреям" несет сионистским душком, но любовь к "еврею" вполне извинительна. Нельзя отвергнуть работника госбезопасности, как представителя власти, но можно, как мужчину.

Весна. Кроны деревьев Александровского сада покрываются нежным салатovým пушком. Даже столетний дуб у самого входа, столь напоминающий дуб в "Войне и мире", весь преобразается в своем зеленом наряде. Разомлевший от тепла и весны "топтун" с блаженно-лирической нежностью на поросычье-розовом детском личике медленно кружится по вверенному ему пятачку. Рядом экскурсоводка. Не совсем молодая, но и не совсем старая. Совсем не разомлевшая, а злая и напряженная. Агент продолжает между тем кружиться, личико его, подставленное солнечному лучу и свежему весеннему ветерку, становится таким умиротворенным и незлобивым, что превращается в почти ангельское. Кажется, еще мгновение, и маленькие черные бугорки появятся на его ворсистом, неопределенного цвета пальто и, лопнув, покажут миру, синему небу, солнышку и зеленому пушку нежно-белые бархатистые лепесточки крылышек. И радостно мурлыкая, агент запорхает над вверенным ему пятачком и Александровским садом, неся миру благую весть любви.

Медленно кружась, агент приближается к моей экскурсоводке. "Какой день хороший", — говорит он ей с нежной сексуальностью. Экскурсоводка не оборачивается: "А пошел ты..." Грустный, поникший агент отходит. В его детских глазках обида и вопрос: "За

что?" "Лет сорок тому назад за честь бы посчитала", — говорю я ему. "Угу", — грустно отвечает мне агент. "Престиж упал", — обнаглев от его беспомощности, говорю я. Агент, в подтверждение моих слов, грустно качает головой.

Если уж наши экскурсоводки и вступали в неплатонические отношения с кремлевскими топтунами, то исключительно по своей воле, как свободные гражданки, а вовсе не как безгласые рабыни Бресеиды, ублажающие похоти господина, как это было в бериевские времена. Один из дюжих и добродушных Гераклов приметил одну из наших крутобедрых Омфал. И она его приметила, и началась у них любовь. Причем, как мне кажется, инициатором была Омфала, а широкоплечий и несколько даже, по-моему, стыдливый Геракл просто следовал путями ее ненасытной похоти. Были и случаи прямого совращения гебисточек, что было не просто вольтерьянством, секс-диссидентством, а откровенным бунтом, ибо поданные тут откровенно и явно е...ли власть.

Один из моих знакомых вошел в контакт со славной организацией следующим образом. Однажды "в студеную зимнюю пору" привел он себе в квартиру особу женского пола, коя была разведенной матерью довольно взрослой дочурки; следовательно, как тут заметил бы Ильич, представляла собой "слабейшее звено в системе империалистических государств". И действительно, "революция" произошла быстро и бескровно: силы реакции почти не сопротивлялись. В середине ночи особа попросила партнера достать папиросы. Выполняя приказ, он стал рыться в ее сумочке и, копаясь среди зеркальцев, помады и прочего женского имущества, вдруг вытащил на свет божий какую-то бордовую книжицу с гербом Союза Советских Социалистических Республик. Раскрыв ее у ночника, он с удивлением обнаружил, что проводит ночь с лейтенантом Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР. Конечно, приятно ему было подумать, что может он теперь сказать приятелям: "А я это КГБ е...ал". Но, с другой стороны, заняло тревожно-вопросительно сердце. Не без тревоги залез он в постель и, вручив папиросы партнерше, спросил с опаской: "Это что, ты со мной по заданию... А?" — "Слишком хорошо о себе думаете", — презрительно хмыкнула особа, намекая, что слишком будет большая для него честь отнимать служебное время столь высокооплачиваемого работника, как она.

А платили им действительно неплохо. Зарплата 200 рублей, огромная квартира, деньги на обмундирование (не может же она

являться в учреждение в заношенной юбке), путевки на курорт каждый год и множество прочих благ. Где еще она, женщина без высшего образования, могла получить все это? А дочку нужно кормить, да и самой хочется жить по-человечески. Вот она и пошла в Органы.

“Так ты думаешь, что я с тобой по заданию сплю. Дурак. Я ж ведь тебя люблю”.

Приободренный примером приятеля я и сам решил таким вот образом проявить свой оппозиционный дух. Была у меня на примете чернобровая Фрина, коя была женой гебиста. Фрина постреливала по сторонам глазами и что-то у нее в семейной жизни не ладилось.

Вообще-то я страшный трус, и когда мои приятели начинали какой-нибудь политический сомнительный разговор на улице, я настоятельно просил их замолчать. Но тут я был абсолютно уверен в том, что узнай супруг Фрины о моих проделках, то не только не решился бы меня поволочь на Лубянку, но и по морде мне бы дать не посмел, ибо битье по морде для власти унизительно — цезарь, не роняя своего достоинства, может только распинать или ссылать на рудники.

Я уже предвкушал диссидентско-сексуальное удовольствиешко, должное как-то разнообразить мое пресное кремлевское бытие, как отношения Фрины с супругом наладились и предприятие пришлоось отменить.

Уже в самом сексуальном акте, если он совершался не для производства солдат и тружеников, было нечто крамольное, диссидентское, западное, а поэтому-то многие из московских фрин, клеопатр и феоdorf полагают, что, занимаясь сексом, они подрывают идеологические основы режима.

Итак, секс выполняет в совобществе множество социальных функций, является он и товаром, да простят уже меня специалисты по политэкономии, если я не правильно пользуюсь терминами. Товар же в советском обществе делится на “престижный”, доступный лишь элите, и “непрестижный”, который могут получить все советские граждане. (Это деление товаров есть социально-экономическая специфика соцфеодализма. В классическом феодальном обществе определенный тип товаров, земля, например, юридически не могла принадлежать подлому сословию. В буржуазном обществе дефицитных товаров нет, а есть только товары дорогие или дешевые. “Дефицит”, по-моему, уникально-советское явление.)

Западные товары — есть товары дефицитные, престижные, доступные немногим, а отсюда и положительное отношение к Западу, их поставляющему. Секс-товар, идущий с Запада, всегда предпочитается сексу-товару туземного производства. Некоторые из моих московских знакомых мужского и женского пола с особой гордостью говорили о своих победах над зарубежными гражданами или гражданками, причем внешние достоинства жертв их абсолютно не интересовали. Гордо говоря: “А у меня американка была”, — совказанова не пытался обосновать свою гордость тем, что американка по привлекательности или опытности превосходит туземную жительницу. Главное было то, что объект его секс-гурманства был поставлен к его столу из-за рубежа. Однажды один из наших организаторов, уже отнюдь не юноша и видевший, видимо, на своем веку немало обнаженных женских телес, вытащил из-под своего стула (там находился портфель с деньгами) какой-то порнографический рисунок, выданный из западного журнала. Быстро показав мне его, он лукаво подмигнул, дескать, вот что имею. Никакого сексоткровения для него в рисунке не было. Главное было то, что рисунок был запрещен и был вывезен с Запада, а не нарисован в Москве.

Запад был поставщиком ценно-дефицитного секс-товара и в этом качестве был почитаем совгражданами. Но к их большому сожалению Запад не только поставлял его, но и вывозил его из отечества, и вот тут-то отношение к Западу совграждан резко менялось.

Иду я с группой по Александровскому саду и подхожу к Могиле неизвестного солдата. Около нее новобранцы обычно кладут букетик цветов — дань уважения павшему. И сейчас вот у Могилы стоит молодая чета, но чета необычная: он черный, а она белокурая славянка. Лица моих клиентов кривятся от отвращения и осуждения. Расизм? Есть, безусловно, и это. Интернационализм, как известно, не слишком прочно укоренился в сознании советских граждан. Даже нацменьшинства, сражающиеся, по их словам, за священное равенство, подсознательно завидуют своим господам и желали бы занять их место.

Пример тому русские евреи. Сколько раз слышал я в Москве их жалобы на то, что их затирают и что разговоры господствующей национальности об их преобладании есть великорусско-шовинистическая выдумка. Сколько раз я слышал причитания о том, что их, коренных жителей страны, считают иностранцами, которых терпят

из милости. Но вот оказались совевреи за границей и тут-то в своей ненависти к "нигерам" и "пуэрторикам" униженный и жаждущий справедливости советский еврей, ныне гордый обладатель гражданства или "green card" может смело соперничать с Крушеваном. А его израильский коллега, требующий депортации арабов и плюющий в сторону своих "марокканских братьев", смело может заткнуть за пояс Пуришкевича и Маркова вместе взятых. Первое желание освободившегося раба — самому стать рабовладельцем.

Так вот расизм безусловно способствовал деформации лиц моих клиентов, разглядывающих сочетающуюся пару. Но дело было не только в нем: хитрая африканская бестия увозила за пределы товар — женское мясо, которое, как всякое мясо, в СССР дефицитно, а посему должно быть оставлено исключительно для пользования советских граждан.

В советском обществе были превращены в товар не только эротическое, но и эстетическое наслаждение, что тоже, как мне кажется, представляется мне явлением уникальным и нигде более в истории не встречающимся.

Известно, что классики марксизма, указывая на негативное следствие отношений купли-продажи на жизнь общества, писали, что капиталист не может предаваться чистому эстетическому созерцанию, незаинтересованному по своей сущности, а думает о предмете искусства как о товаре, из которого нужно выжать какую-нибудь прибыль. Классикам не приходило в голову, что чтение книги или посещение музея само может превратиться в товар в том плане, что музей будет посещаться, а книга читаться вовсе не для повышения культурного уровня или эстетических восторгов, а только чисто для приобретения соответствующего престижа. Отнюдь не все кремлевские музеи были труднодоступны. В кремлевские соборы и Патриарший дворец попасть, кроме что разве времени школьных каникул, было нетрудно. Труднодоступным дефицитом был лишь Алмазный фонд и Оружейная палата, у которой часто можно было видеть иностранных туристов, коих пускали туда вне очереди. Вид иностранных туристов, готовых потребить дефицитный товар-зрелище, вызывал у сограждан такую же ярость, как вид шустрого чернокожего, готового вывезти и потребить дефицитное белокурое мясо.

"А мы пойдем в Оружейку-то?" — спрашивали меня мои клиенты, злобно косясь на пеструю зарубежную очередь. "Нет, товарищи, не пойдем, — я говорил с бесстрастным сладострастием, ибо вид

беззащитного клиента вызывал у меня сладостное томление, сходное с эротическим. — Посещение Оружейной палаты в экскурсию не входит. Если не верите, можете обратиться к нашему организатору на Красной площади". — "А почему их пускают?" — клиент кивал в сторону зарубежных гостей, давая мне своим кивком ясно понять, что будь его воля, то ни одного зарубежного гостя в Кремле бы не было. Глаза клиента горели огнем благородного негодования, говоря мне, что вовсе не видит он в западных туристах опасных конкурентов, вырывающих у него изо рта жирный кусок товара-зрелища, коим можно похвастаться, возвратясь к себе в провинцию. Дело тут, а это и доказывали мне горящие глаза, в патриотическом чувстве: ведь совершенно несомненно, что эти иностранцы посещают Оружейку и даже Мавзолей, в лучшем случае, из праздного любопытства и на святость шапки Мономаха и мумии Ильича им наплевать. Безразличие — так это в лучшем случае, а скорее всего глумление будет. Вот пришли сюда грязные, нечесаные, патлатые, на травке Александровского сада сидят, в карты играют и бутерброды жуют. А вот тот старый — так он явно с сексуальными вывихами, ибо не будет нормальный мужчина ходить в юбке; явно затем будет глумиться. "Не пускать", — настаивает клиент, видя, как открытая дверь Оружейки всасывает пеструю зарубежную массу. "Дорогой товарищ, — возражаю я ему, — так ведь мы их пускаем не за бесплатно, а за твердую валюту. Ведь это очень выгодно пускать в Оружейку иностранных туристов: сколько бы они ни смотрели на шапку Мономаха, ее не убудет. А так придется лес им там продавать, газ и прочее — а ведь это нам самим пригодится и запас ограничен". — "Не нужно нам ничего, — говорит клиент, смотря на меня исподлобья. — Не нужно ничего. И валюта их не нужна, сами справимся. Лишь бы не мешали и не требовали бы ничего".

Группа провинциалов проходит мимо красных кубиков — в них земля городов-героев. И вот один из них меня с усмешкой спрашивает: "А почему Куйбышева нет?" — "А почему он должен быть?" — парирую я вопросом вопрос. "А потому, что мы тоже город-герой — сколько лет без мяса и все держимся".

Маленькая девчужка из группы шутника замечает иностранных туристов и говорит мне решительно, твердо и бесповоротно: "А я против них, против, чтобы мы с ними торговали. Они у нас все вывозят и нам ничего не оставляют". — "И что же-то они вывозят и без чего это они вас оставляют?" — осведомляюсь я. Девчужка на мгновение задумывается, а затем с тем же решительным выраже-

нием лица говорит: “Все вывозят, икру, например”. — “А вы кем работаете?” — “Счетоводом”. — “А сколько получаете?” — “90 рублей”. — “Так простите, зачем вам при вашей зарплате икра?” Пытаясь найти аргумент, девушка опять на какое-то время смолкает и сосредоточенно смотрит себе под ноги. Аргументов нет, но она, тем не менее, стоит на своем: “А я все равно против”.

По выходе из Кремля я натыкаюсь на одну из моих коллег; коллега — убежденная антисоветчица. Антисоветчица брызжет слюной и ругается последними словами. Выясняю причину ее ярости. Она оказывается в следующем. Группа немцев в клетчатых пиджаках, фетровых шляпах с фазаньими перышками и ботинках на толстой подошве была окружена в Кремле группой ребятишек, начавших выпрашивать у них жевательную резинку. Один из тевтонов бросил на асфальт с дюжину маленьких пластиночек, завернутых в серебристую фольгу, и вся группа с усмешкой следила за тем, как правнуки и внуки победивших их варваров, ползая по асфальту, дрались между собой, как псы за кость. “Сволочи! Фашисты! Мать их перемать! Всех расстрелять!” — не могла успокоиться коллега. Услышав ее ругательства, к ней подходит женщина средних лет, провинциалка, тоже бывшая свидетельницей инцидента. Она полностью разделяет чувства экскурсоводки, и та обращается к ней с риторическим вопросом: “А зачем вообще они к нам едут?” Провинциалка хмурит лоб и отвечает на полном серьезе: “А едут они к нам потому, что хотят мясо наше есть”.

Вот вся эта вышеизложенная информация мгновенно пронеслась в моем мозгу в тот самый момент, когда наш парторг обводил наши ряды своим пронизывающим взором. “Национальный вопрос — очень важный вопрос, тут нужно быть осторожным, а иначе могут возникнуть неприятности. Вот, например, — секретарь запнулся, а затем решительно выпалил, — поступила жалоба, и жалоба вот такого характера: экскурсоводы нашего бюро евреи, евреи эти ведут экскурсии халтурно и сеют вражду между русским и татарским народом”. Шумок прошел по рядам экскурсоводов. Но суровый взгляд партсекретаря смягчился, и это было хорошим знаком. “Насчет сеянья вражды между татарским и русским народом, так это явно перегиб, но совершенно ясно, что экскурсовод недоучел специфику национальной психологии. По методичке нужно говорить “о взятии Казани”. А следует ли всегда слепо следовать методичке? Нужно думать, кому ты говоришь “о взятии Казани”. Для татарской группы, я полагаю, “взятие Казани” нужно превратить в

“присоединение Казани”, это будет к тому же и соответствовать сегодняшней точке зрения по этому вопросу советских историков. В новейшей литературе, которую я просматривал, говорится именно о присоединении Казани, и Сибири, и других земель. И нужно сделать акцент на том, что присоединение этих земель к Московскому государству способствовало их экономическому и культурному расцвету; и что все эти народы рука об руку с братским русским народом сражались с самодержавием, защищавшим интересы всех феодалов, в независимости от их национальности”.

“Товарищи, нужно сделать перерыв”, — сказал кто-то. Все согласились, и экскурсоводы вывалились в коридор. Я подсел к двум своим коллегам — обе мусульманских корней. Одна из них, казанская татарка, грустно вздохнула: “Все говорят: татары, Батый, разорение Руси. А разве мы, татары, разоряли? Разве мы, казанцы, к этому причастны? Мы не с Батыем шли на Русь, а сами были жертвы Батыева этого. Мы же ведь волжские булгары, и государство наше Батый разорил, как и русское. Я вообще считаю, что Татарскую АССР нужно переименовать в Булгарскую АССР; и не одна я так считаю, была, говорят, делегация послана в Совет Министров СССР с просьбой о переименовании”. — “А почему, собственно, нужно переименовывать, с чего это такой комплекс неполноценности? — вмешалась другая обладательница мусульманских корней. — Да, были татары, Батый был, и разорил он русскую землю. А что, русские лучше? Ну, выгнали бы только татар из Руси, на это право имели. Но ведь на этом дело не кончилось, полезли дальше и захватили Казань, а ведь Казань-то татарская земля, а не русская, и никто туда русских не звал. И ведь как брали Казань? Уж возьмем, к примеру, Карамзина — он русский историк, а не татарский, и зря говорить не будет. Так вот, по Карамзину, взяв Казань, учинили русские там резню не хуже батыевой в Киеве. И ничего, никаких комплексов”.

После перекура мы снова сгрудились в зале.

“Так вот, товарищи, какие будут предложения?” — обратился к собравшимся партсекретарь. “А я несогласна”, — и тут над рядами резиновым шаром выросла женская фигура. Шар был еврейской национальности и отличался добросовестным отношением к вверенному ему делу. “А почему, собственно, мы должны говорить у Покровского собора о каких-то там “присоединениях” и “добровольностях”. Нас вовсе не так учили, а вот так: было Казанское, татарское, разбойничье царство, и были разбиты татары русскими

войсками, и царство их присоединено к Руси. Победа над Казанью — слава русского оружия, и нельзя нам от славы этой отрекаться”.

Русскому партсекретарю не хотелось предстать перед собравшимися меньшим русским патриотом, чем пузатая еврейка, а поэтому ему не оставалось ничего другого, как развести руками и сесть на свое место. Вскорости после этого собрание закрылось, и экскурсоводы рассредоточились.

Я был согласен не с пузатой еврейкой, а с нашим парторгом и только потому, естественно, что я был халтурщиком. Еврейка могла раздражать татарское национальное чувство и прославлять русское оружие: она водила экскурсии добросовестно и придрататься к ней будет трудно. Не всякий ведь там татарин так прямо и возмутится победой русского оружия, обвинение скользкое, опасное, а придерется к экскурсоводу с какого-нибудь иного бока, чаще всего профессионального, обвинит его в стремительности бега, невнятности бормотания и прочем. Так вот, помятуя о том, что бег мой по Кремлю всегда стремителен, а бормотания невняты, я всегда щадил национальные чувства клиентов. Если в группе были у меня поляки, то “польско-литовская интервенция” превращалась только в “литовскую”. Если же в группе у меня пребывали литовцы (и этот факт мне был известен), то “польско-литовская интервенция” становилась исключительно “польской”. Наконец, когда я был неуверен в национальном составе моей группы, то просто говорил, что купец Минин и князь Пожарский разгромили каких-то анонимных “интервентов”. Надо при этом отметить, что польские группы, слушающие мои объяснения о победе русских над анонимными врагами в семнадцатом столетии, иронически усмехались, в то время, как литовцы были абсолютно равнодушны к моим вывертам и смотрели “в потолок”. Старался обходить я, опять-таки в полном соответствии с предложениями нашего парторга, острые углы и тогда, когда приходилось мне просвещать казанские группы, но, к сожалению, я не всегда распознавал национальную принадлежность моих клиентов и иногда попадал впросак. Начнешь, бывало, бить в воинственный барабан и петь победный пеан и вдруг видишь, что клиенты твои, прослышав о доблести русских воинов, взявших “последний оплот татарского ига” город Казань, начинают очи к долу опускать и перетаптываться с ноги на ногу. А потом подойдет к тебе какая-нибудь волоокая красавица и скажет, опять же потупив глазки: “А мы грех великий совершили, не смыть его нам”. И только тогда-то и узнаешь, что клиенты — татары и грех был со-

вершен почти 800 лет тому назад. Но, повторяю, если мне была известна национальная принадлежность моих клиентов, то никаких вольностей я себе не позволял.

На следующий день после вышеописанного собрания я приступил к выполнению своих непосредственных культуртрегерских обязанностей и получил на Красной площади "сборную солянку", собранную для меня организатором. Поскольку группа, как мне первоначально показалось, была монолитно-славянская, то я точно следовал стандартному тексту методички: Казанское царство было разгромлено и оплот татаро-монгольского владычества, город Казань, был взят. В тот момент, когда мой голос заунывно бубнил про доблести русского оружия, мой зоркий взгляд обшаривал группу. И обшаривал я ее не только потому, что выискивал среди клиентов лицо, посланное для моей проверки, но и для других целей. Солнышко светит так нежно, примиряюще, грустно, по-весеннему. Природа просыпается, но так не хочется вставать ей с зимней постели; ибо знает она, что за молодым опьянением жизнью с неизбежностью придет осень, бронзовые листья, седые волосы и конец. "Лучшее благо для смертных вовсе на свет не рождаться". Но "воля к жизни" жестока и слепа: нагревается каменная истомившаяся от холода брусчатка, лопаются почки, наскокаивают друг на дружку в сексуальной ярости, распушив серенькие перышки, воробышки. И вот, кроме высматривания проверяющих личностей, появляются у меня иные цели: я начинаю выслеживать округлости.

Так вот, в тот памятный день, когда я, прослушав назидательную речь нашего парторга, обшаривал глазами мою группу в поисках какой-нибудь округлости, я заметил монголоидную личность женского пола, "Откуда вы?" — спросил я личность. "Я из Монголии, я дочь работника посольства", — ответила мне она на чистейшем русском языке. "А не обидел ли я тебя расписыванием монголо-татарских ужасов?" — беззвучно спросил я ее глазами. "А вовсе и нет. Мне все это очень даже и нравится", — столь же беззвучно, но весьма определенно ответила мне личность. "И действительно, а почему, собственно, должна она быть обижена монгольским своим прошлым величием. Кто она сейчас? Ничтожества, затертые между Китаем и Россией, а тогда были владыки мира. И вообще, нужно польстить этой монголке, подemosфенничать немного: может удастся закадрить эту чингисханочку, и будет экзотика. Ведь не было у меня монголоидов; русские, еврейки, армян-

ки, грузинки — все были, а вот представителей черной и желтой расы не было”.

Я подхожу к Боровицкому холму, тут нужно сообщать гражданам об истории стен Кремля; тут также сообщается гражданам, что в 13-м веке полчища татаро-монгол напрочь сожгли Москву. Вот этот самый монголо-татарский элемент я и решил увеличить и расписать в деталях величие монгол.

”В начале тринадцатого века предводителю монгольских племен Темучину, он же Чингизхан, удалось объединить Монголию и начать завоевательные походы. В короткий срок были завоеваны племена Сибири и Дальнего Востока, монголы захватили Северный Китай и, пройдя огнем и мечом всю Среднюю Азию и Кавказ, обрушились на русские земли. Русские были наголову разбиты у реки Калка и монгольские военачальники пировали, сидя на раненых”.

Моя монголка млела от наслаждения и не потому, что питала ненависть к русским и китайцам. Ей просто приятно было осознавать, что когда-то ее предки были велики и могучи и могли огнем и мечом пройти по всей Евразии.

”В 1237 году, — я между тем продолжал, — монголы вторглись на территорию Руси и, покорив ее, двинулись на Запад. Ничто не могло остановить монгольскую конницу, и в соборах Европы раздавались испуганные молитвы: ”Господы! Спаси нас от ярости монголов!”

Моя монголка продолжает млеть; я явно ублажил ее. Должна, несомненно должна будет дать свой телефончик.

А почему, собственно, богу нужно было кого-то от монголов спасать? И по существу, были они весьма полезными для человечества. В империи монгольской никакой дискриминации не было и все евреи, русские, армяне, грузины, азербайджанцы, народы восточной и западной Европы были равны. Власть была настоящей властью и не кланялась никому, не унижалась до того, чтобы быть, как там, в России, русской властью, а в Израиле — еврейской. Всем рубили головы на равном основании, и каждый мог выбиться, если он был квалифицированным специалистом в своей области, например, в рубке голов, и был предан хану.

И я бы мог выдвинуться. Я был бы преданным, очень преданным и хорошим специалистом, я тоже был бы: общеобразовательная подготовка у меня есть, а рубке голов я бы выучился. И хотя родители мои утверждают, что ленив, но это не так: у меня просто нет стимула, а появившись стимул, так я бы быстро выучился бы. А ес-

ли бы не смог рубить головы (теоретически это все легко, а практически все не так просто: рука, например, может дрожать), то заведовал бы каким-нибудь отделом пропаганды. Пусть бы я не выдвинулся, пусть даже мне голову отрубили бы в будущем за какое-нибудь прегрешение, халтуру, например. Главное не это, главное — равенство, где нет никаких "пятых пунктов" и нет никакой национальной вражды...

Солнце мезозоя медленно подымалось над синеющими вдалеке горами и густой, сочной зеленью мезозойского леса. Небо было еще ночным, синим, Венера светила ярко, и розовый рассвет робко прощупывал вход в этот темно-синий враждебный мир. Переливчатая роса висела на гляцевых листьях, ворсистой коре пальм, на бархатистых пурпурных лепестках пряно пахнущих орхидей. Зеленые змеи блестящими малахитными прутьями застыли на коричневых, изъеденных лишаями стволах поваленных ураганом тысячелетних секвой, огромная бабочка с синим, стальным отливом крыльев сложила их рядом с плоской змеиной головой.

Черная гора медленно просыпается, клубок, прикрытый лианами, медленно разворачивается. Он подымается и становится сразу равен верхушкам самых высоких пальм. Он страшен самому себе: огромная голова, чуть сдавленная у висков, вместительное маленькое и безжалостно-предприимчивое мозга, метровая пасть вооружена десятками острых, как бритва, зубов; голова покоится на туловище, защищенном от укусов насекомых и колючего кустарника толстой, складчатой кожей; на груди — маленькие, дегенеративные лапки — ими он поддерживает кусок мяса, когда, стоя, пожирает его; и, наконец, ноги — толщиной в вековой древесный ствол, — созданные не только для того, чтобы поддерживать его многотонное туловище, но чтобы позволить ему бежать быстрее любого из жителей мезозойских джунглей. И нет никого, кто может соперничать с ним в смертоносной мощи его метровой пасти, нет жертвы, которая могла бы уйти от него.

Он — тиранозавр рекс, владыка ящеров и, стоя на задних лапах, он обращает к поднимающемуся солнцу свою голову, приветствуя его, мир и день победным рыком. Он выжил.

Семя, впрыснутое в его мать, породило яйцо, одно из многих, зарытых во влажный и теплый речной песок; через некоторое время он разгреб его и появился на свет. Мир был враждебен, безжалостен и тысячи опасностей подстерегали его, маленькое беспомощное существо; крокодилы в рифленных кожаных зеленоватых пан-

цирях подплыли к его семье незаметно, когда он жадно лакал воду под нависшим над рекой кустарником, и несколько его братьев беззвучно исчезли в их пастьях. Все было беззвучно, ибо жители мезозойских джунглей кричали редко, понимая бессмысленность крика, особенно крика ужаса, и умирали молча; он видел, как крокодилы челюсти размалывают, превращая в розовую, смоченную слюной массу его братьев, но был равнодушен к их судьбе. Когда оставшиеся, освеженные ужасом, бежали, быстро перебирая лапками, вязшими в песке, к зарослям джунглей, они были совершенно беззащитны для летающих ящеров, которые с хриплыми криками падали на них и подхватывали их маленькие тельца своими большими клювами-челюстями. Они уносились с ними вверх, к солнцу.

Он добежал до зарослей, но это вовсе не означало, что жизнь была дарована ему; чтобы жить, он должен был пожирать слабейших, тот, кто не находил более слабых, чем он сам, не мог жить в мезозойских джунглях. Сначала он пожирал червей и жуков, которых выискивал среди прелых листьев, потом, когда подрос и наловчился, он приступил к охоте на коричневых и земных ящериц, гревшихся на камнях, он прыгал на них, прижимал к камню и пожирал, начиная с головы, их гибкий хвост извивался в его горле и царапал небо. Но он понимал, что он еще слаб и беззащитен. И не только вид цератозавров — двуногих хищных ящеров с маленьким рожком у носа и холодными пронизательными, вечно ищущими глазами — вызывал у него ужас и заставлял прижиматься к земле, зарываться в листья, но даже вид безобидных бронтозавров, медленно ступающих по мелководью лагуны, пугал: он был им не нужен, но мог случайно попасть под их слоноподобную ногу. В темной, парной духоте ночи, когда луна то появлялась, то скрывалась за тучами, ему казалось, что он самый слабый и беззащитный среди всех живых существ, населяющих джунгли. И еще он страстно желал ее: самку утконосого динозавра. Она была прямоходяща и приходила каждое утро к реке, где, наклонив голову, жадно пила воду, одновременно следя за бревнами-крокодилами, греющимися на песке. У самки были упругие бедра — из каждого бедра вышло бы несколько отличных кусков свежего, обольстительного мяса. Но разве он мог надеяться на то, чтобы хоть раз в жизни отведать этого мяса. Самка иногда замечала его, но в глазах ее он не находил ничего, кроме равнодушия.

Через несколько месяцев он стал замечать, что что-то странное происходит с ним: его задние ноги стали удлиняться и утолщаться,

а передние оставались маленькими и недоразвитыми. Ему становилось все трудней и трудней вставать на четвереньки и, наконец, где-то к концу года он понял, что всю жизнь ему придется ходить только на двух ногах. Это страшно напугало его, ибо он понял, что ему уже никогда не удастся скрыться в зарослях, укрыться от мира, его голова всегда будет виднеться над кустами. Сердце его сжалось от предчувствия неизбежной смерти от челюстей цератозавра. И вскоре он увидел его.

Утром, когда встав на задние ноги, он осматривал ствол секвойи в поисках притаившихся ящериц, он увидел цератозавра с вечно голодными злыми глазками. Он понял, что тоже замечен им, и приготовился к смерти или бегству. Но тут случилось что-то странное: в глазах цератозавра он увидел страх: тот злобно-униженно осклабился, а затем тяжело побежал, ломая ветки кустарника.

Утром, придя к реке на водопой, он посмотрел в недвижную гладь воды и понял, почему убежал цератозавр: на него из воды смотрела морда с огромной метровой пастью. Он понял, что времена изменились, что теперь не он должен бояться джунглей, а джунгли его.

На утконосую самку он пошел сразу, не колеблясь, и даже предупредил ее о своем появлении сдавленным рыком. Он увидел ужас в ее глазах, ее клюв приоткрылся, и она закричала, но по-своему, как должна кричать утконосая самка. Это был какой-то клекот, казалось, что-то булькало в ее горле. Это польстило ему: рептилии мезозойских джунглей умирают молча и то, что утконосая самка кричала, означало, что она ненавидела и желала его более, чем кого-либо другого. Парализованная страхом, она не пыталась бежать, и ему достаточно было сделать всего несколько шагов, чтобы, обхватив ее тело своими верхними лапами, прижать ее к себе, а затем вцепиться ей в шею; она сломалась очень быстро, и тело безвольно рухнуло на землю. Она засучила лапами в агонии и пленка наползла на ее открытые испуганные глаза; а затем он нагнул голову и, вцепившись в ее бедра, вырвал из них огромный кусок мяса. Он приподнялся и, поддерживая его верхними лапами, стал жадно пожирать.

Через год он знал, что равных ему нет в мезозойских джунглях. Он принес в джунгли ужас. Но не только ужас. При виде его прекращались драки и грызня за пищу и самок, и твари нежно прижимались друг к другу. Его крепкая, зловонная от гниющего между зубами мяса пасть принесла в джунгли братство и любовь. И он

знал, что стоит только ему погибнуть (а он понимал смертность всего), как они начнут пожирать друг друга, безумно, бессмысленно и жадно, и драгоценная зеленая плесень, более нигде не известная во Вселенной, истребится на планете по имени Земля...

“Девушка, девушка, а нельзя будет получить у вас телефон? Ведь вам понравилась моя экскурсия. Я эрудированный, знающий (я смотрю на застежку-молнию ее джинсов маслянистыми глазками), мы обсудим с вами международные проблемы. И, конечно же, укрепим дружбу между монгольским и русским народом”. — “Нет, нет, я не могу, — отвечает она кокетливо, стреляя глазками. — Телефон мой — посольский, а его я никому не могу давать”.

Почему она не дала мне телефон? Почему мне не доверяют? Я преданный, я очень преданный, и я буду особенно предан монголам, у которых нет “ни элина, ни иудея, ни римлянина” и которые рубят головы всем и на абсолютно равном основании, без какой-либо дискриминации. И я буду нужен, очень нужен, очень полезен. Верьте мне. А то, что у меня гуманитарное образование, то это ничего не значит — я буду отлично рубить головы, сначала рука, конечно, дрожать будет, а потом ничего, наловчусь. И буду одновременно служить в отделе пропаганды. Работать за двоих, а получать зарплату за одного, но мне и зарплату не нужно. Мне нужно только равенство, чтоб не было “ни элина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни обрезанного и не необрезанного”, но во всех был только Христос...

Он стал владыкой джунглей и дарителем любви, но за эту жертву он заплатил дорого: стенки его желудка беспрестанно терлись и необузданная похоть голода никогда не покидала его. Весь день он должен был рыскать по джунглям в поисках мяса. И сегодня в это утро он быстро бежал к реке, где обычно приходили на водопой травоядные ящеры. Ему потребовалось не более получаса, чтобы добежать до берега, но берег оказался пуст. Он хотел было, не останавливаясь, побежать к другому водопою (муки голода были нестерпимы, и он рычал от злобы и нетерпения), как вдруг заметил на берегу странное двуногое существо; он подбежал к нему и, опустив голову, слегка приоткрыв зловонную пасть, с шумом втянул воздух. Запах существа был незнаком и подозрителен, а кроме того, оно было столь незначительным, что в лучшем случае могло лишь растравить его аппетит. А поэтому, не притронувшись к нему, он быстро побежал на восток, навстречу быстро поднимающемуся солнцу — восходящему солнцу нового, ему принадлежащего мира.

В этом доме было полно этажей.

А кнопка в лифте — на одну больше.

На лишнюю, самую верхнюю кнопку никто обычно не нажимал.

Взрослые вечно спешили по своим неотложным глупостям и мало любопытствовали по дороге, а дети до нее не дотягивались.

Когда же дети подрастали и тоже могли дотянуться, это были уже не дети, и они начинали куда-то спешить.

Оставались одни только старики.

Эти уже никуда не спешили, но могли еще дотянуться напоследок...

— Вся наша жизнь, — говорил старик Фишер, пока мы шли к лифту, — это чердак изношенных желаний. На чердаке вечно валяется старое барахло. И наши желания — то же самое барахло, что отслужило свой срок. Но если бы вы знали, как жалко его выбрасывать!

И он нажал на верхнюю кнопку.

Феликс Кандель

СЛОВО ЗА СЛОВО

(Часть третья)

© *Феликс Кандель*

И мы приехали прямо на чердак...

Старик Фишер был мудр, тощ, голенаст, подростковат на вид и похож на старого, отжившего свое кузнечика, хотя и не умел прыгать и стрекотать в траве.

Зато он умел давать советы — бесплатно и каждому — в прежней, оставшейся за бугром жизни.

Он не был настоящим ребе, кузнечик Фишер, но почти что ребе, — и там это считалось.

Он сидел по вечерам в кресле, уложив руки на подлокотники, а к нему приходили советоваться нерешительные евреи.

Кресло было массивное, тяжелое, с прямой спинкой, и усевшись в него, тут же хотелось вынести кому-то суровый приговор без права на обжалование.

Но в него не садился никто, кроме самого Фишера.

Воротившись с работы домой, он наскоро ужинал на кухне, взбирался в свое судейское кресло и ждал посетителей, — а они приходили непременно.

Его ноги чуточку не доставали до пола, но это никому не мешало.

Евреи привыкли советоваться.

— Ребе, как вы думаете...?

— Обязательно.

— Ребе, не считаете ли вы...?

— Ни в коем случае.

— Ребе, а можно вот так...?

— Так — можно.

Кресло не пропустила таможня.

Категорически.

— Оно старое, — сказали. — Антикварную мебель не выпускаем.

— Да чего в нем старого? — удивился тогда Фишер. — Обивка новая. Ножки новые. Спинка новая.

Таможенник подумал:

— Форма, — сказал он. — Форма старая.

И не пропустил...

— Там! — говорил Фишер вздыхая. — Там я был ребе. Да, да, ребе. А тут? Что я могу посоветовать тут? Курс акций? Проценты-кредиты? Куда вложить — кому продать? Я же ничего тут не знаю. Какой я тут ребе?..

На чердаке выгорожена была клетушка.

Клетушка-комнатушка.

Стояло там кресло-эрзац: тоже тяжелое, тоже массивное, тоже с прямой спинкой, и усевшись в него, тоже хотелось выносить суровые приговоры, но теперь уже с правом на обжалование.

Кузнечик Фишер уселся в кресло-эрзац и руки уложил на подлокотники.

— Заходите, — сказал. — Кто там на очереди? Такое у меня желание.

И посетитель пошел косяком.

— Ребе, что делать с...?

— Простить.

— Ребе, как быть с...?

— Пренебречь.

— Ребе, а насчет этого как...?

— Насчет этого — никак!

А сам — блаженствовал...

Чердак был огромный, раскидистый, пыльный и душноватый, и уводил в пугающую глубину через времена и границы.

В его затемнениях, по углам-щелям-пазухам, хоронились от глаз попользованные некогда желания, которые стоило бы и подлатать, подбить гвоздиком, прикрутить бечевочкой и снова пустить в дело.

Балки под ногами.

Стропила над головой.

Запахи перегретой пыли.

Я заблудился уже окончательно в своих невозможных желаниях и незаметно пересек государственную границу.

Столб стоял пограничный.

Старик в тулупе.

Старая берданка подпирала сзади, чтобы не завалился от хилости.

Он плакал от обиды, этот старик, и слезы стекали в валенки прерывистой стружкой.

— Ходят, — говорил. — Пересекают-нарушают. Им уже и граница не граница.

— В желаниях, — ответил я. — В желаниях все можно.

— Можно-то можно, — сказал он и подхихикнул посреди плача.

— Есть и у меня законное желание — пристрелить парочку.

— А вы с какой стороны? — спрашиваю. — Наш или ихний?

— А какая тебе разница? — сказал. — Пристрелю — а там разбейтесь.

И я пошел дальше...

Абарбарчук тоже ходил по чердаку.

Тоже, и он тоже!

В тех он ходил краях, куда заводит меня порой неутоленное мое желание, — и я вижу его тогда, дюжего, ражего, нос наперевес, с коробом на спине и складным столиком под мышкой.

— Купите, — говорит он и глядит на меня мудро и улыбочиво. — Совсем не за дорого.

Как же он изменился за эти годы, Шатун-Абарбарчук, как его жизнь потоптала! — быть может, это уже не он?

— Вы кто? — спрашиваю я. — Кто вы теперь? Военрук? Парикмахер? Производитель нестандартных лифчиков?

— Продавец эмоций, — отвечает он и раскладывает свой товар. — Эмоций выехавшей народности. Такое мое теперешнее желание.

— А какая с этого корысть?

— Комиссионные, — говорит он. — Вам весело, и мне процент веселья. Вам грустно, и мне процент грусти. Купите. Свежие. Нележалые. Эмоции, каких поискать.

— Мне некогда, — говорю. — Я на обратном пути. У вас еще останется?

— Останется, — отвечает он. — От такой народности, да чтобы не осталось?..

Я ухожу.

Я оглядываюсь.

Я переминаюсь в сомнении.

— Вы — кто?.. Вы — Абарбарчук?

— Этого я вам не открою, — говорит он. — Чтобы налогами не обложили.

— Кому тут обкладывать?

А он — мудро и улыбочиво:

— Есть тут такие. С такими желаниями.

И я пошел.

И я пришел в конец чердака, в самый его тупик, где окно — на всю стену, и город за окном — такой близкий и такой невозможно далекий!

Лбом в пыльное стекло: глядеть — не переглядеть...

2

...вот еду я по России, по битому ее асфальту, по неширокой лесной полосе, без просветов и прогалов по сторонам, — дикие, разбойные места, засеки с засадами, пересвист с уханьем, — будто забира-

юсь в глушь времен, в неведомое, в непочатые еще края, и город Борисоглебск всплывает неожиданно в окантовке лесов, в конце дороги-просеки, тянется кверху куполами церквей, чтобы разглядеть пришлого гостя, и я въезжаю в очарованное малолюдство, в сказку далеких веков, и запустение вокруг монастыря, и площадь булыжная в лужах, мелкие каменные строения дедовской давности, торговые ряды с неуместными вывесками: "Промтовары", "Продтовары", "Хозтовары", и выгоревший на солнце линияльный кумачовый призыв, и комната-магазин "Книги", где я купил Тютчева (— Было два всего, — тихо сказала грустная и некрасивая девочка-продащица. — Один купила учительница, другой — вам) , и громада монастыря с крепостными стенами, теплыми и шершавыми на ощупь, которые хочется обтрогать руками, надвратная церковь в оспинах-язвах — насупившимся, обиженным, обманутым сторожем-тяжеловесом, которого обошли с тыла, а внутри, в монастырских постройках, во всякой келье — контора, во всякой часовне — учреждение, и стук машинок, и перезвон телефонов, и треск тезки — допотопного арифмометра "Феликс", и бег суетливых служащих, и закуточек музея с прелестной коллекцией старинных лубков — "Чепуха для смеху народу на потеху", "Славный подпивала, веселый подъедала", "Роспись приданого молодцу удалому", — и не хочется уезжать назад, по битой дороге, но так и тянет остаться, оглянуться, зацепиться: город Борисоглебск опускается за горизонт куполами церквей, город оседает в памяти навечно, запрятанный в лесах сказочный город моего прошлого...

Почему еврей так пристально вглядывается в Россию?

Вот я ночую в грязной, продувной гостинице Ростова Великого, где застиранное белье, затертые истончившиеся одеяла, буйные голоса шоферов за фанерной стенкой, вонючий до невозможного туалет, где всю ночь безмятежно храпел на столе, впритык к писсуарам, здоровенный мужик в тулупе, которому не досталось койки, — а рядом, совсем близко, Ростов для иностранцев, Ростов на валюту: ухоженный, отреставрированный кремль, главы нарядных церквей опрокинулись в озеро, и кельи-комнаты, кельи-салоны, крестовая палата под столовую, холлы для телевизоров с редкими фресками на стене, прудик на лужайке с мелкой живностью, горластые иностранцы толпами, щеголезатые сотрудники с цепкими глазами — дьяволы в показушном раю, — а рядом, через стену, на внешнем, перемолотом колесами дворе, куда не водят туристов, храм красоты невозможной, жемчужина кремля с битыми окнами, с облезлы-

ми боками, с потемневшими от старости строительными лесами, на которые страшно ступить, с пометом голубиным — белыми лишаями — на иконостасе дивной, резной работы, — и обидно ходить там, в отстроенном не для тебя великолепии, и грустно лежать тут, под стенами чудо-храма, в бурьянных зарослях, проклиная и благословляя, ненавидя и любя...

Вот я приехал в город Мир, к Святополку Мирскому, в самую глубинку истории российской, где засрано все старательно, не пропущено ни уголка, выбиты стекла, поломаны печи, кострища на полу, и крыши провалены, и перекрытия порушены, и подвалы вскрыты как консервные банки, и буйная трава внутри помещений, кустарники, гигантские лопухи-мутанты, будто после ядерного взрыва, смертельной радиации, и нет вокруг ничего живого, нет вокруг никого, одни змеи да совы с ящерицами, — а рядом, на пригорке, церковь невидная, куполок над деревьями, мозаичный перелив над входом да ворота с крестом, которые никуда уже не ведут, а к кресту примотана проволокой антенна: связь уже не с Богом, а с радиовещанием и телевидением, — Боженька мой, мой добрый и терпеливый Боже, доколе?!..

Вот я стою, задрав голову, перед гигантским храмом в Коломне, и скрипучая телега с картошкой въезжает вниз, в его подвалы, по деревянному настилу, где овощной склад, и доски на полу, и мешки рядами, рассыпанная морковь в углу, и сладко тянет холодной гнильцой (— Умели строить, — говорит возница. — В этой церкви картошка не прорастает), — а вокруг храма, гиганта-храма, ободранные домишки, обвалившаяся штукатурка, заваленные на сторону ворота, разор и нищее запустение, и ощущение такое, будто опустился с небес инопланетный корабль-храм, продукт неземной цивилизации, будто вышли из него пришельцы и разбрелись по округе по любопытным своим делам, а аборигены тут же воспользовались моментом, аборигены вышибли стекла, ободрали крышу, своротили крест, изъязвили ранами каменную кладку, приспособили под картошку непонятное им сооружение, не для небесных — для земных нужд, ибо на большее не хватило пещерного их разума, и возвращаться уже некому, и возвращаться уже некуда: стоят по России соборы — следы удивительных и таинственных пришельцев...

Вот я плыву на пароходе по Волге, по Каме, по Белой, в музыкальной каюте, каюте пыток, где дверь поскрипывает, ручка попискивает, полка покряхтывает, стекло постукивает, жалюзи по-

брякивают, раковина похрюкивает, и так круглые сутки, ночь и день, без сна и отдыха, хоть ты и запикиваешь бумажку в дверь, нож за полку, вилку под жалюзи, голову под подушку. Будто гонят тебя нарочно из каюты на палубу, чтобы встал, увидел, задумался... И вот ты уже застыл у борта, на стареньком колесном пароходе, посреди неширокой реки, и земля панорамой проходит перед глазами, замедленно и торжественно, для полного ее обозрения, а на берегу стоят туземцы, группами и поодиночке, что высматривают на горизонте желанный корабль с бусами-счастьем. Хозяева — не гости. Старожилы — не туристы. Действующие лица — не зрители. Кричит в тумане пароходная сирена, кричит всю ночь, без отдыха, в ужасе перед неизбежным столкновением. Каюта пыток. Палуба пыток. Земля пыток — не продохнешь...

Вот я сижу в лодке посреди ленивых полноводных струй, и юноша на веслах, спокойный, как река, светлолицый, голубоглазый, золотоволосый, почти совсем обнаженный: шея линии греческой, мягкие переливы мышц, мощный бугор под фиговой тряпочкой. "Ты тут родился?" "Ну?" Тишина. Конец лета. День подарочный. Солнце нежными касаниями. Беспричинная тоска по невозможному. "Ты тут учился?" "Ну?" Течение тихое. Капли с весла. Раки под берегом. Грибы на косяке. Ветви над водой. "Ты тут работаешь?" "Ну?" Пушкинская беседка в парке — дом Щепочкина над обрывом — Полотняный Завод — река Суходрев — Наталья Николаевна с локоном у щеки. "Тебе тут хорошо?" "Ну?"... И снова шоссе, спешка и толкотня, шум и гарь — слева грузовик, справа автобус, а он, этот юноша, все еще плывет в тишине по течению, посреди луговых трав, обнаженный — в солнечных касаниях, и расстояние между нами — тишиной с травами и вонью со смрадом — считанные минуты на машине. Но не одолеть за годы, за века не одолеть. Гость — не хозяин...

Почему еврей так пристально взглядывается в Россию? Почему так упорно колесит по дорогам, забираясь в глухомани, оглядывая деревни с монастырями, церкви с погостами, чердаки и колодцы, амбары, кузницы, телеги с санями, фигурные наличники, прялки, иконы, лампы, лукошки, сита, коровьи бубенцы, медные складни, пестики, мутовки, маслосбойки, чугуны с ухватами, пудовые замки, шкворни с подковами, — почему?.. Пришелец ищет следы пришельцев? Чужой тоскует по своим? Лишенные своего, мы не равнодушны к чужому, мы, самозванцы, гости — не хозяева.

Это наше без права быть твоим.

Это ничье, к которому прикипело мое сердце...

...и ночью, на далеком пустынном шоссе, на въезде в старинный, неведомый город, наплывает на тебя в свете фар призрачная белая лошадь, белая стреноженная лошадь, огромная и таинственная — поперек шоссе, и глаз изумрудно косящий, переливчатый, драгоценный карбункул...

...и во мраке, в дождливой крошечной темени, под визг тормозов и всплеск сердца, возникает неведомо откуда пьяный мужик в угарном беспамятстве, велосипедом уткнувшийся в твой бампер, и тускло блеснувший глаз, громадным стеклянным бельмом, и капли дождя, стекающие по выпуклому, облупленному белку...

...и днем, в постели, в зашторенной зыбкости, на подушечной близне — круги под глазами запавшие, веки дрожащие, дыхание слабое, сон теплый, легкий, торопливый — не насытишься, часы отбивают прощальный менуэт — и снова машина, дорога, рев грузовика, рука на колене: "Здравствуй, милый!" — взгляд долгого, невозможного прощания...

Едешь на машине часами, сутками, и асфальт наматывается на тебя, пространство наматывается на тебя, и окрестные поля, леса с реками, сад яблоневый, где лошади пасутся посреди деревьев, копытами давят паданцы. Музыка в машине, скорость тихая, свет сумеречный, прощальный: боязно оглянуться назад, может, нет позади ничего, ни асфальта уже, ни окрестностей, — все намотал на себя, в себя, все увозишь с собой. Может, для того и уезжаешь, чтобы не покинуть, отворачиваешься, чтобы видеть, убегаешь, чтобы не разлюбить. Оглянулся быстро, по-воровски: асфальт за спиной, леса за спиной, реки, лошади, сады яблоневые, — нет, не намотать, не увезти с собой, не протащить незаконно через таможню памяти.

Но где же тогда я хозяин?

Где тогда я?..

3

Вокзал в Иерусалиме — тупик в Иерусалиме.

Поезд дальше не пойдет.

Незачем.

Подкатывают голубые вагончики, сходят на перрон пассажиры, дети с солдатами.

У солдат — оружие.

У детей — нету.

Солдаты — тоже еще дети...

— Папа, — сказали они. — Ты, папа, поедешь первым.

— Чего это вдруг? — удивился папа.

— А того это вдруг. Чтобы было нам с кем воссоединиться.

Он уехал.

Они остались.

И решают по сей день: ехать или не ехать.

А он посылает им растворимый кофе...

Сходят пассажиры, и уходят пассажиры, и останется на перронной скамейке замороженный старик Бердичевский, один-единешек на целой платформе, и ждет терпеливо очередной поезд.

Очередной будет не скоро.

Так он сидел когда-то на своем полустанке, а мимо просвистывали пассажирские, прогромыхивали товарные, подлетали запыхавшиеся электрички, из которых могли выйти его дети с его внуками, — но они приезжали только по воскресеньям, и то не всегда.

А он приходил на станцию каждый Божий день, с утра пораньше, через лесок, через овражек, полем до дачного поселка, тихой дремливой улочкой, мимо керосиновой лавки на отшибе, по насыпи вдоль путей — и к платформе.

Было важно.

Было интересно.

Было тревожно всякий раз, как подлетала электричка, и, зашипев, открывались двери.

Было потом грустно.

И вдруг они приехали все вместе, в неурочный почему-то день, оживленные и возбужденные, как заговорщики, весело шли по насыпи, по поселку, овражком и через лесок, и сказали ему после обеда, разомлевшему от сытости и непривычного внимания:

— Ты, папа, поедешь первым...

Он вышел с вокзала на улицу и дошагал тротуаром до перекрестка.

Светофор почему-то не работал, полицейского не было, и на перекрестке варилась каша.

Автомобили поперек грузовиков. Грузовики поперек автобусов. Автобусы поперек всего. Никто никого не пропускал перед собой, и каждый мешал каждому.

Крики. Гудки. Жестикуляция. Игра в истерику.

Он стоял час, не меньше, любопытный старик Бердичевский.

Сначала было интересно. Потом заболела голова. Потом пришла девочка-полицейский, и все сразу утихло.

Напротив, на заправочной станции, стоял мерседес у одной колонки, ослик с канистрами — у другой.

Сухой, усатый таксист-пират с отчаянными хулиганскими глазами заливал мерседес по горлышко.

Юркий мальчишка-араб заправлял ослика.

Восток, — но все-таки Ближний.

Ближний, — и тем не менее Восток...

Возле главной городской синагоги к нему подошел человек с короткими ручками, которого он всегда опасался.

Таинственный и пугающий.

— Бердичевский, — сказал он углом рта, не глядя на собеседника. — Нам нужны люди на местах. Честные и проверенные. Вы нам нужны, Бердичевский. Мы вас назначим ответственным за пенсионеров.

— Не надо, — сказал Бердичевский.

— Надо, — сказал тот.

Был он не дряхлый еще, деловитый и озабоченный, боком подходил на улице, глядел на сторону, говорил быстро: "Готовьтесь. У меня есть план", — и отходил сразу.

— Бердичевский, — сказал он. — Завтра. В восемь тридцать. Выйдете на трибуну и начнете собрание.

— Я не умею, — сказал Бердичевский.

— Чего там уметь? Держите бумагу: тут все написано. Выйдете — прочитаете. "Господа! Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя. Какие будут предложения? Господин Зельцер, пожалуйста".

— А если он не попросит слова?

— Попросит, попросит, — сказал тот. — Он все знает.

— А если он попросит, но не в том месте?

— Как это не в том? У него такая же бумага, будет следить. "Зельцер: Я предлагаю избрать председателем собрания господина Рацера..."

— А если он предложит не Рацера?

— А кого же еще? — тот начинал уже сердиться. — В бумаге написано: "Рацера". Теперь вы, Бердичевский: "Кто за Рацера? Кто против?"

— Я против, — сказал Бердичевский.

— Погодите, я не дочитал. "Кто против? Против — нет. Едино-

гласно. Попрошу господина Рацера занять место председателя".
Вот и все. Дальше я веду сам.

— А я? — спросил Бердичевский.

— Вы идете в зал.

— Я против.

— Вы остаетесь в президиуме...

Бердичевский пошел следом за ним, таясь, в отдалении, как профессиональный сыщик за преступником. Важно было, чтобы тот его не заметил, и Бердичевский старался вовсю.

В магазине, на прилавке, разложены на продажу красавцы-пистолеты, и он уже выбрал себе один, с барабаном и тупоголовыми пулями, — но денег на это не было, и разрешение не получить по старости, да и к чему ему этот пистолет?..

Следить можно и так.

День впереди был большой, незаполненный делами, и надо было растянуть любопытство до вечера.

К вечеру он возвращался непременно домой, садился у окна и наблюдал закат в Иерусалиме.

К вечеру дома стоят за окном — строгие, затихшие, светящиеся изнутри розовым, как застыдившаяся своей красоты невеста перед сватами.

Солнце — огромное! — укатывается за гору, прямо на глазах, и красно полыхает потом горизонт, багрово, слабым под конец румянцем с синевой поверху, пока не просветятся четко, на миг, деревья на верхушках гор, — и подступает вечер.

И зажигаются огни по склонам — подрагивающей россыпью — до утра.

И иногда — рядом они, рукой подать, пододвинулись к твоим глазам, а иногда — далеко, не дотянуться.

Он был голодный на жизнь, старик Бердичевский.

Он пожирал всякий раз этот закат, и этот город, и коричневеющие к вечеру террасы по склонам, и никак не мог наглотаться.

И вечное в душе сожаление: вот он уйдет, а город останется, и розовый отсвет на камне, и горы, и масличные на них деревья, такие старые, такие корявые и плодоносные, как сама эта жизнь, сотворенная где-то тут, поблизости...

— Папа, — сказали дети, — ты поедешь первым...

Было это уже давно, но горечь осталась.

Малая капелька на доньшке, которую надо заедать постоянно разной сладостью жизни.

Пошел. Купил мороженое. Хрустящий рожок, и пара в нем шариков.

Один — ванильный, другой — с орешками.

Сортов было много — не перепробовать, и он всякий раз менял варианты.

Это тоже помогало продлить любопытство, и он старался вовсю.

Хрустел вафлей. Облизывал шарики. Головой крутил по сторонам в поисках интересного.

— Бердичевский, — сказали за спиной. — Дайте лизнуть разок...

Стояла перед ним старая хулиганка Фогель, нарушительница внешних приличий. Голоногая. Патлатая. В шортах. В кудей кофтенке без рукавов. С сигареткой в руке. И ключицы по-цыплячьи — торчком наружу.

— Я вам целое куплю, — предложил галантно.

— Вы брезгуете, Бердичевский?

— Да будет вам...

Стояли. Откусывали по очереди. Оглядывали прохожих.

— Вы слышите чавканье, чмоканье, хрумканье? — сказала старая хулиганка. — Это отъедается интеллигенция. У нас нынче период такой. А когда насытимся, думать начнем, дерзать, великие творить дела.

— А если не начнете? — спросил Бердичевский.

— Станем хрумкать дальше.

И смачно хрустнула вафлей.

— Ешьте, — сказал. — Я больше не хочу.

И она доела.

— Мне бы, Бердичевский, тут родиться... Мне бы детей тут нарожать...

— А где они, ваши дети?

— Тут, — сказала.

И засмеялась.

Старая хулиганка Фогель привезла сюда всех. Маму свою, тетю свою, сына своего с внуками, тещу сына, тещину дочку с детьми, родителей мужа тещиной дочки, еще кого-то, чья связь с нею плохо прослеживалась, — и Бердичевский ей завидовал.

— А я бы... — сказал. — Если бы тут родился, я бы женился на здешней. Такие они спокойные, такие устойчивые...

— Женитесь на мне, Бердичевский.

На это он не ответил.

Медичка Фогель всякого перевидала на своем веку, спирт пила в

морге, возле трупов закусывала и делала теперь вид, будто она опытная.

— Бердичевский, — сказала с вызовом, — вы когда-нибудь подрывали устои?

Подумал:

— Нет, вроде... А вы?

— Я, Бердичевский, подрывала.

— А зачем?

На это она не ответила.

Закурила сигаретку. Затянулась. Дым по-драконьи пустила через нос.

— Бердичевский, — спросила, — на этом свете хоть кто-нибудь наслаждается жизнью?

— Я, — сказал сразу. — Я наслаждаюсь.

— Будто бы...

— Я, — заупрямился. — Разве не видно?

— Грубый вы, Бердичевский. Толстокожий. Неинтеллигентный какой-то.

Обиделся:

— Что же я, тонкостей не ощущаю?

— Ощущаете, — успокоила. — Вы ощущаете. Только не сразу.

Была она резкая. Напряженная. Как перекрученная. И сигаретку кусала безжалостно.

— Расслабьтесь, — приказал. — Распакуйте свои чемоданы. Мы с вами уже приехали. И не ждите. Чего вы ждете? Начинайте уже жить. Это и есть та самая жизнь. Другой не будет.

— Умница, — сказала хулиганка и чмокнула его в щеку. — Я вас люблю, Бердичевский. Пошли Феллини смотреть.

— Когда?

— Да хоть когда...

И пошагала себе.

Сзади посмотришь — девчонка девчонкой.

Спереди посмотришь — лучше не смотреть...

— Чтобы было нам с кем воссоединяться, — сказали дети...

И теперь это надо было заесть.

Стоял. Глядел на угол, где переулок втыкался в улицу. Требовал молча любопытного до крайности.

Проехала в машине Танька Макарон — полный багажник девок, но он ее не заметил.

Шмулик, Танькин мужик, упрямый до крайности, непременно

желает сына, а Танька, будто назло, выстреливает ему одних только девок: знай, мол, нашу бабью сибирскую породу.

Проехала в автобусе Фрида Талалай — с кладбища, от папы Талалай, воспоминаниями застланы глаза, — но он ее не углядел.

Летели мимо стайкой, черными птицами на ветру, часто перебирали ногами, спорили и не замечали никого вокруг, — и Вова-хасид среди них: но он не отличил в толпе.

Парикмахер Сорокер, инженер Макарон, Любочка Усталло — схоронились от глаз в этом городе и не казали себя.

Если город принял тебя, то это уже навечно...

Тут вышел на него от угла кузнечик Фишер.

С кошелкой в руке и букетом под мышкой.

— Тороплюсь, — сказал на ходу. — Миша приходит на побывку. Надо побаловать.

Они жили вдвоем.

Он и Миша-внук.

Когда Миша бывал дома, кузнечик Фишер вздыхал по ночам от счастья, слушая его дыхание из другой комнаты.

Им было хорошо вдвоем, но советов Миша не принимал.

Категорически.

Миша хотел все сам.

Он был уже офицер. Две полоски на погонах. Служил в каких-то частях, о которых не принято расспрашивать. Фишер им гордился.

И Бердичевский погордился немножко за компанию.

— Фишер, — сказал, попадая в шаг. — На вас ермолка.

Это было любопытно и требовало разъяснений.

Фишер застеснялся.

— Тянет, — сознался. — Это, вы знаете, город такой. Не отвертись.

— И не надо, — сказал Бердичевский и отложил в памяти наметившуюся возможность.

Бога не находят и Бога не теряют.

С Богом рождаются...

Автобус разбежался по ровному месту, взобрался, покряхтывая, на гору, и встали дома с арками — длинной чередой вдоль обрывистых холмов.

Шел по дороге маленький мальчик, замечательный ребенок, носом прокладывая себе путь, и тащилась за ним на привязи кудлатая собака — уныло и обреченно.

— Это чья у тебя собака? — спросил Бердичевский.

— Это моя у меня собака, — ответил ребенок независимо.

— А раньше она была чья?

— А раньше она была ничья.

И не поглядел в глаза.

Этот ребенок был знаменит на всю округу.

Его боялись собаки и собаководладельцы.

Он приволакивал домой свирепых кобелей — на цепи. Болонок — на шпагатиках. Щенков — за пазухой. Породистых — с ошейником и шелудивых — с помоек.

Отец отпускал их ночью, на все четыре стороны, а назавтра к вечеру он уже деловито тащил за собой очередную собаку, прятал у дома в кустах.

Он был такой настырный, такой неумолимый — боксеры и овчарки удирали от него, поджав хвосты, а, настигнутые, покорно шли на веревке за двумя ножками-спичками, которые перекусить — одна забава: они мослы бычьи раскусывали, эти собаки.

— Давай я тебе лучше машину подарю, — сказал Бердичевский.
— Заводную.

— С ключиком? — оживился ребенок.

— Нет. С батареейкой.

— С батареейкой не хочу.

— Чего так?

— Батарейка кончится, — объяснил со вздохом, обстоятельно и по-стариковски, — а новую когда еще купят? Не допросишься. Все потом да потом... У меня с батарейками, вон, полно машин, и все не ходят.

— А с ключиком у меня нету, — сказал Бердичевский.

— И у меня, — ответил ребенок и потащил пса дальше.

К собаке и ключика не надо...

Гулял возле их дома всеобщий ненавистник Гурфинкель, искал, к кому бы придраться.

Гурфинкель живет здесь не один уже год и обиды накопил — через край.

Когда приспичит и подопрет под самое горло, специально едет на рынок, где Додик — южный человек, и магазин у Додика — вина-водки, и раскидистое дерево во дворе — все вокруг усыпано крышечками от бутылок.

Стоят под деревом наши люди, откупоривают Додикин товар, разливают на троих — ко всеобщему обалдению непривычного к тому прохожего.

Хоть билетами торгуй на невиданное зрелище.
Русские пришли! Русские пришли!
Пришли и откупорили...
Ненавистник Гурфинкель не пьет под деревом.
Это ему не нужно.
Ему бы испортить народу удовольствие: с этого он пьянеет.
Гурфинкель прикладывает ухо к земле, слушает, говорит потом пакостно:

— Скачут. Конники-буденники. Скоро уже. Тут будут...

Но его никто не трогает.

Тронешь — а он рассыпется...

— Бердичевский, — закричал он и пошел навстречу. — Ваши-то опять обкакались! Что же вы, Бердичевский? Избранный народ — а выиграть в футбол не можете!

Бердичевский обошел его по газону и ушел в подъезд.

Капелька горечи на доньшке, малая капелька, — сесть у окна и заесть немедленно: сладостью увиденного заката.

Дымка туманная, мягкая, нежная, горы укутаны шалью невесомой, — и розовое, трепетное, с невозможными оттенками до бледно-светлого, до бледно-голубого, до никакого... И одинокое облачко над горами, поперек, тушью, как последний штрих Создателя... А там уж темнее, гуще, багровее по кромке, — и луч от фары автомобильной, на горной дороге, всплеснувшийся победно — через темноту и расстояния...

Ночью, на том самом чердаке, он умирал понарошке в своих желаниях, смешной старик Бердичевский, а дети суетились возле его постели.

Подавали чай.

Щупали лоб.

Кормили лекарствами и подкладывали грелку.

А он лежал довольный, счастливый, в центре их внимания, — в первый раз в центре.

— Чего это вдруг? — спрашивал он со вздохом.

— А того это вдруг, — отвечали ему дети.

И умирать уже не хотелось, а хотелось — жить...

Белозубая, круглолицая, с пышным, волнующимся бюстом под расшитой украинской блузкой.

Это случалось всякое утро, в пять часов тридцать семь минут, и часы на подоконнике отзванивали свое.

В пять тридцать семь, без задержки.

Тетя Бася была молодая, звонкая, радостная, в порывистом нерпении: хохотом наполняла дом.

Она очень любила играть в "гляделки", не моргая, глазами в глаза, душу выглядывала до доньшка.

Из-за нее стрелялись. Ссорились. Уходили от жен. Ей была посвящена книга стихов: "Той, в чьих туманах заблудилась моя душа".

Два солдата-сифилитика изнасиловали тетю Басю в подъезде, на заплеванном полу, безжалостно и по всякому, в незабываемом тысяча девятьсот восемнадцатом, и она умерла тут же — от отвращения к жизни.

В пять часов тридцать семь минут утра.

Старая хулиганка Фогель не помнила тетю Басю.

Про Басю много рассказывала ей мама, просила поминать и дальше, когда ее, мамы, уже не будет: Бася того стоила.

— В следующей жизни, — сказала Бася перед смертью, — я буду радугой.

— Почему радугой?

— Радугой — и все. Радуга при любых сволочах — радуга.

И ушла...

В шесть часов семнадцать минут звонил будильник на полке.

В шесть часов семнадцать минут уходил двоюродный брат Зяма.

Этот был ученый. Мудрец-математик. Сообразительный скородум.

Времени было немного, чтобы помянуть Зяму, потому что в шесть двадцать одну подавали свой знак бронзовые часы-безделушка, и старая хулиганка Фогель торопилась вовсю, чтобы успеть к следующему поминанию.

Обернешься назад — одни пеньки.

Это он сказал однажды, ведущий теоретик Зяма:

— Мы тут, а наша земля там.

А больше ничего не добавил.

По тем временам это было смело. Глупо. Странно и непонятно.

Какая земля? Где? Для кого? Что ты мелешь?..

Он работал на космос, этот Зяма, был перезасекречен и облас-

кан, и заработал инсульт в молодые годы, от перенапряжения, на срочных ночных авралах, за которые хорошо платили.

Был он потом парализованный, жил как не жил, долежался до пролежней и сказал однажды с удивлением:

— За всю жизнь, — сказал он, — я не посадил ни одного дерева. Только бумаги перевел — без счета...

Старая хулиганка Фогель была тогда молодой и подолгу разглядывала одряхлевшего Зяму.

Старики ее интересовали.

Старики ее беспокоили.

В стариках она искала себя, будущую.

— Но я экономил, — сказал Зямя. — Я экономил бумагу. Я писал на обороте черновиков. Одно дерево я, наверняка, сэкономил.

Или два. Это все равно: посадить новое дерево или сэкономить старое. Да, да, — настаивал без уверенности. — Все равно...

Дождичек покапал напоследок на мертвое лицо.

Факелом взметнулась сирень у забора.

На мраморной черной глыбище по соседству выбито было понижу клеймо мастерской: "Кабановъ, на Мясницкой".

Соскоблили — не иначе — старую надпись, переделали в который уж раз под нового владельца.

На мраморе было написано — утешением? — "Вечно не живут"...

В шесть двадцать одну отстукивали молоточки по бронзовой наковаленке, и старая хулиганка Фогель начинала плакать.

— Чего ты опять плачешь? — удивлялась всякий раз ее мама.

И она не могла объяснить.

В шесть двадцать одну уходила любимая ее подруга Вера, как сердце рвала надвое, и удержаться не было сил.

Вера прибежала в потемках, под утро, когда соседи еще спали, шушукнулась в коридоре, поцеловала вскользь и убежала суетливо, чтобы больше уже не возвращаться, — в шесть двадцать одну.

Не звонила, не провожала, сюда не писала, — а что?

У Веры муж. Дети. Зять в руководстве. Ей — оставаться.

Старая хулиганка Фогель плакала от злости: за дружбу свою, вывернутую наизнанку, за Веру — любимую подругу, за поцелуй вскользь, в коридоре, за саму себя, идиотку, что понимала Веру и оправдывала.

Может, и она бы не пришла провожать?..

Вера была нежная, ласковая, с плавными текучими движениями,

как речка, прогретая на плесе, и ее любили серьезные, уважающие себя мужчины, потому что Вере можно было довериться.

До шести часов двадцати одной минуты по московскому времени...

Потом была пауза. До одиннадцати сорока пяти.

Будильники не будили и кукушки не куковали.

Встать. Попить кофейку. Натянуть шорты с кофтенкой. Сбежать в магазин, на почту, в банк и вернуться ко времени.

В одиннадцать сорок пять уходил родной брат Гриша, и надо было при этом присутствовать...

Ненавистник Гурфинкель сидел у окна и выглядывал на улице знакомых.

— Ваши-то! — закричал радостно. — Опять обделались! Вот вам американцы чего дадут! Сдохнете, Фогель, без помощи, и все ваши сионисты сдохнут!..

— Гурфинкель, — сказала она на ходу. — Вам же ответ скоро держать, Гурфинкель. Экий вы пакостник.

И он захохотал: громко, мерзко и польщенно.

— Запасайте крупу, Фогель! Мыло со спичками! Скоро война будет!..

Утро было притихшее. День подступал жаркий. По солнцу уже не стоило ходить, но Фогель предпочитала солнце.

Шел той же дорогой кузнечик Фишер, катил за собой сумку на колесиках.

— Мишу, — сказал. — Подкормить. Завтра ему с утра — на базу.

Для него это было привычно — подкармливать Мишу.

Он ездил когда-то к Мише, на родительский день, пихал в него сытную домашнюю птицу, а по садику бегала грозная директриса Берта Моисеевна и кричала зычно, тряся подбородками:

— Перекормите — выпишу!

Здесь он тоже ездил к Мише, на базу, в самом начале его службы, и умилялся на ряды машин возле ворот, на расстеленные на травке подстилки, и на груды домашней еды, которую родители скармливали детям.

А те ели без остановки и остатки уволакивали в палатки: дети с винтовками...

Папа у Миши заскучал очень быстро, через пару каких-то лет.

По делам грандиозным. По пространствам немерянным. По жизни удивительной, не чете здешней.

Ныл. Придирался. Цеплялся ко всем. Исподволь выстраивал стройную систему объяснения и оправдания.

— Чего ты скулишь? — говорил ему кузнечик Фишер. — Ты же свободный теперь человек. Тебе не надо никого ругать и ничего не надо оправдывать. Бери билет и уезжай. Вот мой тебе совет.

— Молчи, — сердился он. — Что ты лезешь со своими советами? Советы дает адвокат. И то за деньги.

Папа уехал. Мама уехала. А Миша остался. И кузнечик Фишер тоже.

Кто-то же должен кормить ребенка, когда он возвращается с войны...

— Фишер, — сказала ему Фогель. — Вам идет ермолка.

И он застеснялся.

— Меня спрашивают, — сказал. — Ты зачем надел? А я и не знаю, как объяснить.

— Не надо объяснять, Фишер. Лишнее это дело. Умный не спросит, а глупый не поймет.

На лестнице, что вела к магазину, стояли двое — Зельцер и Рацер — и шепотом делили будущие должности.

— Вы нам нужны, Зельцер, — говорил Рацер, глядя на сторону. — Мы вас делегируем на всеизраильский съезд. Мы вас кооптируем в президиум. На вас будет культсектор, Зельцер, и контакты с прессой.

— Рацер, — говорил на это Зельцер и пихался пузом. — Я вам не мальчик, Рацер. Я буду заместителем, Рацер, или никем.

— Никем, — соглашался Рацер. — Тогда никем.

Старая хулиганка Фогель не могла себе отказать.

— Вы тут стоите, — сказала она ехидно, — а Штуцер уже сколачивает актив.

— Штуцер!.. — ахнули хором. — Он же не кооптирован! Он же не делегирован!..

И побежали куда-то...

В магазине она начала сердиться.

Всякий раз она сердилась в магазинах — на здешнее изобилие, на тамошнюю скудость, на тутошних жителей, что равнодушно пихают в тележки расфасованные соблазны, и на подругу свою Веру, которая поцеловала ее вскользь, на бедную свою подругу, которой и одним глазком не углядеть всей этой раздражающей прелести.

За прилавком сыры-маслины-селедки стояла знакомая ей девоч-

ка. Девочка говорила по-русски, и Фогель в этом углу отводила душу.

— Как у вас насчет дефицита? — спросила шутейно. — Из-под прилавка?

— Из-под чего? — переспросила девочка.

— Из-под прилавка.

— А что это такое?

Старая хулиганка Фогель рассердилась.

Она не любила притворяшек.

— Объясняю, — сказала скрипуче. — Популярно. Есть прилавков.

На нем лежит товар. Так?

— Так, — сказала девочка.

— Есть место под прилавком. Там лежит другой товар.

— Какой другой?

— Которого нет на прилавке.

— А почему его нет? — удивилась девочка. — Выложите — он и будет.

— Его нельзя выложить, — сказала Фогель. — Он — дефицит. Он не для всякого.

Девочка подумала:

— Почему не для всякого?

— Потому что его мало, — объяснила Фогель. — Потому что он по знакомству.

— Бесплатно? — спрашивает.

— За деньги.

— За такие же?

— Когда как. Дефицит обычно лучшего качества.

— Лучшего качества кладут под прилавков?

— Да! — закричала Фогель.

— А худшего — на прилавков?

— Да, да!! И не делай вид, что ты не помнишь!..

— Я не помню, — сказала девочка. — Меня привезли сюда ребенком.

И Фогель заверещала от восторга, на весь магазин.

Она хулиганка, ей можно...

Еще со двора она услышала залиvistый звон электрического будильника и поскакала через две ступеньки — по-девчоночьи, вприпрыжку, чтобы поспеть к брату Грише.

Будильник стоял на полу, возле кровати, и орал во всю глотку.

Было на нем — одиннадцать тридцать.

— Рыжий! — сказала. — Опять переставил?

Сунулась из-под одеяла опухшая щека.

Редкие, небритые перья, как у плохо ощипанного гуся.

Веко приподнялось тяжелое.

— Ладно, — сказал. — Завтра помянешь.

У Рыжего есть ключ. Рыжий приходит к ней кой-когда. То вечером, а то и полночь. Утром проснешься, а он тут.

Ей это нравилось.

— Смотри, — сказала. — Царствие небесное проспишь.

Сел. На полкомнаты вытянул ноги.

— Старая, — сказал. — Не надо только парить.

На столе стоял древний патефон, обтянутый клеенкой, с продранными углами, с выдвигаемыми коробочками для иголок, с ручкой для завода, с пластинкой на нем — пыльной и затертой.

— Патефон... — по-детски удивилась Фогель. — Ты смотри! Где взял?

— Купил, — сказал коротко.

— А пластинку?

— С пластинкой.

“Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня...”

Сип стоял — не разберешь, но они слушали.

— А на обороте чего? — спросила Фогель.

— Не знаю, — сказал лениво. — Не переворачивал.

Рыжий ничего в жизни не делает после армии.

Рыжему лень.

Когда совсем уж обезденежеет, и нету у него на пиво и на кино, идет в “Хилтон”, надевает форменную тужурку и развозит по номерам еду. Здание большое, этажей — пропасть: пока едет в лифте, булочку съест, яблочко сгрызет, пирожок сглотнет — от ихнего избытия. “Ну, — спрашивает Фогель всякий раз, — чего ел?” И он рассказывает. И кого видит в номерах, каких богачей-капиталистов, и их капризы, и их наряды, и про чаевые в долларах, и еще про немца-чудодея-кондитера, что привечает Рыжего и дает ему доедать вернувшиеся порушенные торты с кремом. А Фогель слушает его и завидует в открытую.

— Шел бы ты учиться, Рыжий, — советует временами.

— На кой? — говорит он.

— Не знаю. Все учатся.

— А я не буду.

— Да кто ты есть-то?

— Рабочий.

— Рабочий?! Рабочий на заводе, а ты — прими-подай.

— Старая, — говорит он на это, — у нас свобода. Я ее реализую, ясно тебе? Я, может, в наемники пойду. Или голодных спасать. Или в джунгли уеду. Мир большой, старая, я еще не решил.

И опять она ему завидует.

Но уже кончался завод, замедлялось движение, и женский голос густел, басил, тягуче выползал наружу из патефонных внутренностей: “бес-по-кой-нааа-ая...”

— О! — сказала. — Одиннадцать сорок пять.

И они задумались.

В одиннадцать сорок пять уходил брат ее Гриша, дедушка Рыжего, которого он никогда не видел, и помянуть его требовалось непременно.

Брат Гриша был полон всякими идеями, которые он расписывал бесплатно и каждому.

Когда он видел что-то, что можно было улучшить, в его голове начинал тюкать молоточек, и тюкал до тех пор, пока Гриша не находил решение.

Такие молоточки тюкали, наверно, в голове у Эдисона и у других сумасшедших изобретателей.

Все проходили мимо, ничего не замечая, — или делали вид, что не замечали, — один Гриша вставал столбом, как пес на стойке, при виде того, что можно улучшить.

Это могла быть вилка с пружинкой, чтобы, не трогая руками, сбрасывать на тарелку наколотые котлеты. Это могла быть лишняя дверь в магазине, которую следовало прорубить, чтобы не тискались на входе-выходе. Это могла быть реформа в области правописания: все частицы “не” писать слитно со словом, и тогда не будет многих ошибок.

Углядев однажды вечную очередь в ломбард, Гриша написал письмо в министерство, чтобы не поленились — пристроили к очереди музей мировой культуры, дабы народ зря не стоял, а по мере движения мимо экспонатов овладевал знаниями.

Это были времена, когда шуток не понимали, но Грише сходило с рук.

До поры до времени.

Кончилось тем, что он обратил внимание на всю жизнь в целом

и увидел, что ее можно улучшить. В его голове тут же затюкал молоточек и тюкал подряд несколько месяцев, не давая ему жить.

И Гриша придумал, наконец, каким способом улучшить всю эту жизнь, что надо сделать, чтобы еще сегодня к вечеру построить светлое завтра.

Он понимал, что не надо соваться с предложениями, особенно туда, где сами все знают, но молоточек тюкал, не переставая, — и он посоветовал.

За ним сразу приехали, его увезли — в одиннадцать сорок пять, держали потом в камере, водили на беседы, записывали всякое слово, — а вдруг, и правда, придумал, вредитель, как жизнь улучшить! — а потом убили...

— Старая...

— Ну?

— Ты, говорят, все знаешь?

— Что надо — знаю, — сказала Фогель.

— Тогда скажи, — спросил Рыжий, — когда подлость началась, когда кончится?

Она и не удивилась:

— Подлость — она в нас. С нами началась, с нами и кончится.

— В нас — пускай, — согласился Рыжий. — Я свою подлость при себе держу. А как с чужой быть?

Взглянула на него:

— Чего хочешь?

— Хочу знать, — сказал твердо. — Ты. Лично. Прощаешь ту жизнь? Дед бы теперь простил?

— Твой дед, — сказала, — не судья. Он не прощал и он не казнил. Придумывал только, чтобы лучше было.

— Добренькие... — потянул Рыжий углом рта. — Сладенькие... Суки!

И ногой долбанул по столу.

Старенький патефон тяжело подпрыгнул и с жалобным пружинным звоном брякнулся об пол.

— Ты чего?! — заорала Фогель. — Дура бешеная!..

— А ничего! — в ответ заорал Рыжий. — Мой патефон! Что хочу, то и делаю!..

Помолчали.

Поотдувались.

Потом он присел на корточки, завертел ручку, ткнул иголку в

середину пластинки, и женский голос заверещал на всю комнату: “беспокойная я, успокой ты меня...”

— Ишь ты, — удивилась Фогель. — Поет.

— Она у меня привычная, — скупой улыбнулся Рыжий...

В пять часов ровно гулко забили настенные часы с маятником, и под их торжественный перезвон пошагала нескончаемая процессия родственников, в наскоро открытые траншеи, с солдатами по бокам и полицаями, и сестры ее — Нюся, Клара и Берта — наседками — впереди всех.

— Когда вместе, — говаривала бывало Нюся, раздумываясь у примуса, — это не так страшно. Всем сразу погибать — и плакать некому. Такую награду надо еще заслужить.

Они ушли в траншею, все до единого, землю прикрывшие — в награду — от нового ужаса, а Фогель осталась плакать за всех, и выбрала сама это время — пять часов ровно — для вечного поминания. Когда солнце уже к закату. И день на ущербе. И надежд не так много...

К вечеру она побежала в тот самый подъезд, зашла в тот самый лифт и с трудом, на цыпочках, дотянулась до последней кнопки.

— Вниз расту, — огорчилась. — Скоро не достать...

Она ходила по чердаку желаний — гордо, спокойно, уверенно, и на груди у нее висела чугунная табличка, похожая на те, что вешают на разные дома-памятники, — “Охраняется государством”. И еще что-то — буквами помельче.

— Эй, — сказали ей от угла. — Чего там хоть понаписано?

— Обижать, портить и уничтожать запрещается, — с готовностью сообщила Фогель. — Нарушение карается по закону. Мало ли что? Пусть будет на всякий случай. Умному намек, дураку — кулак.

— Вечно вы, евреи, выдрючиваетесь, — сказали с презрением. — Вы больные. Вы параноики. Вы травмированы, евреи, этой катастрофой и не можете никак вылечиться.

— Мы не больные, — ответила Фогель. — Мы опытные. Нас уже уничтожали в этом веке.

И поправила на груди табличку.

И погуляла по чердаку еще немножко.

— Знаете что, — сказала потом. — Повесьте и вы на себя. Пусть будет у каждого. Я не против... Уничтожать запрещается.

Она бежала по улице, старая, голоногая, в куцей кофтенке и с сигареткой, чтобы поспеть к очередному будильнику, а редкие прохожие глядели ей вослед.

В семь часов сорок девять минут, под вечер, уходил муж ее Павлик, и к этому надо было успеть.

В окне, на третьем этаже, сидел замороженный старик Бердичевский и неотрывно смотрел на закат.

Тяжелое, черное облако пологом накрывало мир, и в его рваном прогале буйствовало на глазах красное, кровавое, страшное, невыпеснувшейся пока что лавой.

А правее — севернее — небо растеклось над горою до бледноты размытой синькой, и вкрапленные алмазы по склону подрагивали от прогретой за день земли.

— Бердичевский, — горестно сказала старая хулиганка Фогель, запрокинув к нему голову, — я разучилась радоваться чужим успехам. Что теперь будет, Бердичевский?..

5

Они ушли от нас в третьем часу ночи, близкие друзья мои, разные друзья мои, всякие друзья мои, а под утро — шести еще не было — опять поскреблись в дверь.

Последнее утро.

Торопливые — не удержишь — минуты.

Мы одевались, умывались, ели на кухне, а они стояли вокруг и смотрели. Пристально и тревожно. И говорили порой ненужное и бессвязное. И давали советы, которые невозможно выполнить. И мешались в тесных проходах, запоминая напоследок.

А потом понесли вещи.

А потом побежали дети.

Провожающие столпились на улице, как при выносе гроба.

А потом и мы прошли по прибранному, опустевшим комнатам, постояли, попрощались взглядом, и я потушил всюду свет.

Прошлое погасло насовсем.

Прошлое — мрак.

Но остались во мраке островки света — любимые места мои. Могилы дорогие, бульвары перехоженные, дома памятные, комнаты, книги, вещи и лица, обтроганные руками, глазами, чувствами.

Все осталось — не заберешь с собой.

Все мое — не отнимешь...

С трапа самолета оглядел поле, лесок, заплаканные под дождем окрестности — и шагнул в расставание.

Жизнь наша — тоска по оставляемому. Вся наша жизнь...

Ностальгия заранее. Ностальгия от рождения. Ностальгия всегда. По дню ушедшему. По солнцу закатившемуся. По весне отцветшей. По траве усохшей. По грозе отгремевшей. По улице пройденной. По другу несостоявшемуся. По молодости своей. По любви.

Тоска по ностальгии?..

Это годы мои — не вычеркнете.

Это дни мои — не отнимите.

Улица моя. Лес мой. Друзья мои. Жизнь моя. Другой ведь не будет.

Я прожил его, это прощание, я получил от него наслаждение и радость, горечь и тоску.

И это надо понять.

Это надо принять.

И захлебнуться полным глотком печали...

На площади, перед супермаркетом, напрыгнул на меня старый еврей, которого я никогда прежде не видел.

Напрыгнул — и сразу в рыдания.

— Запишите мой телефон! И немедленно!

Я записал.

Были у него всклокоченные волосы и тоской налитые глаза.

— И чтобы позвонили! — приказал он.

— Хорошо.

— Все говорят — хорошо! — взвизгнул старик. — Но никто не звонит! Никто!.. Там, в Киеве, у меня не было телефона. "Когда же тебе его поставят?" — кричали они... А теперь есть телефон — и ничего...

Был он как открытый нерв. Такого хоть ударь, хоть погладь — одна боль.

— Может, номера вашего не знают? — осторожно спросил я.

— Знают! Я всем давал. А он стоит, проклятый, и молчит весь вечер.

— А вы сами звоните, — посоветовал я. — Не ждите, пока другие соберутся.

— Нет! — взвизгнул. — Пока его не было, я звонил. Я всем звонил. А теперь хочу, чтобы мне!

"Господи! — простонал я в душе. — Не приведи так состариться, Господи!"

— Я позвоню, — сказал я.

И не позвонил...

Вот ты выходишь однажды на улицу, — а на улице сушь, зной, пламень небес, — канатом тянет назад, в ухоженную для тебя привычность, но ты — через силу — первый ступаешь шаг, за уши тащишь себя, силком и за уши — чтобы не передумать.

Еще можно вернуться назад, восстановить нарушенное, связать разорванное, но путь затягивает; но движение затягивает, но жизнь утягивает, — жалко пройденного, продуманного, жалко написанного.

Ты идешь дальше и пугаешься неузнавания, вида, облика, цвета, вкуса пищи: переперчено вокруг, перегрето, перешумлено и перемусорено, пережестикულიровано и недодумано.

Но ты уже окончательно потерялся в неизвестном, и теперь тебе значительно легче...

— Показать вам дорогу?

— Покажите.

И кузнечик Фишер пошел рядом.

— Что бы я делал?! — подскуливал он. — Ах, что бы я тут делал!.. Я бы ходил по улицам и показывал людям дорогу. Ой, это же так приятно! Ведь они же не знают, как пройти и куда. Особенно в новых районах... "Скажите, как пройти...?" "Прямо и налево". "Скажите, как проехать...?" "На семнадцатом, потом на тридцать первом..."

— Фишер, — сказал я, — так в чем же дело?

— Погодите, — ответил. — Дайте взобраться на чердак.

Лифт почему-то не работал, и мы пошли пешком.

Внизу остались те, у кого были еще желания, но не было сил взобраться по лестнице.

Кто-то застрял в лифте, по пути на чердак, и умолял оттуда, упрасивал, скребся ногтями и колотил ногой.

— Зельцер?! — говорил задавленно. — Это ваши происки? Откройте, немедленно, Зельцер, я сделаю вас заместителем.

По чердаку вышагивал пузатый Зельцер — важный и значительный, словно вел за собою потрясенные народы.

Теперь уже он был председателем всех комитетов, какие можно только выдумать, а Рацер сидел в лифте и был, конечно, не в счет.

Он ходил по чердаку, председатель Зельцер, с магнитофоном в руке и включал его всякий раз на свои слова, чтобы не упустить ненароком стоящую идею, которая тут же овладеет массами. На чужие слова он его выключал — экономил ленту.

— Зельцер, — сказал ему Фишер. — Там внизу люди. Пустите уже лифт, если вы такой председатель.

— Не нужно им лифта, — отвечал Зельцер. — Пусть подождут немного. Мы им такую жизнь сделаем на земле — и чердак не требуется.

— Так у них же нет времени ждать, Зельцер!

На это он уже не ответил.

— Увековечьте меня, — сказал важно. — И немедленно. В прозе. В стихах. В монументах. Такое у меня есть желание.

И его тут же увековечили...

Ходил кругами возле пограничного столба хилый старик в тулупе и для остротки стрелял в воздух.

Возле него — с этой стороны — прыгал на пыльном полу всеобщий ненавистник Гурфинкель и пускал на ту сторону бумажные самолетики.

Этот пускал, а тот их сбивал из берданки.

Влет. Крупной дробью. Только бумаги ключьями.

— Гурфинкель, что вы тут делаете?

— Просьба, — говорил Гурфинкель под каждый прыжок. — Самолетик-заявление. Чтобы назад впустили. Такое у меня неременное желание.

И пускал очередной самолетик.

— Ничего не знаю, — отвечал старик в тулупе. — У других тоже могут быть желания. Не хуже ваших.

И снова пулял из берданки.

— Пустите его, — сказал я. — Пусть лучше оттуда ненавидит. Все подальше.

— Не пускайте, — сказали с той стороны. — Незачем.

Глядел оттуда, сощурившись, вернувшийся представитель выехавшей народности, губу кусал в раздражении.

— Есть у меня такое желание, — говорил с обидой. — Чтобы вас не было, и земли той не было, и страны не было, и памяти даже не было...

— Вам-то чего? Вы же вернулись.

Подумал:

— А чтобы не напоминало.

И Гурфинкель пошлепал восвояси, ненавидя теперь уже и тех, и этих.

— Ваши-то! — крикнул издалека. — Снова обгадились!.. Кипучие, могучие, — а народ накормить не можете!..

И опять меня потянуло в глубины чердака: не остановиться и не остановиться.

— Пройти можно?

— Пройти нельзя, — ответил старик с берданкой.

— Да свой я, свой!

— Свой-то свой, а пугнуть все равно надо.

— На, пугай!

— На кой мне тебя пугать? Пристрелить легче.

— В желаниях-то?

— А хоть бы и в желаниях. Я выехал по принципиальным соображениям. Чтобы было кому надзирать и спасать от уклонений.

— Я знаю, кто вы. Вы — пришелец!

Потупился:

— Не исключено. Пришелец с той стороны.

— Мы все пришельцы, — сказал Фишер из своего закутка. — Как нас только местные терпят?

— На нас долг, — ответил пришелец с берданкой. — Внести единомыслие в здешнее безобразие.

И пулынул по своим.

И тогда я побежал, петляя, через границу, в глубины чердака, а в спину ухали выстрелы, дробь скакала по полу, вернувшийся представитель выехавшей народности ретиво гнался по пятам, чтобы поймать и не допустить, — но я убежал, и я добежал туда, где столик раздвижной, и короб на нем, и заждавшийся Абарбарчук со своей недоходной коммерцией: терпеливый и покладистый.

— Что у вас есть?!

— Все у нас есть, — ответил он. — Эмоции выехавшей народности. Что вы желаете?

— Радости! — крикнул я. — И побольше!

Руку сунул в короб, порылся:

— Радости не советую. Ничего особенного.

— Тогда удовольствие!

Вздохнул:

— Удовольствие — так себе. Второго сорта.

— Чувство удовлетворенной мести. И побыстрее!

— Не смешите меня, — сказал Абарбарчук. — Откуда? Возьмите лучше сочувствие. Это есть. К кому хочешь.

— Не надо, — говорю. — У самого полно.

— Что же вам предложить? — задумался. — Отчаяние, страх, тре-

вога — в неограниченном количестве. Скорбь, печаль, жалость — поштучно и на вес.

- Ужас есть?
- Ужас есть. Но не советую. Ужас как ужас.
- Уныние?
- Со скидкой.
- Ярость?
- Подержанная.
- Отвращение?
- Бывшее в употреблении.
- Что же вы? — говорю. — Такая нация, а не накопили?
- Накопили, — говорит он. — Еще сколько! Да все перемешано.

Ликование с оттенком сожаления. Гордость с капелькой сомнения. Восторг со стыдом. Блаженство с раскаянием. Предвкушение с нетерпением.

— А это у вас что? — говорю. — В коробке. Перевязано ленточкой.

— Это, — говорит, — нейтральные эмоции. Подарочный набор. Любопытство. Удивление. Безразличие. Спокойно созерцательное настроение.

— Что же вы молчите! — закричал я. — Этого мне! И побольше! Спокойно созерцательного!!

И я взял. И прижал к груди. И пошел дальше. И встал у окна — лбом в пыльное стекло.

Безразличный.

Спокойно созерцательный.

Просто любопытный.

На чердаке — оно можно...

6

Он сидел на стуле возле окна, любопытный старик Бердичевский, и глядел на просыпающиеся горы.

Они проявлялись нехотя и с трудом, укутанные по макушки пуховой пеленой тумана, который медленно сползал в низины, и открывались, наконец, притихшие, заспанные и прекрасные.

Туманы по утрам напоминали ему снежные поля без конца-края, целиной нетронутой, по которым пробежит вот-вот олень в упряжке, или волки цепочкой, след в след, или он сам — одиноким лыжником через увалы.

А потом снег оседал и таял — без следа и без звука, и оставались одни только горы, вечные горы, как вечно море, как вечно небо, как вечны эти закаты и эти рассветы.

Вот тут-то, у окна, он и понял однажды того, кто приказал высечь море. Такое оно вечное, это море, такие они всегдашние, эти горы, что нам с нашей кучей, обгрызанной жизнью только сечь их да сечь...

Вылез из-под дивана пятнистый взъерошенный шерстяной клубок, потерся об его ногу, показал в зевке нежно-розовое небо, отозвался благосклонно на русское "кис-кис".

И за то спасибо.

Приходишь домой, открываешь дверь, а он катится по полу — встречает.

Как-никак, существо, живая душа в доме.

— Папа, ты поедешь первым...

Как заноза, которую не подцепить...

Котенка подкинула ему соседка по этажу, молодая, свободная и неунывная, обвешанная ухажерами, как браслетами.

— Мотек, — сказала. — Сладкий ты мой! Меня увозят в Эйлат, мотек, — и не скажу кто. Возьми моего котенка, мотек, покорми его, поухаживай, — я тебя люблю.

И пошагала по двору: длинноногая и соблазнительная.

У нее узкие бедра, у соседки, тонкие руки, вечная сигаретка в длинных, цеплючих пальцах, джинсы невозможной ужины и легонькая блузка с таким немислимым вырезом, который вызывал сомнение в необходимости самой блузки.

Старик Бердичевский любил смотреть фигурное катание.

И гимнастику с плаванием тоже.

Он был вдов давно уже и не обласкан, но интереса к жизни не потерял, и голоногие девочки были ему по нраву.

И неприкрытые соседкины прелести — тоже.

— Ты почему не говоришь по-русски? — спросил ее однажды.

— Мотек, — ответила. — Сладкий ты мой! Я знаю шесть языков, — куда больше? Что бы и тебе узнать еще хоть один?

И устыдила Бердичевского.

Щурилась на нее толстуха у подъезда, переливчатая, коричневая, шуршащая, барабаном обтянутая, как жужелица со сложенными крыльями, и прыгала у скамейки девочка, в трусах и маечке.

— Ты почему майку не снимаешь? — поинтересовалась соседка на ходу.

— Я уже большая, — сказала девочка. — Мне нельзя без майки.

— Мне тоже, — сказала соседка. — А в Эйлате можно.
И засмеялась.

Она работала в какой-то конторе, где подсобляли малыми суммами приезжим работникам нездешних искусств, пила кофе, говорила по телефону, и, наглядевшись за день на неизвестных до того знаменитостей, спрашивала его вечерами:

— Мотек, — говорила она, — что это вы все — лауреаты, чемпионы, герои и профессоры? А простые люди из России не приезжают?

— Погляди на меня, — сказал ей Бердичевский. — Я ноль. Я ничто. Может, один только я из всех приехавших.

И она поцеловала его — бурно и с задержкой, до головокружения и ночных несбыточных грез.

— Когда позволяла фигура, — грустно и по-русски сообщила жу-желица у подъезда, — не позволяли средства. А теперь средства есть, но фигуры нет...

Была суббота.

Святой день.

Автобусы не ходили и поезда тоже.

В город не поедешь и на платформе не посидишь.

Бердичевский вышел из дома в новый, незаполненный пока день.

Вот ты достиг, наконец, такого состояния, когда перестало тебя тревожить наступающее утро.

Впервые вышел из нищего достатка, когда вечно чего-то не хватает.

Ничего теперь нет, и ничего больше не потребуется.

Может, это и есть навечно теперь обеспеченная старость?..

Нарядные жены катили коляски к синагогам, где молились нарядные их мужья.

Собиралась за город серьезная компания, загружала в машины провизию, как на длительную экспедицию в район Северного полюса.

Всеобщий ненавистник Гурфинкель сидел возле раскрытого окна и смотрел советское телевидение.

На полную громкость.

На крыше стояла тарелка. В небе крутился спутник. Тарелка ловила его сигналы и ублажала Гурфинкеля статьями нового государственного бюджета Советского Союза. Сколько на оборону, сколько на промышленность и сельское хозяйство, сколько кому и на что — и всего сколько. А Гурфинкель сопел себе за столом,

складывал в столбик, на бумажке, все эти цифры, общий подводил итог.

— Гурфинкель, вы чего?

Посмотрел невидяще на Бердичевского, сощурил глаз, сказал с подозрением:

— А где еще двенадцать миллиардов?

— У нас плановое хозяйство, — ответил на это диктор. — Все продумано, все сосчитано, точный во всем баланс.

— Обман, — горестно простонал Гурфинкель. — Всюду обман...

О Господи! Хоть бы перед смертью научиться не стесняться за других...

Шла по улице собака, лохматая и печальная, туго замотанная в ржавую колючую проволоку.

Где-то, видно, залезла по оплошке, а проволока вцепилась в шерсть, обкрутила шею и ноги, и собака жила теперь так, без надежды на освобождение.

Бердичевский колыхнулся от жалости и пошел следом — распутать.

А собака — от него.

Вышла из-под арки старая хулиганка Фогель, как дожидалась в укрытии, и присоединилась к нему, шаг в шаг.

Собака уходила от домов, в камни, за оливковые деревья, и они шагали следом, дружно, молча, не отставая.

Колючки цеплялись за голые ее ноги, но Фогель терпела.

Тут собака остановилась. Повернулась к ним. Показала клыки.

Эти двое ей не нравились.

Своей настырностью.

— Дура, — сказала Фогель. — Мы же тебя распутать хотим.

Собака зарычала.

— Она вас не понимает, — сказал Бердичевский. — С ней надо на иврите.

— А вы можете?

— Я попробую.

И сказал пару слов.

Собака зарычала еще громче.

— Бердичевский, — сказала Фогель, — вы когда-нибудь закрывали амбразуры?

— Нет.

— Вот вам шанс, Бердичевский.

Солнце припекало уже ощутимо, и хотелось уйти в тень.

Но собака стояла, и они стояли. Она оглядывала их без особой симпатии да подпугивала то и дело, поднимая губу.

— Интересно, — сказал Бердичевский. — Оказывается, можно жить и в проволоке. Как в ходячей тюрьме.

— А то вы не жили, — сказала Фогель. — Мы сумасшедшие, Бердичевский. Весь век мы живем в тюрьме и не хотим, чтобы нас распутали.

— Я распутался, — сказал он.

— Да? — сказала она.

Это его задело.

— Вы получили свободу? — спросил. — Да или нет?

— Ну получила.

— Воспользовались?

Подумала:

— Ладно... Чего там? Я зато в Париже была.

Еще постояли. Еще посмотрели.

— Взрослому многое разрешается в жизни, — вслух подумала старая хулиганка. — Взрослого заваливают грузом обязанностей. Так пусть хоть дети делают, что хотят. Пусть они ощутят хоть на время клоунское состояние упоительной свободы.

И поглядела на него со смыслом:

— Дети... И старики — напоследок.

Шел по камням маленький мальчик, удивительный ребенок, неумолимый и бесстрашный, носом нацеливался беспощадно.

Собака зарычала. Осела на задние лапы. Показала страшные свои клыки.

И тут они увидели чудо.

Мальчик пошел прямо на собаку и положил в ее разинутую пасть крохотную свою ладошку, тонкие, прозрачные пальчики.

Прихватила клыками. Помяла. Придавила с горловым клекотом. Голову опустила — сдалась. И поджала хвост.

— Вы опоздали, Бердичевский, — сказала старая хулиганка Фогель. — Амбразура уже занята.

Дальше было просто.

Собака послушно поднимала ноги, вертела головой, хвостом — помогала.

Распутали в момент.

— Это ничья собака, — сообщил между прочим ребенок и повел ее за собой.

— Я тоже ничья, Бердичевский, — сообщила Фогель, и они зашагали следом.

Приключение было непредвиденным заранее и оттого особенно приятным.

— Бердичевский, — говорила Фогель, прыгая по камням. — Я вам насолю грибов с капустой. Намариную огурцов с помидорами. Напеку пирогов — с рисом, с яйцами. Водочка будет, настоенная на травках. Сядете за стол, Бердичевский, станете наворачивать за обе щеки. Хохотать. Ногами топтать от удовольствия. Еда повалится изо рта. Чем плохо?

— Разве что... — засомневался. — А вы умеете?

— Обижаете, хозяин... А наутро — откроете холодильник, нальете пивка в стакан: буль-буль — райская музыка! Первый глоток — наслаждение...

— Фогель, — спросил подозрительно, — вы пьете по утрам пиво?

— Поживите с мое, Бердичевский.

И пошагала себе под арку.

На лице у нее были конопушки.

На носу.

На руках и на ногах — тоже...

“Нет ничего более цельного в мире, чем разбитое еврейское сердце”.

Кто это сказал?

А вам-то что?

Кому надо, тот и сказал...

7

Миша уходил под утро.

Пяти еще не было.

Попутками — и на север.

Темень. Туман клочьями. Сырость с ветрами. Погода распоганилась: глаз не разлепить и одеяло не откинуть.

Встал.

Разогрел еду.

Сварил кофе.

Разбудил Мишу — а как не хотелось!

Тот одевался, шнуровал ботинки, укладывал мешок — с закрытыми глазами, пухлыми губами, слабой, блуждающей улыбкой, как спал еще под одеялом и сны легкие досматривал.

Живет в квартире, через площадку, Мишина подружка: девочка-очкарик, бывшая московская соплюшка, которую привезли сюда еще ребенком.

Телефон.

Пыль на столе.

Пальцем — по пыли — торопливо записаны нужные номера, а переписать — некогда.

Соплюшка делает докторат по Талмуду.

У соплюшки книги — на полу, на кровати, на шкафу и повсюду.

Соплюшку зовут в Оксфорд — преподавать.

Фишеру хочется с ней поболтать, но очень уж быстро она бегает — не догонишь.

— Мне этот ваш русский, — сказала ему однажды, — как идиш для бабушек. Вот жизнь моя, кругом меня, а прошлое далеко и меня не касается.

И Фишер расстроился...

Миша засиживается у соплюшки допоздна. Он читает. Она читает. А то поглядят друг на друга. А то засмеются. Как разговаривают молчком.

А утром — не добудишься...

Кузнечик Фишер поцеловал его на пороге и побежал на балкон.

Внук Миша уходил в темноте, в сырости, в туманных завихрениях, с тяжеленным мешком и автоматом и мурлыкал себе под нос какой-то мотивчик.

— Ничего, — шептал Фишер с балкона и поджимал озябшую ногу. — Раз поет — это еще ничего...

У лифта было не протолкнуться на этот раз, но Фишер прошел без очереди.

Ему некогда.

Его кресло ждет.

— Следующий!

Дверь приоткрылась позаправдашнему, и втиснулся к нему в закуток всеобщий ненавистник Гурфинкель, смятый и порушенный от непривычных раздумий.

Встал. Поглядел замученно.

— Фишер, — сказал он. — Ну что же это?! Наши-то опять уделались...

— Наши? — удивился Фишер. — С каких это пор наши — они же и ваши?

И тихо порадовался.

— Добили меня, Фишер, — плаксиво сказал тот. — Втянули в свой сионистский разговор. Что же теперь будет?

Фишер подумал.

Выпрямился в кресле.

Руки уложил на подлокотники.

— Что я вам посоветую? — сказал ребе Фишер. — Знаете что, Гурфинкель, живите теперь так...

И снова меня утянуло воспоминаниями в чердачные глубины, по балкам и под стропилами, в привычную духоту перегретой пыли, — но встала стена поперек желаний, бетонная, надежная, непробиваемая, память разгородила надвое.

— Закрыто, — сказал старик в тулупе — берданка отложена за ненадобностью. — На переучет желаний.

— А когда откроется? — спросил я.

— А никогда не откроется, — ответил он. — Ошибочка вышла, граждане. Ошибочка нынче исправлена.

— А где же калитка? — спросил опять я, на что-то еще надеясь. — Постучаться.

— Нету калитки, — ответил старик с охоткой. — Замуровано без возврата.

И тогда я распластался на стене, ухом к шершавому бетону, а от туда голоса, — или послышалось? — тихие и зовущие.

Уж не Абарбарчук ли?..

Мы не нужны той жизни, нет, мы очень ей нужны!

Мы не нужны тем людям, — зачем мы им? — но им без нас не прожить!

Как древесина, что с омерзением и неохотой принимает в себя чужеродный гвоздь, и терпит его по необходимости, и смиряется, и пропитывается едкой ржавчиной отторжения, но отдает с трудом, когда вырывают, со скрипом сожаления, и держит рубец внутри, вечный рубец-воспоминание...

Как улитка, что принимает внутрь случайную песчинку, песчинку-раздражитель, и отторгает ее, обволакивая, и делает из нее жемчужину — чудо природы, потому что с жемчужиной внутри она может еще смириться, а с песчинкой — нет...

Как человек, что принимает в себя другого, — когда радостно, когда с корыстью, а когда и по принуждению, — и любит его, и терпит его, и ненавидит его, и из семени его — песчинки выращивает плод — жемчужину, — но и плод... плод тоже тоскует по утробе...

И тогда я отпал от стены, и повернулся круто, и пошагал в обратную сторону: дрогнувший поначалу и утвердившийся.

У чердака два конца.

Два окна у чердака желаний.

Лбом в перегретое стекло: глядеть теперь — не переглядеть, до конца дней своих...

Шел по улице старый мужчина, строгий и ответственный, и на плече у него висела винтовка, чешский карабин М-1, а на рукаве — повязка: "Гражданская оборона".

Шагала рядом с ним старая женщина без винтовки, суровая и неприступная, держала в руке фонарь.

Шли они неспеша. Поглядывали по сторонам. Отмечали подробности. И вышли они на бугор. На самую его вершину.

И постояли рядом, глядя на закат.

И подержались зачем-то за руки.

— Что же вы молчите, Бердичевский? — говорила старая хулиганка Фогель, и слезы текли по ее щекам. — Говорите уже, не стесняйтесь. У нас и так в этой жизни — убыток от невысказанных мыслей...

Склон холма, обращенный к ночи, был темен уже и суров, на нем не проглядывали детали, лишь редкие зажигались огни, — а по кромке горы все еще безумствовало алое, радостное, счастливое, как любовь напоследок...

Было ветрено на бугре.

Было знобко.

Но они простояли до конца...

*Иерусалим,
1986 год, февраль-май*

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Бедная израильская “душа”! Так называемая международная общественность давно уже сослала ее в своего рода чистилище. Не вполне живая, не вполне бездыханная, она ожидает там своего последнего суда, исход которого вряд ли вызывает сомнения. Верно, апокалиптические проклятия в ее адрес, раздававшиеся всего несколько лет назад, сегодня уже не столь яростны — ощущение неминуемого краха, вызванное ливанской войной, постепенно миновало — но это говорит, скорее, о том, что период траура и оплакивания перешел в зрелую фазу отмежевания и забвения...

Бедная израильская душа! Некогда столь трепетная, столь переполненная “прогрессивными” вибрациями, даже — подумайте только! — воспетая однажды группой “Виверз” со сцены самого Карнеги-холла, она сегодня, твердят нам, растлена “темными силами”, которые овладели ею примерно со времен Шестидневной войны. Да, именно тогда в нее вселились злобные фурии имперских притязаний — на Западный берег, на сектор Газы, на Голанские высоты. Будто не победа, а поистине некий фаустов сговор с дьяволом отдал в израильские руки Стену плача и могилу Авраама. И последствия не заставили себя ждать. Герои ста-

Эдвард Ротштейн

**ЛЕВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
В ПОЗЕ ОТЧУЖДЕНИЯ**

ли оккупантами, пионеры — колонизаторами, демократия стала заигрывать с тиранией, нравственность уступила виджилантизму, а сострадание вытеснено расизмом. И по мере того, как близилась к концу ливанская война, стало окончательно ясно, что произошло некое превращение — Израиль продал свою душу за клочок земли.

Так твердят нам гневные голоса.

Меж тем, если отвлечься на минуту от этих голосов, окажется, что мы имеем дело с прозаически реальной ситуацией. И не ад, не чистилище, а вполне земные проблемы обступают современный Израиль. Что делать с миллионом новых арабских подданных, оставаясь в состоянии непрерывной войны с арабскими странами? Как управлять завоеванными территориями, если шансы на переговоры и примирение ускользающе ненадежны? В какой мере следует допускать взаимопроникновение экономик, рабочей силы, юридических систем? Короче — какова должна быть политика в отношении этих земель, завоеванных в войне, удерживаемых до поры до времени, составляющих предмет вождения всех и отпугивающих столь многих?

Именно эти проблемы были истинной ценой победы в Шестидневной войне. Но в кругах так называемой международной общественности все эти практические вопросы всегда рассматривались как нечто несущественное и второстепенное в сравнении с нравственным приговором, неизменно включавшим гневные слова, вроде "измены идеалам" и тому подобное.

Любопытно, однако, что эхо этого международного приговора прозвучало вскоре и в самом Израиле, причем эхо столь мощное, что временами начинало казаться будто именно оно и было подлинным источником всей бури. Международная общественность утверждала, что Израиль претерпел превращение, и он его действительно претерпел, но это было превращение совсем иного рода, чем то, о котором говорили. Это подлинное превращение не было замечено в печати, не подверглось анализу в сотнях книг и статей, оно не было связано с Меиром Кахане или Гуш Эмуним, с нетерпимым религиозным фундаментализмом или столь же нетерпимым национализмом. Эти последние, при всей их важности, возможно, лишь способствовали тому превращению, о котором я говорю.

Будучи в Израиле четыре года назад, я ощутил признаки этого превращения в беседе с тремя журналистами израильского телевидения, с которыми мне довелось сидеть за чашкой кофе. Их высказывания, их отношение к собственной стране тотчас напомнили

мне настроения, знакомые по американской действительности 60-х годов, времен войны во Вьетнаме. Та же демонизация своей страны, то же презрительное осуждение средних классов, то же анархическое пренебрежение практическими деталями, та же романтизация якобы идиллического прошлого. Все это я услышал снова, когда год спустя беседовал с израильянином, побывавшим в Штатах. Он с горечью осуждал свое правительство и народ и ностальгически вздыхал по "прогрессивным" временам "раннего" Израиля. "Я больше не чувствую Израиль своей страной", — заключил он. И отзвуки тех же слов я мог слышать в ожесточенных перепалках в Кнессете, в драматических преувеличениях израильской прессы, в романтических обращениях израильских интеллектуалов к прошлому, в их апокалиптическом отвращении к настоящему.

В американской печати израильские интеллектуалы, стоящие на таких позициях, зачастую превозносятся как мужественные диссиденты, защитники демократии, переживающей трудные времена. Но мужество тут ни при чем; если эти голоса о чем и говорят, то это "что-то", подозрительно единое в своих чувствах и суждениях, не имеет ничего общего с искренней заинтересованностью в реальных проблемах Израиля. Скорее, оно свидетельствует об определенном (и массовом) сдвиге в израильской политической культуре. Сдвиг этот тем более существен, что в него вовлечены наиболее громогласные и способные к самовыражению слои израильского общества — тот интеллектуальный слой, та "элита", которая некогда считала Израиль "своим".

Произошло то, что в Израиле возник глубоко отчужденный от своего общества интеллектуальный слой. И возможно, наиболее ярким выражением его позиции являются израильские публикации, предназначенные для американского читателя — публикации, которые, в свою очередь, подкрепляют и без того плохое международное мнение об Израиле. Когда, к примеру, во время ливанской войны израильский писатель Амос Оз попытался объяснить, что, по его мнению, произошло с "израильской душой", он сделал это, в частности, в "Нью-Йорк таймс мэгэзин". На страницах этого журнала он утверждал, что в свое время "Израиль имел шанс стать образцовой страной, небольшой лабораторией демократического социализма"; но затем в страну явились жертвы Катастрофы, "антисоциалистические" элементы из Европы и США, североафриканские евреи с их "шовинизмом, милитаризмом и ксенофобией". Эти группы жаждали "буржуазного комфорта".

Им был не по душе премьер "в хаки и с открытым воротом". Эгалитаризму они предпочли "респектабельность". И это они "толкнули" Израиль в сторону "крайне прозападной ориентации". Ко времени избрания Менахема Бегина премьером страны в 1977 году (что было для "интеллектуального" Израиля не меньшим шоком, чем для его зарубежных критиков Шестидневная война) Израиль превратился в "маленькое милитаристское до зубов вооруженное государство, идущее по пути средневекового религиозного фундаментализма".

Более свежий пример израильского интеллектуала, застывшего в позе отчуждения от своей страны, являет нам Мерон Бенвенисти. Бывший заместитель мэра Иерусалима, он стал известным в Америке автором, которого регулярно цитируют западные корреспонденты. Да он и сам столь же регулярно появляется на страницах "Нью-Йорк таймс" и "Нью-Йорк ревью оф букс". Его перу принадлежит фундаментальное исследование Западного берега, субсидированное фондами Рокфеллера и Форда и многими признаваемое за решающее слово по этому вопросу. Впрочем, интерпретация, которой подверглись данные этого исследования, может быть куда лучше понята в свете последней книги Бенвенисти. Эта книга, "Конфликты и противоречия", представляет собой полемические воспоминания автора о своей сионистской юности. Она предлагает читателю ностальгически-страстное и раздраженно-брюзгливое изложение причин того явления, которое Бенвенисти называет своим "познавательным отчуждением" от государства Израиль.

"В Израиле, — пишет Бенвенисти, — пионерские ценности и социальная справедливость уступили место гедонистической буржуазной культуре". Основы "социализма и сионизма" рухнули с появлением "общества потребления". И страна в целом стала ареной "безудержного шовинизма, ксенофобии, этнической и национальной дискриминации, религиозного засилья, политической немощи, экономической и социальной нестабильности".

Что делает эти апокалиптические суждения Бенвенисти более живыми и важными, чем десятки других, идентичных (вплоть до отдельных слов и аргументов) высказываний, регулярно появляющихся в Израиле и за рубежом, — это не столько его общая позиция, не столько приводимые им факты и цифры, сколько поучительная исповедальность всей его книги. Читая ее, начинаешь понимать, что политическая позиция многих израильских "отчу-

жденных интеллектуалов” зачастую растет из чисто личного недовольства. (Когда я интервьюировал Бенвенисти в Израиле три года назад, он стукнул кулаком по столу и выкрикнул: “Для меня сионизм — это мечта, которую продали по дешевке!”.) Но в отличие от этих других, Бенвенисти готов откровенно в том признаться.

В его описании дни незабвенной юности, проведенные в Палестине (как и Амос Оз, Бенвенисти — уроженец страны, сабра), звучат настоящим восторженным гимном родителям и их поколению (которым, кстати, и посвящена книга). Эти люди вернулись в Палестину, пишет он, не по религиозным верованиям, не спасаясь от преследований, не по случаю, а “по убеждению” — по секулярному идеологическому убеждению. Они принесли с собой некий революционный этос, суть которого, по словам Бенвенисти, состояла в том, что “мы должны были вырасти новыми евреями”. Душевым ядром “нового еврейства” должна была стать любовь к “моледет” — что на иврите означает просто родину или место рождения, но в словаре социалистического сионизма стало означать также страстную привязанность и преданность Земле Израиля. “Моледет” стала для “новых евреев” ядром их национального культа — этакого израильского варианта германского молодежного культа земли, существовавшего в первые десятилетия нашего века. В программу воспитания “новых евреев” входили дальние походы по стране, всевозможные демонстрации жизненной силы и выносливости, упражнения в ивритской классификации палестинских растений и животных, но прежде и превыше всего — безоглядная привязанность к самой стране, как таковой, к ее географии и истории.

В возрасте восемнадцати лет Бенвенисти стал, по его собственному признанию, “жрецом этого культа”. Он ходил в дальние походы в пустыню Негев, он потерял счет (после сорок третьего раза), сколько раз пешком поднимался на Масаду, оваянную мифическими ассоциациями с героическим сопротивлением евреев иноземным захватчикам, он упражнялся во всевозможных трудных затеях, подготовка к которым порой занимала целые недели, а осуществление было изнурительным и рискованным делом.

Другим элементом этого “секулярного этоса” была “агшам”, реализация — понятие, тесно связанное с киббуцом, этой опорой пионерского социализма, оказавшей столь глубокое влияние на

формирующиеся израильские ценности. Если "моледет" означала привязанность к земле, то "агшама" утверждала преданность обществу, а точнее — тому, во что оно может — и должно — быть превращено. Она предполагала "борьбу за новый тип человека" и ее целью было "создание более совершенной социальной системы, которая позволит людям подняться на новую ступень". В изложении Бенвенисти эта социалистическая мечта соединяет черты социальной справедливости, провозглашенной еврейскими пророками, с анархическим отрицанием государственности и с "презрением к буржуазным ценностям современного атомизированного общества". Влияние этой юношеской индоктринации оказалось таким сильным, что Бенвенисти и сейчас еще, как он признается, порой настраивается по ночам на "Радио Белград", чтобы услышать звуки "Интернационала".

Однако не следует представлять себе молодого Бенвенисти и его друзей такими тщедушными идеологическими "очкариками". То были настоящие пионеры — сильные, гордые, уверенные в себе молодые люди. "Мы были особой кастой, сынами и дочерьми революционной элиты, прекрасными, сильными, влюбленными в себя... Мы совершали самые отважные походы, мы танцевали лучше всех, наши девушки были самыми красивыми". И со временем эта каста единомышленников выдвинула из своей среды прочно связанную общим прошлым группу, которая заняла руководящие посты в молодом государстве и наложила свой отпечаток на его политику и ценности.

Как же произошла "порча"? Что могло свернуть с курса такую прочную в своих корнях культуру? В отличие от Амоса Оза, Бенвенисти не думает, что вина тут лежит только на "буржуазных иммигрантах", которые разрушили этот "социалистический рай"; он не обвиняет одних лишь религиозных фундаменталистов; он возвращается к прошлому и пытается найти — по крайней мере, некоторые — причины распада в перерождении самой идеологии "моледет" и "агшама".

По Бенвенисти, "моледет", составлявшая некогда основу пылкого "секулярного этоса", сегодня переродилась в "шовинистически-фундаменталистский культ". После Шестидневной войны роль Масады в израильской мифологии заняла Храмовая гора. Что же до "агшамы", то она уже в 1948 году уступила место практическим нуждам нового государства: что ни говори, нужно было создать армию, построить экономику, принять иммигрантов.

Столкнувшись с этими задачами, многие из поколения пионеров, утверждает Бенвенисти, вообще отбросили идею “совершенствования человека и человеческих отношений”; в лучшем случае, они удовлетворялись тем, что “совершенствовались” сами, в одиночестве и растущем отчуждении от “масс”. Идеология окаменела, “а никакая новая идеология, которая помогла бы справиться с насущными социальными задачами, так и не была сформулирована”.

Следует, однако, заметить, что Бенвенисти не подвергает сомнению исходные тезисы этой идеологии. Он по-прежнему принимает и оправдывает те идеи, которым посвятило себя его поколение. Признать, что их утопическая мечта была обречена с самого начала, означало бы для него признать поражение всех его жизненных принципов и идеалов. Достаточно прочесть, например, что он пишет об отношении его элитарного класса к еврейским иммигрантам из арабских стран, прибывшим в страну в первые годы существования государства. Об этом решительном, порой даже жестоким стремлении переплавить “новый человеческий материал” (как иногда именовали этих иммигрантов) в кадры для сионистской социалистической революции он говорит, что то была “искренняя, великолепная и даже величественная попытка, потерпевшая поражение только в силу ее же собственных, слишком высоких и бескомпромиссных требований и полного пренебрежения особенностями тех людей, с которыми она имела дело”. Трудно понять, как она могла быть “величественной”, если ее результаты оказались столь унижительными для человеческой души, а методы предполагали презрительное отрицание всей этнической и религиозной культуры иммигрантов; как она могла быть “великолепной”, если ее требования были нереалистичными, а “человеческий материал” использовался всего лишь для обслуживания идеологии! Бенвенисти, все еще влюбленный в “бескомпромиссные стандарты” своей юности, готов признать, что они были неправильно применены, но не может согласиться с тем, что они были сами по себе порочны.

А как осуществлялись эти стандарты в жизни самих юнцов, вроде Бенвенисти? “Целыми днями мы шли по жаре, когда температура порой достигала 42° по Цельсию. Были солнечные удары и даже смертельные случаи от обезвоживания... Однажды, на берегу Мертвого моря, руководитель одной из групп сообщил мне, что кто-то украл фляжку с водой. Я потребовал, чтобы вор при-

знался. Когда никто не вышел из рядов, я велел отряду, всем восьмистам, вылить запасы воды, оставив по одной фляжке на тридцать человек — только на случай крайней необходимости. В тот день мы шли двенадцать часов без единой капли воды — пока не пришли в Эйн-Геди...”

Эта бесчеловечная жестокость, входившая элементом в воспитание “новых евреев”, имела, по признанию Бенвенисти, “определенное идеологическое основание”. И такая же сектантски-фанатичная жесткость отличала их отношение к фундаментальным вопросам — например, к религиозным убеждениям других людей. “Мы отмечали Йом-Кипур, нагрузив полный плот продуктов и отправляясь на нем на какой-нибудь островок в море, где и проводили весь этот день за роскошным пиршеством. Это было открытой демонстрацией нашего отрицания религиозных и галутных ценностей”.

И конечно, новые евреи должны были быть “антибуржуазными”. “Помню, я ехал однажды в переполненном автобусе в Хайфу... С каким презрением я смотрел на своих попутчиков — эти низшие образчики человеческой породы...”

Бенвенисти, несомненно, способен иронизировать над собой, но тщетно было бы искать в его воспоминаниях осуждение своей юности или критику рабочего сионизма ранних лет. Это скорее попытка показать, как далеко — и пагубно — отошел современный Израиль от “героического прошлого”. И не просто отошел. Еще хуже, что идеи и лозунги поколения Бенвенисти были “похищены”. И похищены, пишет он, ни кем иным, как “злейшим врагом” — нынешними молодыми религиозными националистами, которые к тому же “имеют наглость” действовать столь же элитарно и самоуверенно, как когда-то он, при этом, однако, не имея за душой его утешительного “гуманизма”. Для Бенвенисти главный порок современного Израиля состоит даже не в том, что бывшие пионерские идеалы уступили место “буржуазной гедонистической культуре”, сколько в том, что “оппозиция украла форму пионерской идеологии”. Она тоже создает пионерские поселения, она тоже провозглашает сегодня выспренные и бескомпромиссные цели, она даже одевается по-пионерски и демонстрирует такое же пренебрежение к государственности и презрение к буржуазии. Поэтому Бенвенисти обрушивает свой гнев на членов Гуш Эмуним, которые осмеливаются ссылаться на сионистские лозунги: “От чьего имени вы говорите? Все легендарные сионисты

принадлежат к поколению наших отцов!" Вы же, продолжает он, "сделали посмешище из всех наших лозунгов, используя их для оправдания своей отвратительной политики и аморальных действий".

Отвратительная политика и аморальные действия — это все, что Бенвенисти видит вокруг себя в Израиле. Его отвращение и отчуждение почти метафизичны. Он испытывает "чувство глубокого стыда". В действительности, однако, причины его отчуждения от политической реальности современного Израиля лежат куда глубже "стыда". То понимание мира, которое демонстрируют его воспоминания, тот утопизм бескомпромиссных фантазий, который он и сегодня лелеет, свидетельствуют о свойственной его мышлению (и усвоенной еще в юности) инфантильной политической безответственности. Не случайно Бенвенисти способен, к примеру, заявить, что арабо-израильский конфликт характеризуется "симметричным и равно непримиримым отношением сторон" или что позиция ООП в отношении Израиля тождественна позиции Ликуда в отношении палестинцев и ООП ("обе стороны стремятся к уничтожению другой, как группы"). Его политическое мышление не идет дальше утверждения, что только создание бинационального государства может положить конец арабо-израильскому конфликту. Это видение воодушевляет его настолько, что он "не замечает" сиюминутных, земных проблем. Он категорически отказывается искать какие бы то ни было практические пути к преодолению или смягчению существующей ситуации. И он абсолютно уверен в своей правоте. "Я отвергаю самую мысль, будто предлагаемый мною диагноз может быть неверен". С таких надчеловеческих высот что он может предложить своему государству и своим рядовым согражданам?

Разговоры Бенвенисти о "похищенном авторитете" и "украденном лидерстве" могли бы показаться обычным раздраженным брюзжанием, если бы не тот факт, что они довольно распространены среди левых интеллектуалов в Израиле и принимаются за откровения зарубежными журналистами, которые приводят их как пример "сбалансированной" точки зрения, зачастую принимая ее в качестве своей собственной. Ситуация тем более парадоксальна, что сам Бенвенисти приобрел свою нынешнюю репутацию не в качестве "пионера", а прежде всего в качестве автора весьма земной, практической, статистической работы, цель которой, по его словам, состояла в "сборе, анализе и оценке всех суще-

ственных данных о Западном берегу и Газе, отражающих нынешнюю реальность на этих территориях". Следует отметить, однако, что это исследование, которое начинается с призыва к объективности, завершается рассуждениями о "темных силах" сионизма, который стал, по убеждению автора, идеологией угнетения и колониализма.

Исследование Бенвенисти стремится доказать, что во всем, что касается земли, экономики, закона и гражданских свобод на Западном берегу и в Газе, там сложились две неравноправные системы — одна для арабов, другая для евреев, — и в результате эти территории фактически включены в израильское государство в такой своей двойной ипостаси. До некоторой степени это верно. Но главное состоит в том, до какой именно степени? И что это означает?

История Западного берега под израильским управлением — это в действительности не столько история "аннексии", сколько хроника неуверенности, растерянности, явного самоограничения и взаимных страстей. Учитывая все эти обстоятельства, не приходится удивляться тому, что за минувшие двадцать лет вышли наружу многочисленные случаи несправедливости и дискриминации и возникла острая общественная проблема их преодоления. Но прежде чем вздыхать об утраченном рае, стоило бы получше понять существующую реальность. Двойная система на территориях существует в силу юридических и культурных причин; но проблемы были бы куда более тяжелыми, если бы Израиль на самом деле их аннексировал или до сих пор держал в противоестественной изоляции, ожидая примирительного жеста со стороны арабов.

Два общества, которые существуют на Западном берегу, будут и дальше существовать в их нынешнем враждебном, раздельном, неравноправном и причудливо взаимодействующем виде. И это далеко не однозначное взаимодействие. Ибо, как отмечает сам Бенвенисти, жизнь арабов на Западном берегу за последние двадцать лет весьма изменилась к лучшему. Общая покупательная способность миллиона жителей управляемых территорий в течение последних пятнадцати лет непрерывно росла на 10 процентов каждый год. Калорийность питания на Западном берегу сегодня самая высокая в арабском мире. Взрывоподобный рост жилищного строительства виден каждому, кто проезжает через арабские города и деревни. В 1972 году только 35 процентов арабских домов имели электричество и всего 14 процентов —

холодильники. В 1981 году эти цифры были, соответственно, 80 процентов и 51 процент. Неграмотность за последние десять лет снизилась на 20 процентов. Говоря по правде, рост индивидуального экономического благосостояния (с учетом отсутствия соответствующей инфраструктуры) попросту поразителен.

Разумеется, арабские жители территорий не имеют тех привилегий, того комфорта и тех свобод, что их израильские соседи, — но они имеют этого куда больше, чем их арабские братья где бы то ни было. И при нынешнем состоянии региона эти различия в уровне жизни и продиктованных им стремлениях (обладание холодильником порой ведет к принципиально иному подходу к проблемам мира и уступок) куда важнее и существеннее, чем то глобальное апокалиптическое осуждение ситуации, которое предлагает исследование Бенвенисти. В конце концов, Германии и Франции, не разделенным такими глубокими культурными различиями, понадобились столетия, чтобы договориться о спорных границах и территориях.

Но для израильских интеллектуалов, застывших в позе гневного отчуждения от своей страны, для всех, кто тоскует по утраченным утопическим мечтам и несостоявшимся “новым евреям”, реальность современного Израиля со всеми его проблемами и перспективами не идет ни в какое сравнение с некогда воодушевлявшим их мессианским убеждением, будто социализм плюс социальная инженерия в применении к новым иммигрантам могут в мгновение ока породить новое общество, а слепая и нетерпимая любовь к “моледет” и “агшама” способна превратить еврея в сверхчеловека, возвышающегося над своими религиозными собратьями — теми, кого Бенвенисти и сегодня осуждает и обвиняет от всего сердца и со всей яростью. В своем воображении он все еще — в том автобусе на Хайфу, все еще с высокомерным презрением взирает на своих попутчиков, простых смертных, занятых повседневными заботами жизни, все еще готов приказать им опустошить фляжки посреди пустыни и маршировать на Эйн-Геди, а нет — пропади они все пропадом!

Крах рабочего сионизма на выборах 1977 года означал не только выход на политическую сцену евреев из арабских стран; он означал также, что Израиль отверг — по крайней мере, частично — те идеи и взгляды, которые были характерны для поколения Бенвенисти и их наследников в израильских интеллектуальных кругах — взглядов, которые с почти устрашающей честностью изло-

жены в книге Бенвенисти. Блок Ликуд, выросший из течения ревизионистского сионизма, пришел к власти, чтобы предъявить рабочему сионизму счет за все обиды, накопившиеся за сорок лет политической борьбы.

Но и будущее Ликуда не является вполне надежным, потому что его идеология — не в меньшей степени, чем идеология рабочего сионизма, — базируется на прошлом, на столь же мессианских — хоть и других — утопических идеалах. А пока Израиль остается без реалистической идеологии, левые интеллектуалы, вроде Бенвенисти, застывшие в позе отчуждения от своей страны, продолжают доминировать и задавать тон в существующей израильской идеологии и культуре. И до тех пор, пока это положение будет продолжаться, глубина и содержательность общественных дискуссий в Израиле будут оставаться на уровне той инфантильной догматики, что еще в юности была воспринята Мероном Бенвенисти и его друзьями.

Перевел с английского Р. Б.

АЛЛА КТОРОВА

МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ

Новая книга известного автора разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание жизни пращуров и предков прослаивается картинками жизни нынешней Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время второй мировой войны идут параллельно с размышлениями о современной литературе, о новом человеке эпохи НТР и т. д. В книге 303 страницы. Обложка выполнена В. Бахчаняном. Книга продается во всех книжных магазинах русского Зарубежья.

Стоимость книги — 20 долл., за пересылку — 1 долл. Заказы и чеки принимаются по адресу: Victoria Sandor, 5838 Edson Lane, Rockville, MD 20852, USA.

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Вышел в свет первый номер литературного альманаха "САЛАМАНДРА".

Участники: И. Бокштейн, И. Бурихин, А. Волохонский, М. Генделев, М. Каганская и другие.

Переводы: Ж. Лафорг (проза), К. Г. Юнг (проза).

Цена экземпляра для подписчика — 16 шек., из-за границы — 12 долл. (включая пересылку).

Чеки слать по адресу: Tarasov Vladimir, P.O.Box 29847, Tel-Aviv 61298, Israel.

— Как журналист, я не могу удержаться от описания места, где происходит наш разговор. Его символический смысл слишком соблазнителен. Мы сидим в кабинете на двадцать первом этаже Хайфского университета. Человек, который на всем протяжении интервью будет призывать израильскую “левую” стоять “двумя ногами на земле”, смотрит на окружающий пейзаж из гнезда, которое выше всех других в Израиле. Море с запада, долина Изреэль с востока, друзские деревни с юга и порт — далеко внизу. Корабли выглядят как детские игрушки. Иошуа, который погружен сейчас в создание нового романа, тем не менее не может и не хочет оторваться от политической жизни, от своих друзей по левому движению, которые отвернулись от него, когда он призывал их присоединиться к правительству национального единства. Это до сих пор вызывает в нем боль и гнев. Чтобы облегчить разговор, мы начали с литературы. Что ты пишешь сейчас?

— Роман в традиционном стиле — герой в третьем лице и писатель, который его объясняет. Ничего от политики. Действие происходит в Израиле, в последние годы, но это всего лишь фон, а не сущность, а герой похож на меня только в одном — как и я, он сефард по происхождению, бывший иерусалимец..

— Тебе приходится совершать над собой усилие, чтобы оторваться от письменного стола для нашего интервью?

— Очень мило с твоей стороны, что ты об этом спрашиваешь.

А.-Б. Иошуа

**ВИНА ЛЕВЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ**

(интервью с Яроном Лондоном)

Да, оторваться трудно, но у меня есть ощущение тяжелого долга. Впрочем, с другой стороны, я постоянно повторяю себе: хватит, я уже сделал свое, я уже сказал все, что можно было сказать — всем и обо всем. Недавно я встретил Амоса Оза (он только что вернулся из США), и он сказал мне, что решил на несколько лет “завязать” с политикой. Я надеюсь, что он не сумеет сдержать свое слово, но сам тот факт, что такой человек, как Оз, который живет столь интенсивной общественной и политической жизнью, испытывает разочарование, говорит о том, что все мы испытываем некую глубокую душевную усталость. И еще это говорит о глубоком разладе в левом лагере. Разлад этот возник из-за тона и стиля наших внутренних дискуссий, наших нападок друг на друга. И это очень грустно.

Недавно у нас гостили Таня и Лева Элиавы. И где-то в середине разговора, когда речь зашла о наших “левых”, Таня вдруг воскликнула: “Не хочу больше слышать это слово! Оно вызывает у меня аллергию!” Если уж так говорит жена Левы Элиава, человека, который, как никто в Израиле, тесно связан с лагерем “левых” и “голубей”, то можно понять, до чего мы дошли. И тем не менее я не теряю надежду. Ведь я все еще отождествляю себя с этим лагерем — отождествляю глубоко и фундаментально.

Много раз в последние годы, особенно после опубликования нашего призыва поддержать правительство национального единства, мне приходилось вести пламенные, почти безумные споры с моими друзьями по “левой”. Жена говорила мне: “Что ты так споришь? Ведь ясно, что ты сделал необходимый шаг. Разве ты не уверен в своей правоте?” Я уверен в своей правоте. И в то же время я вынужден ее доказывать. Я по-прежнему ощущаю себя принадлежащим этому лагерю, который, в сущности, выталкивает меня из своих рядов. Ведь в наших кругах так уже повелось: стоит тебе уклониться хотя бы на сантиметр от окаменевших догм, и тебя сразу объявляют “изменником”.

— *Ты насмехаешься над этой группой и тем не менее не можешь отказаться от причастности к ней?*

— Да, я не могу уйти. Впрочем — и не хочу. Я чувствую необходимость как-то договориться, несмотря на то, что некоторые из моих товарищей уже отчаялись и смирились с неизбежностью разрыва...

— *От каких ценностей ты затрудняешься отказаться?*

— От наших заветных идей — мира и безопасности. И от группы

в целом — от всех этих профессоров и гуманитариев, этих “прекрасных людей” — в кавычках и без, этих искренних и немного “чокнутых” людей, всех этих профессиональных радикалов и заклятых нонконформистов...

— Ты опять над ними насмеяешься?

— Наверно, это прорывается против моей воли. Но что прикажешь делать? Вот, я просмотрел наш журнал, “Политику”, — и снова меня охватило ощущение бесконечной тоски. Тоски от этого нашего стиля с его узколобостью, нетерпимостью, одномерностью... Опять “ату его!” в адрес Гуш Эмуним, опять “ату его!” в адрес Кахане — и ничего конструктивного, ничего положительного. Только критика, только прогорклая разрушительная критика, причем вне всяких пропорций. С одной стороны, с каким-то мазохистским удовольствием твердят о всеобщем “распаде” и “разрушении”, с другой стороны, твердят, что только мы знаем “правду”. Я думаю, что если мы хотим что-то изменить в реальности, нам необходимо прежде всего изменить весь наш стиль.

— Ты хочешь быть “конструктивным левым интеллектуалом”?

— Да, это ключевое слово — конструктивным...

— И это значит — разделить ответственность?

— Вот именно — ответственность. Принять участие в создании реальности, а не просто стоять в стороне и ядовито критиковать все и вся. Нужно проявить большую выдержку в отношении исторических процессов — даже если мы уверены, что в конце концов они приведут именно к тому результату, который мы уже сегодня считаем неизбежным. Нельзя проявлять такое нетерпение по всякому ничтожному поводу и рубить все узлы с такой безжалостной грубостью. В конечном счете, все большие решения — о мире и войне, о жизни и смерти — принимает молчаливое большинство народа, тот самый “средний слой”, на который мызираем так свысока. В последние годы мы совершенно утратили контакт с этим большинством...

— Ты хочешь найти “сердцевину потока” и двигаться с ней? Тогда тебе пристало бы вернуться в Рабочую партию...

— Твои слова в первую минуту меня пугают, но потом, поразмыслив, я говорю себе: а почему бы и нет, черт побери! Если в нашей стране за последние шестьдесят-восемьдесят лет и было сделано что-то революционное, глубокое, существенное, то это было сделано именно на “мапайском” пути. Это не значит, что рабочий сионизм не знал ошибок и провалов, но почти все суще-

ственное было создано именно им. Вообще-то говоря, эта дискуссия, этот спор — между “прагматизмом” и “идеализмом”, между практикой и идеологией — они не новы. Но на фоне нынешней израильской действительности наша позиция в этом споре приводит меня в ужас. Мы не имеем права действовать в духе каких-нибудь “зеленых” в ФРГ. Ведь те попросту хотят встряхнуть напыщенную и замороженную буржуазную действительность всякого рода провокациями и преувеличенными призывами к бою. Но тут, в Израиле, перед нами сложное и проблематичное положение, очень реальное и очень болезненное положение. Тут непозволительны ни примитивная риторика, ни декламационное упрощенчество. Мы не имеем права увлекаться односторонней и одномерной критикой.

Вот, я открываю наш журнал — и не нахожу в нем ни слова осуждения в адрес “Прогрессивного списка” Миари. А ведь эта партия призывает к уничтожению “сионистского государства” и к “преодолению” еврейского характера Израиля. Мы, левые, боремся за право палестинцев на самоопределение — и в то же время обходим молчанием высказывания Антона Шамаса, который призывает отменить гимн и флаг еврейского государства, отменить Закон о Возвращении. Если мы осуждаем политику захватов и в то же время не протестуем против таких высказываний, мы попросту идем к политическому самоубийству.

— *Некогда ты сформулировал лозунг: “Право нуждающегося”. Он вызвал большой шум, у тебя были сторонники и противники. Ты утверждал, что “право” исчезает, когда исчезает “нужда”. К примеру, если евреи галута не хотят ехать в Израиль, значит — у них нет в этом “нужды”. А стало быть — и “права”. Почему же ты отвергаешь взгляды Шамаса?*

— Прежде всего, “нужда” может возродиться. Завтра, в результате каких-нибудь внутренних потрясений в СССР, власти могут выбросить (или вырезать) полмиллиона тамошних евреев. То же самое может случиться в Южной Африке. И что же? Я должен просить у Шамаса “со товарищи” разрешения принять этих людей? А может, он еще обусловит свое согласие тем, чтобы я разрешил ста тысячам арабских беженцев вернуться в Луд и Яффо? Страдания еврейского народа дали нам нравственное право вернуться и взять себе часть — только часть! — палестинских земель. Мы взяли себе эту часть, чтобы построить еврейское государство, которое сможет навсегда решить “еврейский вопрос” — так же, как, к примеру, Дания решает “датский вопрос”. Когда ООН поделила эту страну надвое и подтвердила право евреев на свое го-

сударство, она искала решение не только для тех шестисот тысяч евреев, которые здесь жили тогда, но и для всех евреев во всем мире. И государство Израиль поэтому — еврейское государство, так же как Дания — датское и Норвегия — норвежское. Закон о Возвращении — это моральная основа сионизма, и я думаю, что у палестинского государства, когда и если оно возникнет, тоже должен быть свой “Закон о Возвращении”. Только у коренных палестинцев в изгнании должно быть право вернуться и поселиться здесь — но не у египтян, ливийцев или сирийцев. И я бы потребовал, чтобы этот пункт был специально оговорен в мирном договоре — в противном случае не исключено, что уже живущие здесь палестинцы откажут своим братьям-беженцам в Кувейте или Ливане в праве вернуться (или пошлют их в Луд и Яффо), проблема беженцев останется в том же состоянии и все вернется на круги своя. Точно так же мы, в своем еврейском государстве, имеем право на свой “Закон о Возвращении”. Если ты принимаешь всю нравственность, стоящую за сионизмом в этом толковании, ты можешь с чистым сердцем сказать писателю Антону Шамасу: ты израильский араб, ты палестинский араб, обладающий израильским гражданством. Вы тут меньшинство и останетесь меньшинством — как баски в Испании или корсиканцы во Франции. Вы имеете здесь все права израильских граждан и вдобавок — все права меньшинства, языковые и культурные. Но государство это — еврейское, как Испания — испанское, и я тысячу раз повторял и повторю еще раз: израильская принадлежность — это не просто гражданство, это сущность. Израиль — не Австралия, не Новая Зеландия, где некогда собрались бродяги и преступники со всего света, нашли там туземцев и вместе создали государство — без всякой связи с происхождением и традициями этих людей. Я говорю Шамасу и его единомышленникам, арабам и евреям: вы вообще не хотели возникновения этого государства. Оно создано вопреки вашей воле. А если вы хотите “полной” принадлежности, хотите жить в государстве, дающем возможность развития независимой палестинской индивидуальности и оригинальной палестинской культуры, — встаньте, возьмите свое движимое имущество, сдвиньтесь на сто метров к востоку, в независимое палестинское государство, которое будет создано рядом с Израилем! Ваше положение неизмеримо лучше положения многих национальных меньшинств в мире, у которых нет такого выхода. Но если вы остаетесь — а я говорю вам: милости просим! — вы меньшинство,

и в мирное время у вас есть даже преимущества меньшинства, сумеете их только найти. Это азбука всякого компромисса. Иначе — что может произойти? Возникнет палестинское государство, а арабские граждане Израиля по-прежнему будут требовать, чтобы здесь было создано некое подобие многонациональных и много-религиозных Соединенных Штатов! Тогда почему называть его вообще Израилем? Попросим у компьютера выдать нам имя и цвет флага, так будет правильной. Шамас и его друзья требуют этого потому, что до сих пор смотрят на евреев, как на религиозную общину, а не как народ. Поэтому у нас нет, по их мнению, права на самоопределение. Если даже Шамас, который по своим знаниям может быть профессором иврита в еврейском университете, все еще не понял эту простую истину, то действительно можно прийти в отчаяние...

— Недавно Гершом Шокен опубликовал сенсационную статью, в которой утверждал, что нужно поощрять смешанные арабо-еврейские браки. Это, дескать, путь всего мира: захваченный народ-меньшинство перенимает культуру народа-большинства в рамках ассимиляции, которая является также генетической ассимиляцией. Шамас, имя которого уже второй раз возникает в нашей беседе, увидел в этой статье ни больше, ни меньше как причину продолжать жить в этой стране. Каково твоё мнение?

— То, что Шамас так чувствует, меня не удивляет. Я не буду сейчас гадать, какие личные мотивы им движут. Но я вижу, что он хочет устроить здесь — любым путем — тот "праздник общинного плюрализма", от которого Ливан сейчас переживает горькое похмелье. Шамас говорит, что в противном случае он ощущает себя здесь "изгнанником". Я бы на его месте был осторожнее в употреблении этого слова, когда сотни тысяч его братьев, действительно изгнанных из своей страны, уже десятки лет гниют в лагерях беженцев в арабских странах. Побольше трезвости, поменьше жалости к самому себе... Но я — последний, кто пренебрег бы трудностями и душевными конфликтами, выпавшими на долю арабов в Израиле. И я всем сердцем молюсь, чтобы пришел тот день, когда Шамас и его друзья смогут почувствовать себя живущими в "своей" стране, даже будучи в ней меньшинством.

Что меня больше беспокоит — это чувство "внутреннего изгнания", которое распространяют вокруг себя мои левые друзья из Хайфы, из Рехавии, из северного Тель-Авива. Изгнанники в родной стране — это опасное явление. Сартр, Арагон, французские коммунисты не говорили, что они изгнанники, даже когда Франция

подавляла народы других стран. Следовало бы проявлять чуть больше уважения к этому тяжелому слову, особенно нам, которые знают его подлинный смысл и страшную цену. Можно питать отвращение к власти в своей стране и бороться с ней, но это не изгнание. Разговоры об “изгнании” — это химически чистый еврейский способ избежать ответственности за действительность, уклониться от необходимости бороться с ней и изменять ее. А ведь у нас есть все возможности для такой борьбы. Так называемые “изгнанники” вполне свободно пользуются всеми средствами информации в этой стране.

Так вот, что касается Гершома Шокена и его статьи, то это, по-моему, еще один признак общего отчуждения левых интеллектуалов от реальности. После того, как Шокен несколько лет назад разочаровался в сионизме, заявив, что Израиль должен отменить Закон о Возвращении и стать просто “страной эмигрантов”, как “все”, он теперь оказался перед лицом быстро растущего арабского меньшинства, и бросился “решать” эту новую проблему, — как всегда, на бумажке, посредством совершенно нереальных планов. Это симптоматично для наших дней, для нашей “левой” и ее интеллектуалов, которые то и дело выдвигают все новые, порой совершенно безумные предложения. Часть этих “прожектов” порождена отчаянием от продолжающегося конфликта, другая часть — реальной демографической угрозой. Я же говорю, что главная задача сегодня — не сочинять очередные планы на бумажке, а порвать с отчуждением от политической действительности и заново организовать для конструктивного участия в реальной жизни.

— *В чем ты видишь политическое отчуждение левых интеллектуалов?*

— Самым ярким его проявлением был отказ от поддержки и участия в правительстве национального единства. Этот отказ был, по-моему, выражением того заносчивого чувства интеллектуального превосходства и собственной непогрешимости, которые отличают нашу левую вообще. Наши левые интеллектуалы даже не сумели правильно прочесть результаты выборов. Они не осознали, какой поддержкой пользуется Ликуд в широких массах. Они и сегодня еще продолжают упражняться в составлении фантастических парламентских комбинаций, подсчитывая число мандатов, которые позволят, якобы, создать “узкую” левую коалицию. На самом же деле им давно следовало бы обратиться к тем самым массам, которые поддерживают Ликуд, и сказать: да, мы

потрясены тем, что вы снова проголосовали за Шарона, но это ваш выбор, и коль скоро иного выбора нет — давайте попытаемся вместе сделать что-нибудь существенное для нашей страны, попытаемся вместе решить хотя бы некоторые ее проблемы. И ведь проблемы действительно решаются, — только без нас. Армия ушла из Ливана, началось укрепление экономики. Нашей “левой” следовало бы тоже участвовать в этом общенациональном процессе. И ведь такой подход был нам свойствен раньше: что ни говори, израильская “левая” — не европейская, у которой вся сила только в словах; за нами есть опыт участия в строительстве и созидании. Но сегодня наши левые интеллектуалы видят всю свою задачу только в том, чтобы “разоблачать”. Разоблачать правительство, разоблачать действия израильских солдат на территориях.

— Ты упомянул об арабской проблеме. Что изменилось в твоем отношении к ней?

— В последнее время я испытываю в этом отношении двойственное чувство. С одной стороны, в моей душе углубляется ощущение нашей вины перед палестинцами, с другой — чувство гнева и раздражения против самих палестинцев. Сегодня я бы уже, пожалуй, не смог нарисовать образ араба с такой симпатией, с какой изображен Наим в моем романе “Любовник”. С одной стороны, продолжается оккупация, продолжается эксплуатация, растет явный и скрытый расизм (по-моему, самая страшная фраза Кахана: “Я говорю то, что вы на самом деле думаете!”) — и все это усиливает во мне чувство стыда и вины. Но с другой стороны, столь же упорно продолжается отказ признать нас, пойти на компромисс, растет террор, продолжают зверства. И я с ужасом думаю, что этот террор и зверства — дело рук тех самых палестинцев, которые только что пережили трагедию ливанской войны. Не успела закончиться эта война, как они занялись сведением кровавых счетов друг с другом. Все это порождает во мне такие противоположные чувства, что мое отношение к палестинцам становится амбивалентным. И вдобавок я не вижу никакой поддержки со стороны арабских интеллектуалов в Израиле. Я вижу только, как мы непрерывно угождаем им в своем мазохизме, и испытываю от этого чувство мучительного недоумения. Мы показываем им спектакли, в которых раздаем себе оплеухи, мы пишем сатирические обозрения, в которых высмеиваем себя и своих руководителей, мы упиваемся перечнями наших ошибок и просчетов, мы мчимся с одного антирасистского митинга в их защиту на

другой — а они? Они взамен предлагают нам восторженные гимны в адрес шиитских террористов, убивающих наших солдат в Ливане. О да, мы их многому научили, еще бы! Это благодаря нам палестинские интеллектуалы стали такими изощренными и утонченными знатоками всех мельчайших недостатков нашей демократии, сами даже еще не поднявшись до понимания сути свободы. Верно, всему этому есть ряд объективных причин, но все они не могут облегчить то чувство разочарования, которое испытываешь, когда читаешь, к примеру, такую книгу как “Оптимист” Эмиля Хабиби. Когда видишь в ней образ еврея, созданный автором, невольно спрашиваешь себя: и это написал израильский араб, израильский коммунист, который сорок лет живет бок о бок с евреями? И это все, что он в нас увидел? Такими мы ему представляемся? И тем не менее я продолжаю испытывать чувство вины перед палестинцами, оно вполне реально и останется реальным до тех пор, пока будет продолжаться оккупация.

— Ты все время говоришь об отчуждении левых от общества. Как же нам найти путь к умам других израильских групп? Как разрубить узлы, связывающие определенные группы с определенными партиями и только с ними?

— Я не вижу в обозримом будущем возможности привлечь на нашу сторону малообеспеченные сефардские слои, увлечь их левой идеологией. Их психология и история диктуют им куда большую жесткость и недоверие к арабам. Но это не они на самом деле совершили “революцию 77-го года”. Это сделала более широкая группа вполне устроенных, обеспеченных ашкеназов-ветеранов, по разным причинам проголосовавшая за Ликуд. И нам следует обратиться именно к этой группе — причем не с нравственными поучениями, а с самыми прагматическими, конкретными идеями. Но мы не умеем наладить с этим слоем диалог. Наша “левая” раздражает его своим мазохизмом, своей чрезмерной заботой о палестинских интересах — порой даже большей, чем об интересах израильских, еврейских. Пора сказать, что наша цель — отнюдь не спасение арабов; эта цель, в действительности, — наше собственное спасение.

Перевели с иврита А. Б. и Р. Б.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Об отчуждении интеллектуалов мне довелось впервые услышать пару лет назад, на иерусалимском симпозиуме "Поэзия в изгнании". Израильский поэт Ури Беренштейн с горечью говорил, что эта страна стала для него чужой и именно здесь он ощущает себя в изгнании. Сегодня я читаю об этом в интервью Иошуа, который сам принадлежит к лагерю левой интеллигенции и лучше других знает ее настроения. В отличие от многих своих друзей по "левой" Иошуа всегда умел точно и беспощадно оценить ее недостатки и просчеты. Когда-то он написал, а мы опубликовали в "22" пронзительно-горькую статью "Размышления об израильской левой в дождливый день", где он обвинял своих единомышленников в косности и утрате дальних перспектив. Сегодня он указывает на причины недуга: окаменелый догматизм и в результате — отчуждение в собственной стране. Уход на позиции "внутреннего изгнания". И когда Ротштейн в приведенной выше статье говорит о превращении, произошедшем в Израиле, он по сути говорит о том же — о догматизме, цеплянии за мертвое прошлое, необоснованных претензиях и, в результате, — глубокой, неизбывной отчужденности.

Я не стал бы комментировать эти исчерпывающие собой проблему публикации, когда б не недавняя встреча с несколькими коллегами по перу — израильскими писателями и журналистами, проведенная в рамках их "знакомства" с русскоязычными авторами в Израиле. Все то, о чем говорят в своих статьях Ротштейн и Иошуа, на этой встрече вдруг предстало передо мной буквально вживе. Один за другим — и все до единого — израильские писатели призывали нас — примкнуть к подлинной интеллигенции, задача которой, по их мнению, — учить и вести за собой массы. Нам напоминали о традициях русской интеллигенции. Нас призывали повернуться лицом к народу. И одновременно нам признавались в глубоком отчуждении этого народа от своих интеллектуалов. Тезис был вывернут наизнанку, виновником отчуждения объявлялся непонятливый народ, но смысл оставался тем же самым. И было только естественно, что под занавес, разговорившись до откровенности, израильские писатели один за другим начали говорить — да, все о том же: какое чувство внутреннего изгнанничества они испытывают в своей собственной стране в результате всех произошедших в ней перемен...

Все это было очень знакомо. И очень грустно, — именно потому, что знакомо. Это были лозунги и самопонимание своей общественной роли, некогда воодушевлявшие русскую, а позже советскую интеллигенцию, когда она осознала себя не столько специфической социальной группой со своими специфическими интересами, сколько группой профессиональных идеологов, выделенной в отношении всего общества, которое в этом плане целиком становилось "ведомым". Вряд ли где-нибудь и когда-нибудь еще эта уникальная ситуация повторилась в такой же чистоте и обнаженности. Разве что — в Израиле. Как всем нам хорошо известно (об этом снова напоминает Ротштейн, пересказывая Бенвенисти), левая израильская интеллигенция в свое время тоже оказалась в уникальной ситуации: она получила благодарный материал для идеологической переплавки, в сущно-

сти — всю массу пионеров-поселенцев ишува, а позже — новых репатриантов-сефардов. В израильском случае, в отличие от русского, результат оказался фантастически успешным, и он налицо — сам Израиль. Затем, однако, произошло то, что должно было произойти: ситуация изменилась. Уникальный период кончился. Сегодняшний Израиль структурирован по линиям политических проблем и политических партий, а не по линиям идеологий. И призывы, прозвучавшие на встрече с израильскими писателями, пахли нафталином. Хуже того — они пахли стремлением возродить безвозвратное прошлое.

Дело не в том, что идеологии сегодня нет. Проблема как раз в том, что она есть, но она устарела. Об этом подробно и точно писал (в "22", № 52) Ионатан Шапиро в статье об отцах и детях в израильской политике; об этом говорит в своем нынешнем интервью Иошуа; об этом же пишет Ротштейн. И нелепость нынешней ситуации состоит именно в том, что интеллигенция (как слева, так и справа) хотела бы снова навязать обществу свою прежнюю идеологическую роль учителей жизни, пользуясь как раз этой устаревшей идеологией, то есть в сущности не имея покрытия для своих претензий. Догматизм, о котором говорит Иошуа и который для меня прозвучал в призывах на писательской встрече, — как раз в этом судорожном цеплянии за прошлое. Ротштейн не вполне прав, мне кажется, сводя трагедию отчуждения левых интеллектуалов только — или по преимуществу — к личным мотивам. В действительности их сжигает "социальная ностальгия" — по своей прежней общественной роли. Именно она порождает почти зоологическую ненависть левого и правого интеллектуальных лагерей друг к другу и общее для обоих презрение к "народу". В самом лучшем случае, — как у Иошуа или у Амоса Оза, недавно выступившего с интервью в американском журнале "Тиккун", — эта ностальгия ведет к поиску каких-то новых путей, но увы — и эти пути оказываются не новыми. Если Иошуа возлагает надежды на диалог со "средним классом", то Оз в упомянутом интервью возлагает их на "союз с сефардами", который превратит Израиль в "типичную средиземноморскую страну" вроде Италии или Испании; по мнению Оза, такой союз защитил бы нас и от наступления фанатиков-ортодоксов, и от экстремистского национализма. Левая интеллигенция в лице своих лучших, недогматичных представителей отчаянно ищет союзников (или ведомых), — но их нет: достаточно прочесть книгу сефардского писателя Сами Михаэли "Двенадцать колен израилевых", чтобы увидеть, что сефарды отвергают непрощенных наставников, питая к ним впитанные с историей, неистребимые подозрения.

Все это вызывает тревогу. Ибо отчуждение становится взаимным. Интеллигенцию в Израиле действительно перестают слушать — и слышать. В спектре общественных мнений возникает опасная пустота. И политика радостно теснит собой культуру и все прочие неполитические ценности. Ибо свято место не остается пусто...

Р. Н.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

“...История немецкого нацизма написана державами-победительницами, и это подобно тому, как если бы ООП, победив Израиль, диктовала, как следует понимать еврейскую историю... Азиатское преступление советского ГУЛАГа предшествовало уничтожению евреев в Освенциме, и эти явления – взаимосвязаны... Левый немецко-еврейский интеллектual Курт Тухольский еще в 20-х годах требовал уничтожить “правых” в газовых камерах – намного раньше, чем нацисты начали уничтожать там евреев... В 1939 году Хаим Вейцман объявил “еврейскую войну” Германии, и у Гитлера были основания видеть в немецких евреях подлинных военнопленных... Пришло время подвести черту под нацистским прошлым...”

Тезис, тезис, еще один тезис... Ни один из них не сформулирован столь дословно, как это сделано выше. Но в том или ином скрытом виде, порой – с оговорками, порой – между строк, все эти тезисы то и дело всплывают в статьях, опубликованных известным немецким историком, западно-берлинским профессором Нольте на протяжении последних полутора лет. И пожалуй, самым шокирующим во всем этом является, прежде всего, необычная к о н ц е н т р а ц и я реви-

Даниэль Даган

Я – НЕ АНТИСЕМИТ, –
говорит профессор Нольте

зующих историю утверждений. Трудно отделаться от впечатления, что перед нами — последовательная попытка “научно” легимитировать то, что доселе было характерно лишь для идеологии периферийных, крайне правых групп. Это тем более удивительно, что тот же самый Нольте в своей первой — и знаменитой — книге о фашизме, “Нацизм и его эпоха”, писал: “Нацисты совершили злодеяния, равным которым нет в мировой истории. С ними не сравнится даже террор Сталина против своей партии и своего народа...”

Сегодня профессор Нольте говорит, что он находится в процессе критического пересмотра своих прежних взглядов. “Я должен проверить, справедливы ли мои прежние утверждения. Так, в свое время я писал, что вторжение Гитлера в Россию было началом самой большой в современной истории войны на уничтожение. Сегодня я вижу, что такое определение недостаточно. В следующей книге я покажу, что хотя эта война несомненно была войной на уничтожение, она одновременно имела в себе также нечто и от превентивной войны”.

Своими последними статьями профессор Нольте возродил острую — и горькую — дискуссию вокруг вопроса, который казался давно решенным в западнонемецкой историографии — об оценке и трактовке Третьего рейха. Больше, чем кто-либо другой, он способствовал возобновлению давнего спора, выдвинув — по меньшей мере, сомнительные — тезисы о евреях как “военнопленных”, о связи между ГУЛАГом и Освенцимом, о написанной под диктовку победителей немецкой истории.

Нольте хорошо известен в Израиле — прежде всего своими основополагающими книгами о Гитлере и нацизме, которые стали учебными пособиями не только в ФРГ, но и здесь. В 1981 году он провел полгода в Иерусалиме в качестве визитирующего профессора Еврейского университета. Неожиданные ревизионистские тезисы были впервые опубликованы лишь в начале минувшего года и сразу же стали предметом ожесточенной дискуссии — и не только в академических кругах. Они потрясли многих исследователей, особенно в Израиле. Профессор Шауль Фридлендер из Иерусалима пишет, что, в сущности, Нольте теперь утверждает (хотя и в скрытом виде), будто это угроза “еврейской войны” побудила Гитлера пойти на уничтожение евреев. Нольте отвечает на слова Фридлендера оскорбленным: “Это клевета!” Спор продолжается...

Самым неожиданным во всей этой истории является то, что Нольте состоит ответственным редактором архивов Теодора Герцля, издание которых предпринимается немецким исследовательским обществом, специально созданным для этой цели. Под редактурой Нольте уже вышли три тома документов и писем из этого архива и подготовлены четыре следующих. Сейчас другие редакторы, два израильтянина и один немец, отказываются сотрудничать с Нольте. Они утверждают, что человек, который хочет ревизовать в таком духе историю Третьего рейха, не может быть ответственным за издание трудов провозвестника еврейского государства. Издатели не могут, да и не хотят уволить Нольте и в то же время понимают, что нет смысла пытаться убедить других исследователей сотрудничать с ним. Может быть, Нольте уйдет в отставку добровольно? "Если я так поступлю, — говорит он, — то тем самым признаю, что возбуждение, вызванное моими тезисами в Израиле, было оправданным. А с этим я не могу согласиться..."

Недавно издатели официально объявили, что публикация архивов Герцля временно прекращается. Разумеется, это может лишь ожесточить профессора Нольте. Чем шире разворачивается дискуссия вокруг его тезисов, тем более он утверждает в правоте своей позиции. Я ощутил это, когда интервьюировал Нольте в его доме в Западном Берлине. Его ответы показали мне, что Нольте не склонен — во всяком случае, пока — ни к каким уступкам.

— Остаетесь ли вы при своем мнении, что критика в ваш адрес является необоснованной и несправедливой? Обидела ли вас критика со стороны израильских ученых?

— Я не могу понять, почему в Израиле так остро реагировали на то, что я писал в последнее время. Ведь я, в сущности, всего лишь заявил, что сейчас, спустя сорок лет после окончания войны, наступило время для определенного пересмотра всей нашей трактовки Третьего рейха. И что такой пересмотр с необходимостью предполагает использование в с е х доступных фактов и интерпретаций, включая и те, которые доселе циркулировали только в литературе так называемого "крайне правого толка". Разумеется, использование каждого факта или толкования требует тщательной и глубокой проверки. Увы, мысль о том, что за фактами можно обратиться даже и к источникам "правого толка", не для всех, видимо, является приемлемой. Так что несогласие

с этим моим тезисом представляется мне вполне понятным и легитимным.

Я, однако, хотел бы подчеркнуть, что этот тезис исходит из общего этоса научных исследований. Научность исторического исследования по самому определению предполагает, что картина минувшей действительности будет представлена как можно более полно и всесторонне, а это значит — с учетом даже таких фактов, использование которых (или источники которых) могут “бросить тень” на исследователя. На мой взгляд, дальнейшее развитие исследований истории Третьего рейха сегодня требует как раз такого подхода. И поэтому мне кажется, что ажиотаж, поднятый вокруг моего тезиса в Израиле, не имел глубоких оснований.

Чтобы дать представление о сути нынешних споров, приведу один пример. Только обратившись к литературе “крайне правого толка”, я сумел обнаружить такой любопытный факт: оказывается, в немецкой еврейской газете за 1961 год было опубликовано высказывание судьи на процессе Эйхмана в Иерусалиме, где сказано, что Хаим Вейцман в 1939 году провозгласил приверженность мирового еврейства “британскому делу” и этим как бы “объявил войну” Гитлеру и Германии. При желании это заявление Вейцмана действительно можно трактовать как объявление евреями войны Третьему рейху. Но я как раз процитировал это заявление без всяких комментариев, ни слова не добавив к тому, что сказал судья в Иерусалиме. Так что все, в чем я “виноват” — это в следовании основным принципам научного исследования. И любой израильский ученый должен был бы согласиться со мной в этом. Вместо этого я стал жертвой личных нападок. То, что со мной не соглашаются, — это в природе вещей, задает меня другое — намеки на мой “скрытый антисемитизм” и “недобрые намерения”, которые у меня, якобы, были, когда я согласился принять приглашение поработать в Еврейском университете. Скажу сразу: если бы я принял это приглашение, будучи скрытым антисемитом, я поступил бы — в собственных глазах, прежде всего, — как безнравственный человек, я бы стыдился самого себя.

— Вас обвиняют в антисемитизме?

— На это намекают. Одни намекают на то, что я скрытый антисемит, другие говорят, что распространением своих утверждений я способствую росту антисемитизма. Я категорически отвергаю оба эти обвинения. Повторю еще раз: если бы дело обстояло так, было бы бесчестным с моей стороны соглашаться на приглашение

поработать в Иерусалиме или возглавить издание архивов Герцля. Если бы я был антисемитом, я бы не принял ни того, ни другого предложения. И тот, кто приписывает мне антисемитизм, попросту оскорбляет меня.

— Вы ссылаетесь на “научный зтос” — и в то же время придаете явно преувеличенное значение заявлению Вейцмана. Ведь это заявление совершенно не соответствовало тому, что происходило между немцами и евреями. Немецкие евреи были лояльными гражданами государства. Они никогда не выступали против власти. Напротив, существовало даже некое подобие негласного соглашения между нацистским режимом и еврейскими организациями — еврейские раввины писали Гитлеру о своей верности Германии, а немецкие евреи были уверены, что их дискриминация — явление временное и преходящее. И кого, собственно, представлял Вейцман? Раздробленную, слабую организацию, за которой не было ни государства, ни армии. Как можно в таких условиях говорить о “провозглашении войны” и на этом строить цепь причин и следствий, которая, согласитесь, неизбежно будет истолкована как попытка если не оправдать действия Гитлера, то — проявить “понимание” этих действий?

— Я здесь ничего не строил и ничего не открывал. В той статье, где я цитировал это заявление Вейцмана, я занимался, в основном, анализом работ современных историков-ревизионистов, в частности — англичанина Дэвида Эрвинга. Эрвинг — серьезный, хотя и спорный ученый. В связи с Вейцманом я привел цитату из Эрвинга, а далее добавил: “Логически говоря, нельзя с порога отбросить предположение, что заявление Вейцмана могло быть воспринято как провозглашение войны Германии”. С другой стороны, с той же “чисто логической” точки зрения мне кажется неубедительным другой тезис Эрвинга — будто Гитлер вообще не знал о массовом уничтожении евреев. Я исхожу из того, что в одной из телеграмм Гитлера (приводимых, кстати, самим Эрвингом) сказано, что “не надо уничтожать евреев”. Логика говорит, что тот, кто пишет: “Не надо уничтожать”, — скорее всего, должен з н а т ь об уничтожении. Может быть, эти детали позволят вам лучше понять мою позицию. Я говорю, что с л о г и ч е с к о й точки зрения одни утверждения Эрвинга представляются мне несостоятельными, но в отношении других его утверждений этого сказать нельзя — следовательно, эти последние утверждения должны стать предметом проверки и обсуждения.

— Не означают ли ваши слова, что вы пытаетесь сейчас отмежеваться от своей недавней оценки заявления Вейцмана?

— Мне не от чего отмежевываться. Мне непрерывно приписывают то, чего я не говорил и не думал. Неужто я настолько не разбираюсь в истории, что могу всерьез допустить, будто ненависть

Гитлера к евреям была следствием заявления Вейцмана? Обвинять историка в таком непонимании — чистейший абсурд. Больше, чем кто-либо другой, я знаю, что эта ненависть возникла еще в 1919 году и что Гитлер провозгласил войну евреям задолго до того, как Вейцман, якобы, "провозгласил войну Германии". Это само собой разумеется, и я не понимаю, почему это забывают.

— *Но вы как бы сами напросились на всю эту критику. На основании одной фразы Вейцмана выстроить целую концепцию...*

— Но это неверно! Если вы прочтете мою последнюю книгу, то увидите, что упоминание о Вейцмане является не более, чем побочным замечанием. В первом, сокращенном издании книги его не было вообще. Оно появилось только в английском издании, которое вышло в начале минувшего года...

— *И там, в этом издании, вы впервые упомянули о Вейцмане в той связи, которая вызвала нынешнюю бурю?*

— Уточним. Я сказал там следующее: в официальной литературе по истории нацизма заявление Вейцмана до сих пор вообще не упоминалось, и это представляется мне серьезным упущением. Вейцман — не та фигура, которой можно пренебречь, он представлял важную группу еврейства и то, что он сказал, безусловно, должно быть упомянуто и учтено. Но я не давал этому заявлению той трактовки, которую мне приписывают. Я вовсе не говорил, что оно было причиной решений, принятых Гитлером. Максимум, оно могло быть использовано как предлог. В этом не может быть никаких сомнений. Но у п о м я н у т ь это заявление мне представляется важным, и вот почему: не исключено (как намекает Эрвинг), что это заявление позволило Гитлеру счесть себя вправе интернировать немецких евреев — наподобие того, как Франция и Англия интернировали немцев, живших на их территории.

— *В вашей книге использовано выражение "военнопленные", а не "интернированные". Вы сейчас вносите поправку?*

— Мне кажется, что в английском переводе действительно есть термин "военнопленные", хотя в оригинале было "интернированные". Это нужно проверить. Как бы то ни было, я предпочитаю термин "интернированные".

— *Но ведь вы властны над выбором терминов. Почему же вы согласились, чтобы по-английски было написано "военнопленные"? Этот термин как раз и предполагает, что евреи находились в состоянии войны с Германией...*

— Да, вы правы, между этими двумя терминами действительно есть разница. Но, по-моему, весь контекст книги достаточно

ясно показывает, что термин “военнопленный” означает здесь вовсе не “солдата, попавшего в плен”, а нечто более широкое...

Я бы хотел тут кое-что добавить, как раз в связи с “заявлением Вейцмана”, чтобы показать, почему оно, на мой взгляд, действительно не лишено важности. Возьмите поведение юденратов или, скажем, служащих германских железных дорог, по которым шли в лагеря транспорты с евреями. Наша оценка их поведения несомненно зависит от того, что они знали — или могли знать — о целях этой перевозки. Их вина была значительно большей, если, к примеру, они заведомо знали, что евреи депортируются в газовые камеры, а не просто в лагеря для интернированных. И ответственность юденратов за членов их общин тоже разная в зависимости от того, считали они депортацию обычной мерой военной предосторожности, то есть интернированием, или чем-то большим. Вот почему мне кажется, что анализ заявления Вейцмана не лишен значения и смысла. Вместе с тем я хочу подчеркнуть, что в общем контексте книги это заявление играет совершенно побочную роль и мои критики явно преувеличили его роль в моей концепции.

— Мне кажется, что вы сами себе противоречите. С одной стороны, вы говорите о второстепенной роли заявления Вейцмана, с другой — намекаете, что оно, возможно, дало Гитлеру “право” (или предлог) видеть в евреях своеобразных “военнопленных”, и тогда оно отнюдь не второстепенно, в том числе — и в вашей книге. Я думаю, именно эта противоречивость ваших высказываний так раздражает некоторых критиков. Газеты сообщили, что профессор Фридендер, например, покинул ваш дом, хлопнув дверью...

— Если бы профессор Фридендер спросил меня, утверждаю ли я, будто ненависть Гитлера к евреям была вызвана заявлением Вейцмана, я бы спокойно и взвешенно объяснил ему свою позицию. Вместо этого он начал беседу с резких обвинений и тотчас воспарил к таким мрачным высотам, в которых не было никакой надобности. Но даже и тогда, должен заметить, мы продолжали с ним мирно беседовать еще два с половиной часа. Он пришел в возбуждение лишь после того, как я упомянул о другом вопросе — о цитате из Курта Тухольского, влиятельного немецко-еврейского журналиста веймарских времен и выразителя левых кругов, которую я тоже обнаружил в литературе “крайних правых”. Это высказывание Тухольского тоже не таково, чтобы им можно было пренебречь, — хотя, конечно, и его вес нельзя преувеличивать. Поначалу я вообще считал его выдумкой. Но оно оказалось достоверным, я это проверил. Тухольский действительно выра-

зил желание, чтобы немецкие интеллектуалы и их дети были уничтожены в газовых камерах, поскольку эти люди, по его мнению, "готовят мировую войну". Он сказал это в 1927 году.

Такое высказывание невозможно обойти. Оно входит в широкий спектр событий того времени и многое объясняет в той ненависти, которая существовала в правых кругах по отношению к левым интеллектуалам. Для себя самого Тухольский был, конечно, прежде всего левым интеллектуалом. Нацисты, однако, видели в нем прежде всего интеллектуала еврейского. Вряд ли Тухольский с ними согласился бы, но так оно было. Когда я сказал об этом Фридлендеру, он вскопчил, попросил мою жену заказать ему такси и вышел, крайне раздраженный.

— *На мой взгляд, вопрос о Тухольском неразрывно связан со всей системой ваших недавних утверждений. Разрешите мне хотя бы вкратце их перечислить: ГУЛАГ, Освенцим, "азиатская угроза", евреи как "военнопленные"... Вот те пункты, которые особенно возбуждают ваших критиков. Им кажется, что вы намекаете (если и не говорите этого прямо), будто Гитлер был — в определенном смысле — в праве сделать то, что он сделал, прежде всего — в отношении России. Но тогда возникает вопрос: даже если Гитлер имел "что-то" против русских, почему он начал уничтожать евреев? И в этом контексте появление цитат из Вейцмана и Тухольского воспринимается как попытка показать, что у нацистов были основания опасаться и евреев...*

— Мои критики приписывают мне демонические намерения. Они связывают то, что я сказал о Вейцмане в своей книге "Между мифом и ревизионизмом", с тем, что я написал в июне 86-го года в газете "Франкфуртер альгемайне". Это именно там я говорил о ГУЛАГе и "азиатской угрозе". Все это нуждается в разъяснении. Я хотел бы прежде всего заявить, что я не принимаю постулат, будто Гитлер — это феномен, который вообще невозможно постичь рационально. Для меня, как для ученого, такой постулат неприемлем. Разумеется, человек по самой своей природе способен на самое ужасное зло. Но дело историка — всегда пытаться, насколько это возможно, понять стоящие за этим рациональные причины, представить вещи так, чтобы они стали доступными пониманию. Однако тот факт, что историк о б ъ я с н я е т некое событие или человека, вовсе не означает, что он их о п р а в д ы в а е т . В принципе все, что совершают люди, должно быть доступно объяснению — в противном случае нам следовало бы вообще отказаться от занятий историей.

Вы упомянули об "азиатской угрозе". Прежде всего нужно заметить, что в моей статье слово "азиатский" употреблено в ка-

вычках и в очень специфическом смысле. Я рассказываю там, что один из самых близких к Гитлеру людей был в прошлом очевидцем армянской резни в Турции. Он пытался сделать все возможное, чтобы ее предотвратить, но, конечно, ему это не удалось. Биограф этого человека писал позднее: в самом деле, что мог сделать немецкий дипломат, когда речь шла о действиях одного азиатского народа против другого азиатского народа в соответствии с азиатскими правилами жизни и смерти? Естественно, что этот дипломат воспринял армянскую резню как нечто специфически “азиатское”, противоречащее всей европейской традиции. И тогда я задал себе вопрос: как же смогли люди, принадлежащие к этой традиции и знавшие об этой резне, сами учинить нечто подобное в отношении евреев? Я пришел к выводу, что это можно объяснить только тем, что массовое физическое уничтожение евреев произошло п о с л е другой массовой резни, хотя и другого рода — резни социальной, то есть после массового уничтожения буржуазии и интеллигенции в России. Именно эта массовая социальная резня произвела глубочайшее впечатление на множество людей в тогдашней Германии и, в частности, на Гитлера...

— *То есть вы хотите сказать, что эта “социальная резня” была воспринята как непосредственная “азиатская угроза” самой Германии?*

— Да, именно так. То, что неверно в отношении высказывания Вейцмана: будто Германии что-либо угрожало со стороны евреев — вполне возможно, было верно в отношении русской революции. То, что произошло в России, было воспринято в Германии как угроза и, по всей видимости, действительно было угрозой. Есть много высказываний Ленина и других о необходимости полного уничтожения буржуазии.

— *Другие историки говорят, что Советский Союз не представлял реальной угрозы Германии и что Сталин был бы доволен, сохранив Россию хотя бы в тех пределах, что были.*

— Это совершенно иной вопрос. Я не говорю о Сталине и его намерениях. Я говорю о настроениях, которые возникли в Германии после Октябрьской революции, о страхе перед “восточной” угрозой. Эти страхи не обязательно были полностью оправданы. Достаточно того, что они были, с одной стороны, в какой-то степени реалистичными, с другой — пусть преувеличенно, но глубокими.

— *Не оправдываете ли вы этим страхом перед азиатской угрозой поведение нацистской верхушки?*

— Я полагаю, что в плане социальном — и даже национальном — это ощущение угрозы имело под собой основания.

— *Вы имеете в виду русско-германские отношения в 30-е годы?*

— Я имею в виду классовые отношения — между буржуазией и пролетариатом. Возможно, что весь этот вопрос следует уточнить, в плане социологическом или национальном, — это я оставляю открытым, — но ощущение угрозы было обоснованным.

— *И это позволяет вам объяснить — или даже оправдать? — поведение нацистских лидеров?*

— Я убежден, что если игнорировать эти факторы: русская революция и ее угроза — мы не сможем объяснить поведение Гитлера. Это не означает, что в с е в его поведении или эмоциях было обусловлено этим ощущением угрозы с Востока. Но я утверждаю, что это ощущение было важной составной частью. И не учитывая этого, невозможно понять Гитлера — во всяком случае, в историческом плане.

— *Но почему вы пришли к такому толкованию только сейчас? Почему не десять, не двадцать лет назад? До сих пор подобные тезисы выдвигали только крайне правые историки...*

— Это совершенно неверно. Мысль о сходстве и связи между большевистским и нацистским режимами была принята как само собой разумеющееся еще в 50-е годы. Параллелизм этих двух террористических режимов в те годы не подвергался сомнению. Это прекрасно понимала Ханна Арент, это понимали многие другие. Арент говорила о большевизме и нацизме, как о двух формах тоталитаризма, принципиально отличающихся от либерально-демократических систем.

— *Но вы идете значительно дальше. Вы утверждаете, что Освенцим был реакцией на ГУЛАГ...*

— Ханна Арент считала, что уничтожение Сталиным троцкистов и уничтожение Гитлером евреев — это аналогичные явления, одного и того же ряда, если не масштаба. В сравнении с ней я действительно иду дальше: я напоминаю, что сталинская борьба с троцкистами предшествовала гитлеровской борьбе с евреями. Иными словами, в теорию тоталитаризма я вношу временной фактор, я задаю вопрос — что чему предшествовало.

— *Но тем самым вы лишаете Освенцим его уникальности...*

— Тезис об уникальности нацистских преступлений — не аксиома. Даже этот тезис может и должен быть подвергнут критическому научному обсуждению. В науке, на мой взгляд, не может быть никаких табу. Другое дело — мое личное отношение к этому

тезису. Уже в первой своей книге, "Нацизм и его эпоха", я попытался дать философский анализ уникальности нацистского "окончательного решения еврейского вопроса".

— Но сейчас вас обвиняют именно в том, что вы отреклись от своих прежних взглядов, совершили, так сказать, поворот на 180 градусов. Сегодня вы утверждаете, что Освенцим можно объяснить — или даже оправдать — предшествовавшим ему ГУЛАГом...

— Я ни от чего не отрекся и не отрекаюсь. В моей трактовке изменились, самое большее, акценты. В статье, о которой я говорил, я провел четкое различие между физическим и социальным уничтожением. Я подчеркнул, что между ними есть качественное различие и потому их нельзя отождествлять. Но с другой стороны, нельзя и отрицать связи, существующей между этими двумя видами уничтожения. Уже в своей первой книге я определил фашизм как своего рода "антимарксизм". Смысл этого определения в том, что фашизм предполагает существование марксизма, без марксизма появление фашизма было бы невозможно. Это не означает, будто марксизм тождествен фашизму или наоборот. Это означает лишь, что один предшествует другому: фашизм это реакция на марксизм, причем особенно на марксизм определенного рода — большевистский. Эту мысль я сформулировал еще в первой своей книге, и с тех пор ничего во мне не изменилось. Сегодня я просто возвращаюсь к тому, что сформулировал тогда — к тому, что, в сущности, довольно тривиально и очевидно.

Если бы кто-нибудь сказал мне, что намеревается написать историю фашизма, не касаясь истории большевизма, я бы сказал, что этот человек, может быть, и знает немецкую историю, но не является подлинным историком. То, что так возбудило моих коллег, выражаясь их языком, — это впечатление, будто я считаю Освенцим о п р а в д а н н о й реакцией на ГУЛАГ. Или, по крайней мере, понятной реакцией на ГУЛАГ. Но это неверно.

Это неверно по двум причинам. Во-первых, с точки зрения нравственности, убийство вообще нельзя оправдать, даже если оно является реакцией, ответом на предшествующее убийство. Во-вторых, создателями ГУЛАГа были Ленин и Сталин, и оба они не были евреями. Тот факт, что в создании системы ГУЛАГа принимали участие также и евреи, не был столь уж существенным для многих антикоммунистов. В отличие от них Гитлер стремился включить этот факт в свою глобальную концепцию. Вывод: "ГУЛАГ создали евреи" — был характерен именно для Гитлера.

Этот вывод относится к числу тех его странных далеко идущих обобщений, ход которых, быть может, и можно объяснить, но невозможно до конца понять. Тут всегда остается некий иррациональный остаток.

Некогда Гитлер написал произведение под названием "Большевизм от Моисея до Ленина". Он утверждал там, что Ленин был евреем. Это, конечно, абсурд. Но это очень характерный для Гитлера абсурд. Это типичный для него алогичный "перескок": от коммунистов — к евреям. За этим скачком нет никакого логического оправдания, хотя в принципе он и не необъясним.

— *То есть вы утверждаете, что этот скачок можно объяснить?*

— Я утверждаю, что нужно попытаться найти объяснение даже такой кажущейся алогичности. Я убежден, что переход, совершившийся в сознании Гитлера и его соратников: от ощущения большевистской угрозы к ощущению еврейской угрозы — не был полностью иррациональным, хотя во многом имел, конечно, иррациональный характер. Разумеется, в той степени, в какой он не был рациональным, он не поддается объяснению. Но попытаться объяснить его нужно...

— *Я хотел бы еще спросить о термине "подвести черту под прошлым". Нужно ли было использовать термин, имеющий такое хождение в среде неонацистов и крайне правых?*

— Я употребил этот термин в том смысле, что нужно подвести черту под спорами о нацистском прошлом, когда эти споры ведут к возложению коллективной вины. Эту вину сегодня возлагают на немцев, на немецкий народ, потому что такой тон задает соответствующая официальная литература. Мне неприятно касаться этого вопроса, потому что я сам немец и чувствую себя затронутым таким подходом. И если я говорю об этом, то только потому, что помню и знаю, что возложение коллективной вины (тогда — на евреев) было характерно для нацистского антисемитизма. Именно это и утверждал Гитлер: евреи повинны не только в большевизме, но и вообще во всех бедах Германии.

— *Но почему вы воспользовались термином из неонацистского лексикона?*

— Я не выбирал этот термин. Он прозвучал в одном из интервью. Мне был задан ряд вопросов и среди них — также о "подведении черты под прошлым"...

— *Создается странное впечатление. Использование термина "подведение черты под прошлым" вы объясняете характером заданного вам вопроса. Использование термина "военнопленные" по отношению к евреям при*

Гитлере — недостатками перевода. Может быть, вы просто чересчур неосторожны в выборе терминологии?

— Не думаю, что здесь дело в неосторожности. По существу, между понятиями “военнопленные” и “интернированные” нет такой уж большой разницы: согласно международному праву, обеим группам должна быть гарантирована жизнь и безопасность. Так что евреи в любом случае должны были быть защищены от уничтожения.

— Но если дело не в неосторожности, то, быть может, вы действительно поднимаете все эти провокативные вопросы вполне сознательно, выражая тем самым взгляды крайне правых националистов?

— Вот уже двадцать лет я стремлюсь создать как можно более полную и всестороннюю картину прошлого. Конечно, из такой картины всегда можно вырвать какие-нибудь спорные детали. Если бояться этого, не стоит и стремиться к полной исторической правде.

— Вы считаете, что до сих пор этой правде недоставало полноты, потому что историю Германии писали ее победители?

— Меня и в этом сейчас обвиняют тоже. И напротив, в 65-м году, после выхода моей первой книги, меня обвиняли в том, что это я, Нольте, пишу историю нацизма с точки зрения победителей. И представляю немцев в чересчур отрицательном свете...

— Не захотелось ли вам попросту изменить это мнение о себе как историке и человеке?

— Ну, какой разумный человек в это поверит?! Ученый не меняет позицию и мнения “просто так”. Но я не исключаю, что пересмотр собственных позиций, их критическая проверка, анализ противоположных соображений и новых фактов могут действительно привести меня к тому, что я задам себе вопрос: разумно ли и впредь придерживаться того, что я утверждал прежде?

Перевели с иврита А. Б. и Р. Б.

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

Вряд ли кто-нибудь возьмется утверждать, будто Испания была центром современной мысли. Даже самые начитанные из нас, да и то — если прижать, назовут, пожалуй, только Унамуно (Мигуэль де Унамоно-и-Юго, 1864—1936), да еще “этого, знаете, испанского философа... как его... Ортега” (Хозе Ортега-и-Гассет, 1883—1955). Кое-кто, возможно, назовет их в обратном порядке, но все равно — на том список и закончится. Сегодня, однако, самое время припомнить “этого... как его... Ортегу” — особенно учитывая недавний поворот Испании к демократии и модернизации.

На взгляд Ортеги, модернизация и демократия являются, в лучшем случае, всего лишь возвышенными целями. В зрелости Ортега далеко ушел от взглядов, полученных в иезуитской школе в Мадриде, равно как и от того неокантианства, которое он усвоил в Марбурге. Он выработал своеобразную форму экзистенциализма, провозгласив основной реальностью в ы б о р человеком своей жизни, здесь и сейчас (“Я есть Я — и мои жизненные обстоятельства”). Отвергая абсолютный, или абстрактный, разум, он противопоставлял ему разум как жизненную функцию — “витальный разум” (или еще “исторический разум”).

Ричард Нейхуз

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ОРТЕГУ

Хотя критики единодушно расхваливали его книги, Ортега в действительности никогда не писал книг. В духе своей философии он откликался многочисленными эссе на различные события, а затем объединял эти эссе под одной обложкой. Конечный результат отличался отсутствием систематичности, что частично компенсировалось актуальностью, — и не случайно. При всей своей нелюбви к универсалиям, Ортега питал слабость к грандиозным обобщениям, основанным на ничтожных сиюминутных фактах. Увидев, как испанец помогает иностранному туристу найти дорогу или прочитав в газетах о бракоразводном процессе, он тотчас извлекал из этого заключение о “кризисе эпохи”. Результатом были зачастую поразительные (хотя и не всегда убедительные) догадки, то и дело изумляющие непониманием простейших истин.

Некоторые из его сборников до сих пор представляют собой увлекательное чтение, в особенности “Размышления о Дон-Кихоте” и “О философии истории”. Но для тех, кто связывает имя Ортеги с одной-единственной книгой, ею несомненно является сборник 1929 года под заглавием “Восстание масс”.

“Восстание масс” остается, без сомнения, классическим произведением, — во всяком случае в том жанре, который образует рубрику: “Что случилось с нашей цивилизацией?” Случилось с ней, по мнению Ортеги, то, что она породила “массового человека”. И если тому есть лекарство, то оно состоит в создании “новой Европы” под руководством “избранных людей”, которые отважатся подчиниться “европейской судьбе”. Еще в юности Ортега, этот потомок аристократической и литературной испанской семьи, отдал свою привязанность “святой троице” стран — Франции, Англии и Германии. Если его Испания и не могла быть причислена к этому возвышенному кругу, она, по крайней мере, находилась, в его глазах, вблизи божественного престола, тогда как всякие нувориши, вроде Соединенных Штатов и России, едва ли имели право восседать даже среди ангелов низшего класса.

Предельно европоцентричные взгляды Ортеги — не единственная трудность, с которой встречается современный читатель “Восстания масс”. Он увидит, например, что Ортега, в сущности, одобрял многое из того, что неизбежно приводило к появлению массового человека, одновременно осуждая результат этого процесса. В частности он приветствовал развитие технологии и принимал принципы либеральной демократии, — во всяком случае, привет-

ствовал кое-что в технологии и принимал кое-что в либерализме. Конечно, его взгляды можно "осовременить", но вряд ли это не сделает более убедительным автора, который на одной странице заявляет, что "главной бедой" Европы является "утрата ею морального кодекса", а на следующей утверждает, что спасением для Европы является быть "еще более европейской".

"Восстание масс" остается классической книгой не потому, что она глубоко убеждает, а скорее потому, что она яростно обличает. Последовательность аргументации здесь принесена в жертву задаче внушения, и Ортега, используя блестящие афоризмы и сверкающие метафоры, неумолимо ведет читателя к признанию, что, да, наш мир действительно таков. Но еще чаще читатель начинает думать, что это "их" мир действительно таков — мир массовых людей, варварское бескультурье которых опошляет и извращает все то, что "мы" — вместе с Ортегой — почитаем за высшую ценность. Как пишет Сол Беллоу, "Ортега считает, что мы, на Западе, живем под диктатурой пошлости". Диктатором является массовый человек, которого однако не следует путать с "массами", как участниками социальных конфликтов. Массовый человек — это не пролетариат, а люди любых классов, особенно правящих, которые забыли, что цивилизация требует постоянного выбора и постоянного обновления. Массовый человек это варвар, который с недавних пор правит всеми нами.

В 1929 году, когда "Восстание масс" вышло первым изданием, Ортега описывал массового человека следующим образом: "Он обладает врожденным и глубоко укорененным убеждением, что жизнь должна быть легкой и богатой, без всех ее трагических ограничений; он воодушевлен чувством власти и успеха, которое ведет его к принятию себя таким, каким он есть в его моральном и интеллектуальном плане. Эта самоудовлетворенность приводит его к отрицанию всякого внешнего авторитета, нетерпимости к чужому мнению, отказу от обсуждения своих взглядов и пренебрежению взглядами других. Он стремится навязать свою волю и присутствие. Он ведет себя так, словно в мире существуют только он и ему подобные и потому он стремится во все вмешаться, повсюду проталкивая свои пошлые суждения — без колебаний, раздумий, осторожности или обсуждения".

Массовый человек это "испорченный ребенок", который считает само собой разумеющимся свое право "безгранично распространять свои жизненные аппетиты" и отличается "полной бес-

чувственностью ко всему, что сделало возможным безмятежность его существования”.

Противоположностью массовому человеку является “избранный человек”. Ортега не описывает его столь детально; видимо, он считает, что достоинства становятся очевидными из описания пороков. Хотя Ортега и не говорит этого прямо, его избранный человек избран самим фактом своего избранничества и еще — своей способностью к выбору. Поэтому избранного человека точнее было бы назвать выбирающим человеком. Он выбирает принять на себя свою избранность и свою судьбу — в полном соответствии с ортеговским принципом “Я есть Я и мои жизненные обстоятельства”.

Описывая эти обстоятельства, Ортега прибегает к терминам из описаний кораблекрушения. “Только потерпевший полное крушение мыслит аутентично, — пишет он. — Все остальное это риторика, поза, фарс. Кто не чувствует себя окончательно потерянным, потерян окончательно и безвозвратно, он никогда не отыщет себя, никогда не осознает свою реальность”. Образцом избранного человека является философ, этот “божественный диссидент”, этот “обрубок”, вечно взыскующий недостающей истины. В отличие от массового человека из толпы, избранный человек, вместе с Кьеркегором, знает, что толпа не истинна. Только осознав, что он потерпел крушение, такой человек становится “аристократом”, способным — и обязанным — взять на себя ответственность за свое будущее.

Со времени появления “Восстания масс”, оно удостоилось множества похвал со стороны левых интеллектуалов — в ряде случаев, несомненно, по той простой причине, что они не пошли дальше заглавия. Однако другие левые оценили книгу по существу, увидев в ее массовом человеке продукт капиталистического потребительского общества, жертву мажоритарной ментальности, присущей буржуазной демократии. В то же время по мнению либералов Ортега — неисправимый элитист. Он считает, что культура всегда находится в грозной опасности и потому лишь просвещенное меньшинство (избранные люди) способно переоткрыть и переформулировать тот социальный порядок, который обеспечит послушание масс, живущих без всяких усилий и плана. В одной из своих ранних работ Ортега писал: “Там, где правительство игнорирует активное участие большинства, нет политически здорового климата. Вот почему политика всегда казалась мне заня-

тием второго сорта". В действительности однако Ортега испытывает отвращение не просто к массовому человеку, но и к массам вообще, то есть к обыкновенным людям. Ортега пишет, что предпочитает демократию; он мог бы признаться даже в любви к ней, если бы она не предполагала такое множество людей. Один из почитателей Ортеги писал, что "его избранные люди не являются элитой, это просто избранное меньшинство, и только либералы упорно видят в Ортеге "элитиста". Однако что бы ни говорили почитатели, это не может изменить того факта, что блестящий анализ Ортеги во многом подпорчен особенностью, которую точнее всего было бы назвать обыкновенным снобизмом.

"Самым важным фактом общественной жизни Запада, — пишет Ортега в начале своей книги, — является появление массового человека на вершине социальной лестницы". Далее он доказывает, что это абсолютное зло, демонстрируя, как вульгарные толпы заполняют театры, рестораны и экипажи, некогда предназначенные исключительно для аристократов. Суть дела, утверждает он, состоит в переизбытке населения, порожденном комбинацией технологии и либеральной демократии, которые ведут к размножению "социального животного". Европа переживает кризис, потому что "цивилизация становится все более трудной и сложной, а между тем лишь считанные ясные умы способны найти решения, тогда как плебейское тело Европы предпочитает совсем иную голову на своих плечах..."

Такие рассуждения были бы тривиальностью в любом современном "светском" салоне. Когда Ортега пишет о людях, которые не хотят согласиться со своими "обстоятельствами", нам зачастую очевидно, что, по его мнению, им попросту следовало бы "знать свое место". Разумеется, одаренность редкий продукт, и те, кто наделен ею, образуют своеобразную элиту. Но не нужно быть таким уж антиэлитистом или популистом, чтобы ощутить раздражение, видя, как Ортега свысока презирает все виды одаренности, кроме интеллектуальной, то есть своей собственной. Я боюсь, что все эти годы многие читатели, как слева, так и справа, восхваляли "Восстание масс" по той единственной причине, что эта книга убеждала их в ощущении своего превосходства над обычной разновидностью человеческой породы.

А жаль, потому что книга заслуживает лучшего. В момент ее появления над миром уже нависла угроза тоталитаризма, и мало кто столь ясно различал эту форму современного варварства,

как Ортега. "Фашисты, — писал он, — это первые образчики нового человеческого типа, который не считает необходимым оправдывать свое поведение и даже вообще задумываться над вопросом своей правоты, а попросту решает навязать остальным свою волю. Это поистине ново: взять себе право вообще не думать о правоте, провозгласить резон, состоящий в отсутствии резонансов..." В паре с этим идет, отмечает он, одержимость идеей "непосредственного действия". В цивилизованном обществе насилие является крайней мерой, но у фанатиков "непосредственного действия" оно становится главной и даже единственной мерой, главным и единственным своим резонансом.

В ходе пороку злой, пороку язвительной ортеговской полемики определение массового человека постепенно становится до невозможности противоречивым. В одном месте это человек, почти религиозно приверженный идее "быть, как все", в другом это иконоборец, решивший "быть непохожим на все, что было до сих пор". Сол Беллоу не уверен, что ортеговский массовый человек с его необоснованной самоуверенностью и гнетущим конформизмом очень уж похож на "среднего человека" наших времен. Но если массовый человек — это иконоборец, а не конформист, то мы, дети плюралистической культуры, имеем основания даже симпатизировать ему. Ортега упорно повторяет: "Человек обязан решать, он обязан непрерывно выбирать". Сегодня почти каждый стоит перед лицом того, что Питер Бергер назвал "еретическим императивом" — неизбежностью выбора своей социальной идентичности. И если некоторые выбирают причудливые и недостойные роли, то, быть может, виной тому распад культуры, в которой уже не осталось никаких стоящих альтернатив? Ортега говорит об этом крахе культуры, но его одержимость массовым человеком приводит к переносу на него всей вины. "Я утверждаю, — пишет он, — что нет культуры там, где нет норм и стандартов, которыми могли бы руководствоваться наши сограждане". Но чуть далее он приписывает это "вертикальному вторжению" массового человека, то есть нежеланию посредственности "знать свое место" и узурпации ею мест, предназначенных для сильных мира сего. А еще дальше он говорит о "вторгающихся джунглях", то есть о людях, не знающих законов цивилизованного мира. Куда справедливее было бы возложить вину на элиту избранных, на людей, подобных ему самому, которые, в конечном счете, и являются ведь стражами культуры...

“Восстание масс” — неверное название для книги, которую хотел написать Ортега. Точнее было бы назвать ее “Предательство интеллектуалов”, если бы Жюльен Бенда за два года до того не использовал уже это заглавие. Ортега и сам не вполне уверен, что является причиной кризиса: вторжение массового человека или капитуляция избранных людей. К сожалению, он в конце концов останавливается на первом объяснении, что — иронически — лишь усиливает в избранных людях их самодовольство.

В этом плане и вопреки намерениям Ортеги “Восстание масс” несомненно внесло свой вклад в превращение реальных (или потенциальных) “избранных людей” в массового человека, тем самым способствуя той вульгаризации жизни, которую книга осуждает. И что еще более осложнило проблему, так это то, что массовые люди, которым тоже понравилось “Восстание масс”, сочли себя на этом основании избранными. Доказательством тому в их собственных глазах было их полное и искреннее согласие с Ортегой, — а ведь он уж заведомо был избранный человек! Бурно аплодируя прокурору, преступник не заметил, что сидит на скамье подсудимых. Так зачастую бывает с пророческими инвективами, столь убедительными по форме и всеохватывающими по содержанию.

Выход из кризиса Ортега видит в “естественном”, “витальном” принятии своей судьбы. Исторический момент такого принятия является, по его мнению, прежде всего и исключительно моментом в р о п е й с к о й истории. Ибо если в мире царит растерянность, то это потому, что “распространился слух, будто Европа намерена отречься от подчинения своим законам”. И тогда люди останутся без “императивов”, ибо “единственные существующие императивы это императивы европейские”.

А поскольку люди не могут жить без императивов, “вскоре раздастся вопль, который поднимется над планетой, как вой одичавших собак на звезды, и будет призывать кого-то или что-то взять на себя эту миссию”. Европа должна ответить на этот призыв, ибо судьба Европы — повелевать, “давать людям чувство предназначения, возлагать на них их ношу, наделять их судьбой”. Можно отметить в скобках, что на этот призыв вскоре “ответил” Гитлер и ему подобные, но тут Ортега, вероятно, возразил бы, что нацистское завоевание было полной противоположностью его идее воссоздания европейской нации. Нацизм, сказал бы Ор-

тега, был как раз следствием того, что Европа уклонилась от своей судьбы.

Все малые национализмы Европы должны уступить паневропейскому национализму. От этого, по мнению Ортеги, зависит будущее не только Европы, но и всего мира, ибо мы живем в мире, где "каждый либо повелевает, либо повинуется". Ортега был нескрываемым империалистом. Малых мира сего не следует, впрочем, угнетать — им нужно предоставить возможность "участвовать в созидании, в реализации великой исторической судьбы... Иными словами, не может быть империи без программы жизни, без программы имперской жизни". Такая программа должна быть выведена из императивов, а императивы, опять-таки, являются европейскими. Стало быть, дело не в том, что всегда будут существовать повелители и повелеваемые, — дело лишь в том, кто именно будет повелевать и кто — подчиняться. Предпоследняя глава книги называется "Кто правит миром?" и начинается с утверждения, что кто бы им ни правил, он оказывает влияние на мир, как целое. Править — это органично для правителя и потому его право править признается повсеместно. "Правление есть естественная реализация авторитета и всегда основано на о б щ е с т в е н н о м м н е н и и, одинаковом сегодня и десять тысяч лет назад, в цивилизованной Англии и среди бушменов". Нельзя править с помощью принуждения или преимущественно принуждения. Ортега сочувственно цитирует ответ Талейрана Наполеону: "Государь, штыки годятся для чего угодно, только не для того, чтобы на них сидеть". Отсюда Ортега заключает: "Чтобы править, нужно с и д е т ь на чем-то, будь это трон, судейская скамья, епископское кресло или место в парламенте. Вопреки расхожему мнению, власть — это вопрос не столько твердой руки, сколько прочного места". Ибо власть "покоится на мнении, а следовательно на духовном начале, власть есть в конечном счете вопрос духовного авторитета".

Но проблема, уже очевидная в конце 20-х годов, как раз и состояла в том, что духовный авторитет Европы, а следовательно ее право управлять миром, более не признавались этим миром. Шпенглер и другие уже написали о духовном закате Европы, но Ортега не хотел этого признавать. По его убеждению все дело было в "массовом человеке" других стран, который не хотел признать естественное превосходство Европы, а также в массовом человеке самой Европы, который препятствовал ей быть самой

собой. Ортега считал духовный авторитет Европы и ее право править самоочевидными. Сложность состояла в том, что те, кому это не было само собой очевидным, должны были принять это на веру. Если же находились такие, которые требовали доказательств, тем хуже для них. Уж во всяком случае от Ортеги они не дождутся уговоров. "Я есть Я и мои обстоятельства". Европа есть Европа, и ее судьба — править миром.

Ортега мало знал Соединенные Штаты и, судя по всему, хотел бы знать еще меньше. Его раздражали "неумеренные похвалы Соединенным Штатам, расточаемые в Европе... даже образованными людьми". Говорят, к примеру, будто за Америкой большое будущее, поскольку у нее передовая технология. Прежде всего, отвечает Ортега, технология это европейское творение. Во-вторых, что еще более важно, люди не могут жить одной технологией, которая является всего лишь "практически полезным осадком избыточных, непрактичных занятий и размышлений". Америка для Ортеги — символ самого ненавидимого: Бунта. Бунт "означает отказ принять свою судьбу, это бунт против самого себя". Ортега не говорит этого прямо, но можно догадаться, что Америка взбунтовалась против самой себя, когда отказалась, чтобы ею правила Европа.

"Восстание масс" многие годы превозносили как "пророческую книгу". В связи с вопросом, кто правит миром, интересно посмотреть, что Ортега говорит о России. Оказывается, не так уж много. Большевицкая революция это унылое повторение, которое "не обошло и не исправило ни одной ошибки предшествующих революций". Поэтому "то, что произошло в России, не имеет никакого исторического значения". И вообще, независимо от революции, "русские живут в иной эпохе, отличной от нашей". Подобно американцам, это народ-дитя, натянувший на себя исторический костюм взрослого человека. В случае Америки таким "костюмом" является технология, в случае русских — марксизм. В действительности, однако, "Россия в той же степени марксистская страна, в какой германцы в Священной Римской империи были римлянами".

Такой взгляд на отношения между Россией и марксизмом и сегодня имеет своих приверженцев. Солженицын и многие другие, вероятно, согласились бы с утверждением Ортеги, что "сила России состоит в том, что является русским, а не в том, что является коммунистическим". Но в отличие от Ортеги они знают, что

как бы ни слабы были связи России с марксизмом, именно марксистская Россия стала мировой сверхдержавой, тогда как Ортега считал, что России понадобятся для этого столетия и она станет такой силой благодаря тому, что она Россия, а не благодаря тому, что она коммунистическая Россия. Не соглашаясь с коммунистической доктриной, Ортега тем не менее не был согласен и с теми, кто надеялся на ее скорый крах. "Чем ждать краха этой экстравагантной нравственности, лучше было бы предложить новый нравственный кодекс для западного мира, новую программу жизни на земле..."

Но Европа не могла предложить такой программы, ибо, по словам самого Ортеги, она "утратила свой моральный кодекс". И это вынуждает Ортегу вернуться к утверждению, что Европа должна стать Европой. Править миром — это обстоятельство европейской судьбы. Это необходимость, а необходимость имеет оправдание в самой себе. "Существование истинно лишь тогда, когда мы ощущаем, что наши действия неотвратимо необходимы".

Но не подкрепляет ли этим самым Ортега претензии массового человека не оправдывать свои действия? Несколько ранее Ортега сам утверждает, что культуры нет там, где нет норм и стандартов, по которым могут разрешаться эстетические споры, где не признается "необходимость оправдания произведения искусства". Но если даже произведение искусства нуждается в оправдании, то уж право управлять миром тем более нуждается в том же, иначе правители становятся варварами, даже если при этом остаются европейцами. Но Ортега не может дать такое оправдание и потому возвращается к своей идее "необходимости, продиктованной обстоятельствами", которые составляют судьбу...

"Восстание масс" остается классической книгой по многим причинам, и не в последнюю очередь -- по причине классической последовательности автора в своих заблуждениях. Обвиняя массы в том, что произошло с миром, Ортега совершил типичный грех "обвинения жертвы". Далее, при всем уважении к тем, кто правит миром, нельзя не заметить, что Ортега не увидел пути, на котором Америка воплотит европейские императивы. Имея дело с идеологическим и военным вызовом Советского Союза, рискованно сидящего на штыках, Америка сегодня тем не менее правит миром в том смысле, что "влияет своим авторитетом на мир в целом". Но это "обстоятельство" вряд ли можно объяснить в духе ортеговских объяснений европейской гегемонии. В том огра-

ниченном смысле, в каком Америка имеет сегодня "прочное место", она имеет его по совсем иным причинам. Ее авторитет основан не на обстоятельствах и необходимости, а на разумности и нравственности. Более того, этот авторитет ищет себе обоснования в абстрактной идее — идее демократии. И ищет этого обоснования именно у тех, кого Ортега так презирал.

Ортега утверждал, что "духовный авторитет" правителей выражается в почтении, которое подданные выказывают своим естественным владыкам. Демократический авторитет, напротив, выражается в уважении, которое правители выказывают подданным, вплоть до готовности переступить границу между собой и ними. Таким образом, теория и предсказания Ортеги блестяще соответствуют состоянию современного мира — только с точностью наоборот. Но если даже прошедшие пятьдесят лет и опровергли идею "Восстания масс", эта книга все равно остается ослепительным проникновением в то, что могло бы быть и — кто знает? — возможно, было бы лучше...

Перевел с английского Р. Б.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НЕЛЛИ ГУТИНА

"ЖУРНАЛ"

Актер и Актриса, занятые в спектакле о терроризме, оказываются участниками реального террористического акта, и зрительный зал становится его сценой...

Советские подпольные комбинаторы создают тайную экономическую империю в СССР...

Моше Рабейну спорит со своим двойником, и Мария, мать Иисуса, замышляет заговор против Бога...

Автор "Журнала", он же его герой, критик, интервьюер и участник дискуссий, населяет книгу множеством отражений, которые спорят друг с другом, с читателем и редактором, вовлекая всех в увлекательный мир напряженной драмы, остросюжетного детектива и интеллектуальной интриги.

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячами лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 долл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

РУССКИЙ ВОПРОС

Некий сначала разозленный и растерянный, а потом увеселившийся абсурдностью судьбы эмигрант (и потому если даже усталый, все равно ни на йоту несдавшийся! несдавшийся!) шлет запоздалое признание господину Лимонову, автору романа "Это я — Эдичка".

Ибо книга эта, по мнению эмигранта, не просто книга, но явление русского духа, — того самого, который умеет волшебным приручить, зазначить по своей форме, навсегда сделать своим рабом... а-а, вранье, нечего с больной головы на здоровую перекладывать, носик-то Бура-тино выскакивает по собственной форме все равно... но как бы то ни было, эмигрант аплодирует явлению русского духа, который жив, жив, курилка! — и это когда? в такие трудные для него времена? Еще раз: урра!

Тут эмигрант, автор статьи, переводит дыхание, поскольку чувствует, что размахнулся на полную катушку, после чего может случиться, будто кулаками по пустому воздуху: ишь ты, сразу объявление на русский дух, никак не меньше, и главное по поводу чего: какой-то не то порнографической, не то сплетнической и вообще аморальной и безнравственной книжки...

Но вот, кажется, зацепка.

Александр Суконик

АПОЛОГИЯ Г-НА ЛИМОНОВА,
или почему я полюбил
огнь конца мира
(атомной бомбы?
всемирной революции?)

Вместо того, чтобы философствовать в лоб, забираться в дебри высоких слов, автор возвращается к словам “запоздалое признание”, выделяя “запоздалое”: не странно ли несколько для человека, озабоченного, по-видимому, почти небесными (духовными) проблемами, проявление такого, гм, гм, равнодушия к труду со товарища по перу в течение стольких лет?

Ах, ну конечно, ведь когда мы говорим о духовном и духе, то мыслим монбланно, а где высота, там доброта и благородство и вообще неизвестно что. Пик Льва Толстого, пик Достоевского, Лермонтова, Пушкина... о, уходящая вдаль незабываемая гряда, — да, были люди не в наше время. Богатыри. Правда, не во всем и не всегда безупречные: иногда вместо того, чтобы с горы вещать, из подполья повизгивали, иногда бессмысленной злобой исходили, но ведь это так, преходяще, то есть забываемо и как бы несуществуемо, и издалека объяснимо и прояснимо, не правда ли?

Ха, ха, дух это высота и еще широта — “обнимитесь, миллионы!”, “человек — это звучит гордо!” и прочее и прочее, как тот стереотипный образ песни, льющейся из самого что ни на есть сердца (разумеется, широко открытого), благая истина, вещаемая с высокой трибуны неким пророком на оперный манер (откуда и подозревается жанр оперы), луженая отверстая глотка, исходящая округлым громогласным благозвучием, колесом вперед грудь циркового силача, та самая грудь, которая, однако, гипертрофирована эмфиземно... Но почему заикался Моисей, будто слова проходили с т р у д о м ?.. И опять же те “узкие врата”, “игольное ушко”, которые как-то согласуются с прохождением между Сциллой и Харибдой, где дух, чтобы проскочить, должен сам ужаться и плоть сократить, дабы не расширилась и застряла на соблазн слабостных звуков?

Теперь — возвращение к тому самому “запоздалое”: оборачиваясь назад и созерцая самое себя только что перепорхнувшим океан, автор не находит ничего оригинального, выдающегося. Стандартная словесная встрепанность, комическая падкость на воспаленные обобщения, переходы от восторженных восклицаний в адрес нового к издевательским отрицаниям, подозрительность, нервность, ревность, умноженные во много раз, и при этом всем в глубине души холодной лягушкой — мертвенность, безнадежность. Перескакивая через десятки, сотни страниц, написанных разными людьми и содержащих разные многочисленные

объяснения, соображения и анализы по поводу эмиграции, автор хочет указать на еще одну причину подобного состояния: увы, ведь это еще один этап поиска русского духа оканчивается... гм, гм... разочарованием? Нет, слово слишком конечное и отпускающее: разочарование, как расставание, ха, если бы расстаться с ним, духом, забыть... но черта с два.

Господа-читатели, автор задает себе вопрос: чего он ожидал от эмиграции в конечном счете? Ну да, отбрасывая обычную эмигрантскую надежду на златые горы и реки полные вина, на всеобщее и моментальное признание (неважно и не совсем ясно, в чем и кем) значительности его личности и конечной ее правоты, какова была та подспудная мечта, которая вроде бы сама собой разумеется и ничего не стоит, но живет в нас глубже и насущней других? Ответ следует незамедлительно: автор не сомневался, что совершает путешествие из области меньшей свободы духа в область большей. А как же иначе? Он покидал государство, которое, вроде бы, установило исторический прецедент по успешному уничтожению духовной свободы индивидуума, ведь этого, кажется, никто уже не оспаривает? То есть, он испытал на своей собственной шкуре, что это такое, когда с детства, игрушечным еще вагончиком, запускают тебя по рельсам в узкую шахту советского понимания действительности в разрезе "мы—они", гонят тебя вдоль забоя, чтобы выдать на-гора человеческий уголек унифицированного стахановского качества, чтобы не затухал никогда священный огонь революции... Когда с пионерских, пламеня галстуком, проходишь горнило, так сказать... Впрочем, какие тут огонь, горнило и прочие "горящие" сравнения? Туфта ведь все это, официоз, пропаганда, соцмакулатура, и если говорить о реальности, то единственным напряжением крайности была в нас эта знаменитая советская остервенелость, которая от стояния в очередях и прочих крайних трудностей. Но вообще говоря, куда скорей походила наша жизнь на сырую серость штукатурки. Замешивали нас по стандартному рецепту в растворомешалке, разливали по поверхности страны, растирали одним и тем же мастерком, а потом (если сильно повезло) накатывали трафаретом — ну, это уже тебе дар судьбы, так сказать, и образец социалистической эстетики. И вот мы знали про себя: что сцементированы в серую плоскостность, и что это и есть несвобода. Что государство привязало нас к себе носом к носу, да так, что носы сплюснуты, что глаза во всевидящие глаза, отвести невозможно. И холодной лягушкой мысль, что по

человеческому составу мы и вправду ближе к Олегу Кошевому, чем к Пьеру Безухову.

Но как избавиться, как освободиться? И оборачивались в прошлое, к упомянутым выше гигантам: ведь обладали они магией свободы ставить с такой легкостью общечеловеческие, коренные, д у х о в н ы е вопросы! И по той же причине оборачивались к Западу, волшебному Западу, где ничего не стоит возникнуть неореализму, а за ним Феллини! Или от театра Брехта перейти к театру абсурда! (Новизна художественной формы как эквивалент ответа на современный духовный поиск.) Или от Кьеркегора перейти к Хайдеггеру, а от Хайдеггера к Камю и Сартру, а от Камю и Сартра к Леви Строссу и так далее. Вот каковы последствия некоей цветной, разнообразной, полнокровной жизни, освобожденной от идеологических шор, раскованной духовно жизни! То есть, понимаете, господа, к чему ведется? Опять к тому же, что в нашем представлении дух окончательно и бесповоротно устанавливался, как широта и высота, нечто противоположное ужатости и искаженности. Была ли наша жизнь ужата и искажена до карикатурности? О да, о да. Была ли официальная духовность — фальсификация, формальность, стереотип, насмешка над духовностью? О да, о да. Из коего силлогизма — предыдущий вывод. Может ли молодой талантливый писатель Олег Кошевой написать "Войну и мир"? О нет, о нет, в лучшем случае "эдакую" повесть, молодежную или деревенскую, с "проблемой" или в крайнем случае, превратившись в лагерях в антисоветчика, антисоветскую же вещь о лагерях. Но только тот, кто белея одиноким парусом, сумел удалиться (освободиться) от сиюминутных бурь... только на него и надежда!

О, подобная концепция эстетической и духовной иерархии была, была — что говорить — неотъемлемой частью нашей духовной жизни! Зал Политехнического Института мог быть переполнен и внимать с восторгом и злорадством либеральной лекции с подковыркой, для России это не ново, да и для — вообще где угодно. Но новизна была в том, что политическим событием становились лекции Аверинцева по античной культуре. И не только потому, что запретный плод сладок, что просыпалась жажда по "расширению себя во времени" (недопустимая для марксизма вещь, поскольку последняя и окончательная истина сказана им и только им), и еще меньше потому что просто хотели культурного обогащения. Тут дело было в ином тоне, подчеркнуто эдаком спокойно объективном, а ведь еще не так давно за "объективизм" сажа-

ли и расстреливали. С семнадцатого года спокойный тон репрессировался и искоренялся, пока, наконец, практически не исчез. Спокойный тон безошибочно, животным чутьем, вынюхивался "не нашим подходом к действительности", и даже "белогвардейское отребье" и "американские империалисты" лаялись со страниц советских газет совершенно на советский манер, только что напротив. Но это-то "напротив" все равно уравнивало, все равно было лучше для господствующей идеологии, чем что-нибудь другое, тайное, подозрительное, "не наше". Спокойность тона подразумевала объективность мышления, культуру языка и прочие вещи, связанные с иным уровнем духовности, который — увы, увы, мы знаем! догадываемся! — существовал когда-то или существует где-то, но только не в нашем времени, не у нас. Идя на лекции Аверинцева, мы хотели не просто узнать о других временах ("расшириться"), но и примерить себя к ним, склониться перед ними, попытаться как можно более полно перенести сь в них, покидая при этом, по возможности, свое время. То есть, двойное перемещение во времени. Мой приятель, известный литературовед, рассказывал, что, достав на ночь из "Нового мира" рукопись "Одного дня Ивана Денисовича", прочитал ее три раза подряд, чтобы сбить впечатление от темы. То есть, он был под огромным художественным впечатлением, но испугался, не повлияла ли злободневность темы, ее социальная острота. Понимаете? Это ведь замечательно! Повторим еще раз: он ощутил художественную цельность вещи, но хотел себя проверить. Таково, кроме всего прочего, было последствие исторической роли так называемой "передовой" русской мысли и критики, приведшей к соцреализму, а затем по замкнутому кольцу безнадежности — к "передовому" Лакшину и ему подобным. Такова была степень дискредитации социальной реальности своего времени, как сюжетного компонента — после того, что было сделано писаревыми-добролюбовыми в деле разрыва формы и содержания и возведения сюжетного компонента на высоту категорического императива. Но советская власть поставила точку. Мой приятель предпочел бы проверить художественность солженицынских писаний на чем-нибудь более нейтральном (спокойном), и вот когда появился "Матренин двор", то его с такой наметкой в уме и читали и даже, кажется, лакшинского типа критики: тенденция прикидывать по титанам и гигантам прошлого охватила всех. Но прикидывая "Матренин двор" выше "Ивана Денисови-

ча" на том основании, что меньше "злобы дня" и, следовательно, больше "общечеловеческого" (а почему "следовательно"? потому что похоже на то, как раньше, на "как было", а не на "как есть"?), забывали, что никто никогда не стал бы ставить по таким же резонам "Записки из мертвого дома" ниже — скажем — "Униженных и оскорбленных". Выходило как будто, что реализму жизненных крайностей иных времен доверяли больше, и не потому, что подобно просоветским деятелям не желали смотреть правде в глаза, но напротив, потому что воспринимали свою жизнь, как искаженную крайность, и отказывали ей вообще в правде существования. И если какая-то ее часть существует, то лишь поскольку походит на существовавшее раньше "когда-то" (для славянофилов и почвенников), или существует "где-то" (для демократов и социалистов). Закономерный вывод.

Да, да, свое время — то есть, настроенность на свое время отвергали все. Славянофилам это как будто и полагалось — воспевать благодатную старину, тишь да гладь, да в эту гладь глядеться, а если отразится вдруг не оперный Илья Муромец, а какая-то мерзкая харя там, так это искажение, рябь от набежавшего "не нашего" поветрия, западного ли, еврейского ли. Но и демократы далеко не ушли, поскольку рассматривали "сегодняшнее", конкретное, с точки зрения, насколько искажено, "не вышло" по сравнению с замышленным или тем, что на Западе (то есть не осуществилось, то есть не существует).

Так осуществлялось в буквальной точности слово, которым до сих пор привыкли разбрасываться образно-условно: "безвременье". Осуществлялось, вероятно, впервые с доисторических времен, поскольку в этом-то и заключалась мощная задача советчины: остановить время и остановить развитие во времени, мол, хватит, баста, человек слишком устал от этого развития, которое ему все равно не принесло ничего хорошего. Осуществлялось все тем же безошибочным методом: с одной стороны убиением на корню всего нового, живого, развивающегося, а с другой — фальсификацией (уничтожением) слов, понятий, идей при помощи трескучих фраз-лозунгов о "новом времени", о "невиданном развитии" и прочее.

Да, да, это надо понять, силе этого приема нужно отдать должное: как только время остановлено ("остановись мгновение, ты прекрасно") человек теряет ощущение времени и немедленно, как следствие, теряет самого себя. И, потерянная душа, окружает себя

зеркалами, лихорадочно в них вглядывается: вот официальное зеркало "светлого будущего", вот зеркало идиллического прошлого, вот зеркало заманчивого Запада. И крутится в разные стороны, примеряет одежды, и та к лицу, и эта, и боярский расшитой кафтан, и ковбойская кожаная куртка, ну-ка зеркальце, мой свет и т. д. Подлецу все к лицу. П-о-д-лецу, то есть, тому, кто п-о-д-о всеми (ниже всех), то есть, п-о-д-ЛИЦУ, у кого нет своего лица, и тому терять все равно нечего. Каково испытание.

Но все равно человек остается человеком по одному тому, что в нем живет беспокойство, и он продолжает игру, которая, может стать, в какой-то момент перестанет быть игрой. У человека всегда есть шанс "доиграться", и вот он входит в одно из зеркал, целиком уже растворяется в нем — и скажем в мгновение ока приземляется в стране Америке, городе Нью-Йорке, и... И что же? Да ничего особенного, кроме того, что с первого же мгновения не головой, не сердцем даже, а печенкой ощущает, что в с е н е т о , и мало того, что не то, но — чем дальше, тем все больше не то будет.

Окунается он, например, поначалу в печатное слово, воспроизводимое буквами русского алфавита некими людьми, именующимися эмигрантами какой-то там волны (вот еще: "там на заре нахлынут волны...") — и-таки в шлемах они и в кольчугах антикоммунизма, да еще какого примитивного! Подумать только: еще недавно разве не открывал он с трепетом, сидя в московской своей квартире, журналы и книги, с трудом просочившиеся "оттуда", ища магическое слово поучения и откровения свободы духа, сиречь раскрепощения (или как у Лимонова — "расслабления") — но как только ступил на иную землю, сразу спадает с глаз романтическая пелена... ну ладно, скорей всего потому, что большие люди умерли, осталась от того поколения мелюзга, китайские болванчики, оловянные солдатики, закаменелые стариканы... И этот язык их старорежимный, не имеющий отношения к реальному языку сегодняшней России, кулуар и салон, у нас же — "в кулуарах такого-то съезда партии" и в салоне-парикмахерской... (Ага, так начинается осознание с в о е г о времени: в сравнении и со стороны, так показывает зубы "доигрался".) Но если бы дело ограничивалось только этими людьми, тогда бы полбеды, но вдруг он видит, как весь Запад охвачен такими же черно-белыми страстями, весь мир политизирован, и похлеще советчины, то есть, искренней, по собственной инициативе — левые против правых, пра-

вые против левых, и никакой тенденции к послаблению, к этому шолоховскому: "говорят, у советской власти выросли два крыла, левая крыла и правая крыла. Когда она снимется и улетит к такой-то матери?" Ну да, теперь он с тоской вспоминает, что в Москве или Ленинграде кто же, кроме диссидентов, пережевывал каждый день политическую жвачку? Да ведь насколько там свободней жизнь была без здешнего поджаривания прессой и телевидением, без непрерывной агрессивности борьбы группы против группы, класса против класса, этники против этники! И чем проще люди были, тем скорей разговор о Платоне или Конфуции, а к политике ироническое отношение... И даже не в Платоне и Конфуции дело, но в тенденции и иерархии ценностей... эх...

И тут перед ним будто пропасть оказывалась. Как будто рушились самые основы мироощущения и миропорядка. То есть, конечно, он мог и такую точку зрения взять: вот, мол, испоганился в последнее время мир! Обдешевился, оголтело поляризовался так, что вместо трехмерной цельности все пошло слоями, подслоями, равно как жизнь, так и человек — вот оно современное уплощение, усреднение, обеднение. Да, да, он мог настроиться на подобный саркастический лад, исполняясь отрешенных желчи и иронии к современному миру (на самом деле это сентиментально-романтический лад отрицания настоящего), тем более что желчь, сарказм, ирония были им хорошо усвоены в поединке с советской властью, тем более что сарказм и ирония оказались наиболее успешным художественным приемом нашей неофициальной литературы, тем более, что если вы пытаетесь творчески осмыслить реальность, без романтики не обойтись... А все равно, холодный червячок сомнения дал бы себя знать рано или поздно, и тогда неизбежный вопрос: а разве не была жизнь "раньше" накалена меньшими политическими страстями? И не начинали ли "великие", "недосягаемые" с яростной политической полемики, с партийных споров, и не испытывали ли одиночество в море газетного или журнального уровня повседневных мнений? Другое дело, что кончали на другом уровне, заглядывали в иные измерения (за что и одиночество), но ведь здесь все наоборот с твоей схемой раскрепощения! То есть, проходили сквозь горнило злободневных страстей и только потом шли дальше... и все равно конечно же никакого раскрепощения, полегчения... Но как же так, что раньше не сообразил? То есть, полагая, что плохо с духовностью, не ожидал удара с э т о й стороны, то есть как бы отмерял расстояние,

которое предстоит пройти, дабы достичь, но, оказывается, глядел вообще по-детски в противоположную сторону?!

Вот в какой сумятице мыслей и чувств вы находились, когда в русской эмигрантской газете появлялась статья некоего Лимонова (поэта, говорят), в которой выражалась претензия, почему, дескать, так выходит, что в Нью-Йорке столько ресторанов и прочих мест увеселения души (сиречь, раскрепощения-расслабления), а поэт-эмигрант не имеет возможности их посещать. Надо признаться, автор этих строк статью не читал, потому что с первых же дней приезда преувеличенно-брезгливо зарекся вообще читать эмигрантские газеты (тоже ведь надо было позицию занять!), но приятель пересказал, и как тут автор воспылал негодованием, насмешливостью и прочее и прочее! Ха, ха, мол, слабая, ничтожная душонка, кишка тонка, не выдержала! Впрочем, он не один столь благородно воспылал, напротив, тут возникало особое единодушие, и "ха, ха" звучало во всеэмигрантский унисон. Будто Лимонов проявил себя х а р а к т е р н о . Торжествующе презрительное "ха, ха" звучало так, будто уже ждали чего-то в таком роде или по крайней мере были готовы: ну да, еще бы, разве одни только борцы за справедливость и духовное раскрепощение выехали из Советского Союза? Как, например, мы с вами? Ха, ха, если бы! (С горьким оттенком.) Сколько же фарцовочно-советской мути! Если бы можно было отфильтровать людей через высокоморальный кодекс! Но поскольку нельзя, то лучше, чтобы нарыв прорвало, гной вылился наружу, принося болезненное удовлетворение, а также возможность заклеить и отделить негодую, недостойную часть, ткнуть указательным пальцем в негодование перед всем чужим народом.

Но только ли это? То есть, только ли здесь было негодование моралистов на человека, который обнажает и бесстыдно превозносит низкие желания, подлежащие сокрытию и подавлению? Если бы речь шла об одних "низких желаниях", желаниях элементарных и необузданных, то судя по единодушию и степени негодования, наша эмиграция действительно должна бы обладать незаурядным количеством сиих подавленных страстей, прямо таки на распутинском уровне, право. Однако, люди куда более заурядны, а лимоновская статья затрагивала другое. Она пародировала идею ожидаемого на Западе раскрепощения духа, столь грубо сводя ее к ресторанному раскрепощению, и именно потому что в ней была правда о том, что мы все-таки связали бессознатель-

но и мечтательно эти две вещи, то есть, полагали, что они могут развиваться одинаково и прийти в момент к гармонии, — вот что было в по-настоящему больное (в глубине, в тайне) место.

Теперь же мы все знали одинаково, изощренные душой поэты и примитивные душой деляги, что — н е т . То есть, например, и говоря конкретно, если даже заведется у вас в кармане твердая валюта и даже научитесь говорить по-иностранным, а все равно, когда зайдете в их рестораны (бары, бардаки), то разве может случиться момент, и д у ш а з а п о е т ? Нет, никогда.

Некое иное знание приходило к вам — не только что больше не будет петь душа (хотя, перебираясь на Запад, смутно воображали, что только там и запоет), но и что ожидать подобного момента было нелепо, невежественно, постыдно. Грустное, но твердое, без всякого полива, сухое, иссушающее знание. Теперь мерещилась догадка, что “обнимитесь, миллионы” не совсем от застолья и для застолья и что дух раскрепощается совсем не одновременно с пением души, когда увлажняются глаза и глотки (понятие души вообще противоположно иссушенности), но напротив в самые те моменты, когда — как и положено взрывчатому газообразному веществу — он готов вспыхнуть от малейшей искры.

Возвращаясь же к ресторанам, автор вспоминает, что побывал впервые примерно в то время, когда Лимонов опубликовал свою статью, в ресторане, но не американском, а своем, на Брайтон Бич. Том самом Брайтон Бич, который был описан как-то новоэмигрантскими фельетонистами как некий оазис, конечный пункт путешествия к свободе. Правда, эмигрантские фельетонисты с насмешкой указывали, что к свободе “по-одесски”, но это и означало: от меньшей к большей материальной, телесной свободе, раскрепощению. Каждому свое, и на первый взгляд (который есть также взгляд на поверхность) так и есть, и в ресторане “Одесса” атмосфера чем ближе к ночи, тем больше раскрепощается, пока не разразится массовой залихватской пляской. Дама за соседним столиком, мадамочка килограммов на сто весом, устала на вас бесцеремонными черными пуговками глаз, а когда подсядете к их столику, — эта ее одесская одышка и с ы л ы й х о л о с , и эти вычисления с точностью до одного квартала устанавливающие ваши когдатюшные одесские координаты (хотя видите друг друга в первый раз в жизни). Ура, да здравствует сентиментальное возвращение на родину, в детство!.. Но все ли так естественно, все ли как было когда-то? Почему женщина, хотя и

произносит положенную для одесситки фразу: “Пожалуйста, не делайте глупостей, закусывайте после рюмки” — отнюдь не вкладывает в свои слова положенную долю страсти? Почему голос ее монотонен, будто по инерции, будто на уме другая мысль. Тут вы вглядываетесь ей в глаза и видите в них бездонность некоего знания! Опустошающего безжалостного знания, которое и вам известно, но ведь ей, стокилограммовой жлобихе эдакой, насколько трудней совладать, наверное, потому что не обучалась культуре рефлексии, и потому насколько она возвышается! — А что, — спрашиваете, провоцируете, нащупываете, — небось, в ресторане “Волна” так не танцуют? Да и нет “Волны”-то, наверное, а? Да и Одессы нет? (Она, дамочка, только недавно приехала.) — И лицо коротко качнется возражением вокруг неподвижных, отягощенных знанием пуговок: “Есть “Волна”, и танцуют еще лучше”. — Ну да! И... и такие вот котлеты по-киевски есть или шашлык есть? Ну уж этого-то наверняка нет, когда там с мясом, — хоть шаром покати? (На этот раз отступая, защищаясь и пытаюсь зацепиться за очевидность материальности.) — “И шашлык есть, и еще лучше”, — следует категорический ответ, и теперь вы понимаете, что вам хотят сказать, поверженный крайностью слова, противопоставленного материальности и очевидности. Поделом вам: чем ответить на безумие фантазии, кроме попытки понять ее изначальную идею? Тем более, что идея у вас общая, только пытаетесь вы доказать ее противоположными позициями: вы — тем, что Одессы и вообще нет больше, она — тем, что шашлык там еще выше качеством. Но оба вы глядите на выделяющего перед вами чечетку брата Гусакова (и все за те же двадцать р у б л е й, еда, оркестр, брат Гусаков), легкую куклу-старика с розовыми щечками, с тем же чувством нереальности и жалости к нему и самим себе. Ну-ка, сподобилась бы ваша собеседница, живя там, в Одессе, увидеть подобную знаменитость в десяти шагах, живого? Ну, может, когда по телевизору... А вот — хлопает и веселится, как все, но — неподвижность глаз и знание: мы здесь отрезанный ломоть, тени, и я, и ты, и брат Гусаков, глаза бы наши не видели, не ломалась бы иерархия жизни, которая, оказывается, была еще душа жизни. И оглядываетесь вокруг и осознаете внезапно, что все происходящее здесь в такой же степени буквальная реальность, как средневековая мистерия на тему буквальной реальности Страстей. И каждый, принимающий участие, знает это, — неожиданность обухом по голове с первого же момента вступления

на чужую землю, и с этого же момента безмолвная борьба с парадоксом вовлечения в эксперимент духа. Ха, ха, уж судьба действительно умеет работать парадоксами: одесский южный еврей с его животиком и скепсисом, с его плотским конкретным мироощущением (бродячий московский философ сказал как-то про Одессу: Одесса, как баба, за идею не даст, но за свободу даст), одесский еврей, кульминация мечты которого в безыдейном портофранко (то есть, полном раскрепощении), получает свой портофранко на Брайтон Бич при одном маленьком условии, что это будет не настоящий, буквальный порто-франко, а только мистерия по поводу порто-франко.

То есть, изначально, не свобода, не раскрепощение, но идея. (И начинает плакать, стенать беззвучно, что хотел пропутешествовать от меньшей свободы к большей, а получилось наоборот, хотел удрать от чужой идеологии, а пришлось натянуть сюртук собственной.)

Сюртук, сюртучок, китель, тесная одежда, позиции. Трико циркача, фрак фигляра, а по сути смирительная рубашка, — напоказ, для провокации. Для утверждения и сохранения себя “в образе” (поскольку отныне обязан не просто жить, но исполнить жизненную роль). Плоская кепка-аэродром отныне не только для внутреннего межвыпедрона, но — поскольку мы все на сцене, а наружный иностранный мир по ту сторону рампы, — еще и необходимый аксессуар самоопределения, маска, которую не волен сбросить, как не волен сбросить собственное лицо, уши, глаза, нос, кожу, которые теперь тоже маска, наподобие клоунской, то есть, не скрывающая, а обнажающая о себе самом основные вещи, — равно тебе самому и постороннему миру.

Так или примерно так размышлял автор, когда к нему приходила новость, что поэт Лимонов, тот, ну да, самый, который статью... а вот на этот раз уже целый роман, и опять под тем же углом, то есть с тем же воплем: почему-де нет для нас за границей золотых гор и рек, полных вина?! Раскрепощения-расслабления?

Случилось, что с автором о книге Лимонова заговорил уже читавший ее некий американский специалист по русской литературе. (С кем мы встречаемся здесь прежде всего? Как пограничник с пограничником? Со специалистами по самим себе.)

Но это неправда, автор сам навел американца на Лимонова, а знаете почему? Потому что знал, что книга со всеми т а к и м и

словами и подробностями "низа" — как пишут на Западе. И поскольку здесь совпадало: выразитель фарцовочной идеологии должен первым делом постараться раскрепоститься на западный манер, чтобы сенсация и подхалимство одновременно, то и окончательное авторитетное мнение следовало искать у них же, американцев. И американец сказал, покривившись, именно то, что автор хотел услышать, что, по его мнению, должно было быть сказано: "Ужасно. Подражает Генри Миллеру".

Тем не менее здесь были любопытные психологические и литературоведческие оттенки. Например, что американец отнесся к книге Лимонова точно так же, как расхожее эмигрантское мнение: коль скоро о "низе" напрямую, то, значит, не русское, а только подражательное. А мог бы и наоборот, как ученый подойти, с объективистским любопытством: глядите, мол, интересно — первое эмигрантское произведение, написанное подобным языком!

Но что-то щелкнуло, и он поддался национальному чувству ревности, защищая свое от подделки.

Что было замечательно. Как и последовавший за этим разговор.

Разговор зашел о Генри Миллере и Достоевском. Видите ли, если бы американец сравнил писания Лимонова с порнографической бодягой из "Пентхауза", скажем, то Миллер не пришелся бы, и скорей всего никакого разговора не вышло. А так автор, коль скоро затронута имя любимого писателя, начал говорить, какая, мол, удивительная вещь, впервые в истории западной литературы Миллер сумел создать с такой полнотой образ свободного (раскрепощенного) человека, и человек этот неухватим, анонимен в благодушной ровности характера, кроме одного качества: что ходячий фаллос. И американец кивал головой, посмеивался на американский манер, эдак с недоуменным смешком, вставлял, что, кстати, знаете? а в русской литературе кто свободный человек? князь Мышкин Достоевского, идиот и импотент.

Вот ведь как было дело: собрались два знатока и ценителя человеческой свободы, один, видимо, в поиске этой самой свободы ввинтивший навсегда в уши стетоскоп, а другой допрыгавшийся до статуса подопытного кролика, долетавшийся до перелетного воробушка, ну да. Кто же еще может с такой полнотой и остротой оценить, например, пластику и грацию тела, как не те, чьи жесты, как у куколок из жести?

В сущности, собеседники нащупали большую точку и верно определили свои границы, отдавая недоуменное почтение границам

чужим (которые были одна и та же граница), если только между ними не лежала мертвая полоса, в которой в таком случае и находились собеседники, поскольку по роду своей деятельности оба довели себя до пограничной ситуации. Подопытный кролик сходился во мнении с руководителем лаборатории: русский Генри Миллер не может появиться, только подражатель. Они сходились по сути дела еще вот на чем: телесное может служить только раскрепощению, освобождению от идеологии, вот как герой Миллера добродушно-пассивный в сфере идей и активный в сфере плоти. Телесное — это низ, плоть, форма, наполненная материей, кровяно пульсирующей, чувственной. "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". Западный человек ожидает от русской литературы того, чего ему в своей не хватает: максимализма бесплотной духовности. И напротив, русский человек ожидает от западной литературы того, чего ему в своей не хватает: раскрепощения духа через эстетическую, чувственную форму. Ремизов в "Огне вещей" выбрикивается раздраженно в адрес Джойса: "...вся глубина Джойса только кожная с попыткой проникнуть до мочевого пузыря и предстательной железы..." и далее говорит о любителях "физиологического" направления в литературе — этой моли, вылетевшей из Джойса, гениального разлагателя слов до их живого ядра и "розового пупочка". Выходит несколько претенциозно, если не принять в расчет скрытый ремизовский контекст: сравнение двух несравнимых литератур, дабы показать их разность. А для того — упор на огонь вещей, то есть, дух синим пламенем из горелки примуса или паяльной лампы, неистовым пламенем под напором, через отверстие с трудом прорвавшимся и уничтожившим материю в дух. Это — русская литература, для которой тело — только вспомогательное горючее вещество. Хе, хе, маленькое крючкотворство, тихая ухмылка, — вот она, подъебка по-русски: не дух, что огнем вселяется в тело, но тело, изошедшее в дух огнем, а затем нашедшее себе сюртучок, дабы наполнить и имитировать форму тела.

Это старая история, но и новая тоже. Включая в себя историю с книгой Лимонова (автор как прочел ее, так сразу понял).

Книга Лимонова — глубоко русская книга и (одновременно), но еще именно потому, что — русская подъебка. И как раз на соотношении духовного с материальным эта ее подкожная ирония осуществляется, и потому это книга о судьбе русского духа сегодня, иным словом о советском времени в русской истории (п о д ко-

жей, а не на, то есть, напротив очевидности, то есть опять — наоборот).

Коль было начато с секса, то продолжим. То есть, с телесного. Которому так много уделено места в книге, которое так скандально бросается в глаза, выставляется напоказ всякими неприличными частями тела, ни дать ни взять, витрина секс-шопа на 42-й улице. Это так и есть, между прочим. В эрос Лимонова входишь, как в мастерскую по изготовлению пластиковых членов, женских грудей, кукол для искусственного совокупления, которые валяются то тут, то там и вызывают к себе неприязненное отношение, потому что друг от друга как-то противоестественно отъединены и холодны. Эрос в книге Лимонова гораздо чаще не случается, чем случается, если случается вообще, — и тем холоден, хотя сама книга несомненно горяча живыми, “как перед глазами” образами — качество, которое признают даже самые большие нелюбители Лимонова. Здесь есть противоречие, на которое стоит обратить внимание: даже внутри книги язык, описывающий эротическое, значительно меняется от ситуации к ситуации. Чем больше эрос получается, выходит, тем меньше вульгарных слов в его описании и наоборот. О любимой жене Елене Эдичка не говорит теми “грубыми” словами, как о других женщинах, не описывает-расписывает ее половой орган о т д е л ь н о от нее самой, — а у Лимонова есть замечательная способность до того отделить от человека его орган, что тот начинает жить не менее самостоятельной жизнью, чем гоголевский нос (вспомните описание американской женщины Розанны). Так разговаривает, между прочим, в России простой народ об эросе, о бабах, об “ебле” — кажется, как никакие другие народы. Зачастую отсюда выводят знаменитые русские хамство и цинизм, но не обращают внимание, что секрет этому — холодность русского эроса, иначе подобный язык не родился бы. Русский эротический язык в романе Лимонова — событие замечательное и новаторское, такого в русской литературе еще не было. И не потому что “еще не ругались”: ругались, а сейчас еще как ругаются, возьмите того же Алешковского — но все ограничивалось и ограничивается шаловливым росчерком пера, завитушкой, надписью на дверях уборной, пусть даже исписано вдоль и поперек матюками, — все равно эстетская периферия, не имеющая отношения к динамике развития сюжета и идей произведения. Лимоновский же язык определенным образом вторгается куда-то, куда ему по всеобщему мнению не положено, и своим вторжением вдруг компрометирует бога любви.

Бог Любви, он ведь Огонь всепожирающий, всепоглощающий, и сколько бы отдельных деталей, муляжей в него не бросить, все вспыхнут сухими ветками, соединятся немедленно, не так ли? Но почему у Лимонова получается, что чем больше его герой Эдичка стремится в этот самый огонь, и именно для того, чтобы все магически снова соединилось в жизни, как когда-то, тем больше от него удаляется? Эдичка стремится к любви, то есть соединению во вспыхнувших чувствах, и он ратует не только за любовь для себя одного, но и для других людей, для всего человечества. И жалуется, что на Западе, то есть в его настоящем, куда меньше любви, чем в России, то есть его прошлом. Тем не менее, когда случается воссоединиться в любви уже здесь, в Америке, как, например, с негром Крисом, то выходит какой-то странный Эрос вывернутый наизнанку, — и не потому что между женщиной и женщиной (адресуем любопытствующих к автобиографическим запискам Теннесси Уильямса), и не потому даже, что "от головы" эдичкины похождения, но потому что духовный поиск здесь существует отдельно от телесного действия, наблюдая и оценивая последнее со стороны, а ведь неперемное условие существования Эроса в том, что дух сгорает в нем, удовлетворенный воссоединением с плотью, и отныне ему нечего искать. Но Эдичка, едва успев "слюбиться" с Крисом, тут же уходит, и получается, эрос для него не цель, но только средство. "Не испугался, переступил кое в чем через самого себя, сумел, молодец, Эдька! И хотя я в глубине души знал, что я не совсем свободен в этой жизни, что до абсолютной свободы мне еще довольно далеко, но все же шаг и какой огромный по этому пути мною сделан... Я обманул его, ушел тихо, как вор... Зачем я это сделал? Не знаю, может быть, я боялся... чужой воли, чужого влияния, подчинения меня ему. Может быть. Неосознанное, но довольно сильное чувство двигало мной..."

Приведенный отрывок содержит в себе пружину развития всего романа: ведь, если подумать, Эдичка покинул Россию так же, как Криса. Путь здесь ясен: переступить через самого себя на пути к свободе, и именно через то, что сплавляет вещи воедино, через нормальную естественность твою. Довольно противоположно Эдичкиным жалобам на отсутствие единости и, якобы, поискам ее?

Нехороший человек Эдичка Лимонов, и неумный. (И эти два качества друг с другом под ручку идут.) Поглядите, как строится

сюжет романа. Как мы уже заметили, в нем есть прошлое (московское) время, есть нью-йоркское настоящее и фантазируемое-желаемое будущее. В прошлом у Эдички были: а) счастливая любовь, б) реноме неофициального поэта. Он превозносит прошлое в таких идиллических тонах: "Елена Сергеевна в платье из страусовых перьев шла гулять с собакой и, проходя мимо Ново-Девичьего монастыря, заходила вместе с белым пуделем в нищую, ослепительно солнечную комнатку к поэту Эдичке, это был я, господа... и мы предавались такой любви, господа, что вам ни хуя не снилось". Какова картина: в отдалении, вдали, во-о-он там, далеко за морем-окияном, посреди равнины стоит на пригорке воспоминание Эдички, как сказочный образ (и принцесса, и павлинье перо, и принц в обличье нищего, и верная собака-волк) и умиляет глаз белизной, и поражает глаз золотом солнца, совсем как тот самый Ново-Девичий монастырь... Так почему не остался там, коли носил в душе такой образ? Почему, сучий сын, не остался, и теперь размазываешь, как подонок, по лицу сопли со слезами: "нищий поэт пил только шампанское в стране Архипелага ГУЛАГ" — во дешевка и блатная романтика!

А потому не остался, что, повторим, человек не очень приятный, как говорят, "с претензиями", своего места знать не хочет, довольствоваться тем, что отведено, не умеет. На поверхности вроде бы все просто в своей материальности: был нищим поэтом, захотел богатства и славы международной. Но ведь это детские мечты, они всем поэтам свойственны, невелика важность. Не-ет, с Эдичкой дело обстоит иначе, всякому естественному человеку он глубоко подозрителен тем, что хотя вопит по слиянию и расслаблению, но, видимо, не шибко может существовать в атмосфере слияния и расслабления. Ведь какой путь предлагает конструкция романа: все хорошее, цельное, здоровое только позади, в прошлом, в настоящем же — распадение, разложение на детали, омуляживание, чем дальше в лес, тем больше дров. Ничего себе утешительный путь! Ничего себе блатная романтика! Эдичка Лимонов неприятен и подозрителен тем, что постепенно мы начинаем понимать: дай ему хоть струю светлей лазури и луч солнца золотой, а он и их расчленит, обнизит, противопоставит, чем-нибудь неприятным вывернет, похерит, смешает с дерьмом — а уж потом, сидя в следующем дерьме, будет вопить и жаловаться, превознося "идеальное прошлое".

Не-ет, это не романтика, не соцреализм, не блатная лирика, как

у Алешковского, это — как взаправду в жизни, и потому — мало кому симпатично. И зачем это нужно? Зачем нужен такой путь? Что он даст, кроме душевного охлаждения, потери невинности и наивности, таких, ах, ах, драгоценных человеческих черт?

Таков путь, которым идет Эдичка Лимонов. Спросите его, почему, он ответит, что “не знает”. Что им движет “неясное, но довольно сильное чувство”. Что он и не хотел бы идти, что хотел бы вернуться назад и так далее и так далее, старая песня. Однако, что-то положительное все-таки случается на этом пути... угадали, что? Ну конечно: пишется книга “Это я — Эдичка”. То есть, раскрывается миру образ существования (экзистенции, знаете), причем существования до удивления активного, напряженного, горячего, если принять во внимание жалобы героя на свое одиночество, полную свою изоляцию от иностранной вокруг жизни. В этом еще один парадокс романа Лимонова. И одна из причин, вызывающих осознанную или неосознанную зависть к Эдичке: вот ведь какой, подлец, полной действия жизнью он живет после всего! И еще жалуется! Но разумеется, в указанном парадоксе заключается иное, а именно “я мыслю, значит, я существую” в такой своей форме: “чем лихорадочней, напряженней я мечусь в своих мыслях, чем дальше иду по пути все более детализированного осознания и самоосознания, тем явней и полней я существую”. Надо же понять, что хотя, якобы, по всей видимости Эдичка жил там, в советской России полной душевного расслабления жизнью, у нас нет этому никакого свидетельства. То есть, он рассказывает о той жизни в прошлом времени сквозь призму настоящего, а не было бы сегодняшнего настоящего, мы бы никогда не узнали о прошлом Эдички. То есть, конечно же он “жил” и “существовал” биологически (что несомненно) и даже, может быть, душевно, — но мы говорим о другом существовании, не так ли? Том, которое позволяет увидеть себя и окружающий мир в такой целостности и художественной полноте, какая осуществляется в романе “Это я — Эдичка”, да? В прошлом “были” стихи “поэта Лимонова” (“заходила... к п о э т у Эдичке, это б ы л я...”), но берешься читать их и замечаешь, насколько они полуфабрикатны, то есть насколько сквозь них, как сквозь клочковатый туман, проглядывает то там, то здесь полужнание-полупонимание себя и России и “вообще” истин, которые столь ясно ц е л о с т н о осознаны и обрисованы д о м е л ь ч а й ш и х подробностей в романе.

То есть, выходит, что декартова формула не может найти себе лучшего оправдания и применения?..

...Слушайте, а может, это не только об Эдичке, а о нас всех, эмигрантах, нехороших людях, предателях родины? Может, здесь есть надежда для нас, распрощавшихся с душевной, нормальной, естественной жизнью по причине "неясного, но довольно сильного чувства", путившихся в беспокойное странствие, кто за золотом, кто за славой, кто еще за чем? Может, и наше испытание недаром? В таком случае: да здравствует гуманная роль литературы, подающей посох уставшему в пути!.. Ура!..

Но автор разорался преждевременно. Вместо выкрикивания победных лозунгов он предпочитает вернуться к началу рассуждений о подкожности романа Лимонова. Несомненна поверхностность (буквальность) происходящего в романе: его герой постоянно говорит об эротическом, описывает эротическое, пытается установить связь с людьми через эротическое, надеется на эротическое в смысле разрешения жизненно-душевных проблем, наконец, самую книгу начинает писать в основном, чтобы поведать миру жалобу на ускользнувший Эрос, утерянную любовь жены Елены. Все это так, только мелькнувшее слово "жалоба" и хвостиком за ним, как из шляпы фокусника, вытягивается "неудача"... У Эдички Лимонова, кстати, есть в мировой литературе предшественник, один из тех литературных персонажей, которые — подонки, что с них взять! — существуют почти исключительно в сфере низа, и тоже ж а л о б щ и к , ну конечно, герой "Сатирикона" Петрония, и тоже ведь с эстетствующим уклоном, любитель поэзии! — так вот этот-то предшественник, хоть и жаловался на неудачи с сексом, но его можно понять, дело е с т е с т в е н н о е : не стоял у него! Да он просто ничего бы не понял в эдичкиных проблемах-жалобах! Действительно, герой лимоновского романа страдает странным, "новаторским" для подобного жанра литературы изъяном: встать-то у него встает, да вот кончить — задача не простая. Он относит это за счет отсутствия любви, то есть попыток заместить истинный объект любви, жену Елену, разными суррогатами. И потому, мол, не способен слиться-раствориться-забыться-излиться. (Правильно мы характеризуем Эрос?) Но вот он совершает половой акт с любимой женой перед телевизором с Солженицыным, и "я хотел в этот момент кончить, но не мог, созерцая его в полувоенном френче, даже сладкая пипка моей девочки не могла заставить меня кончить".

Кстати, автор тоже и тогда же сидел в своей комнатухе, скорее всего, той же гостиницы для эмигрантов и созерцал на экране ту же картину. Английский журналист брал интервью у нашего легендарного писателя. Надо же было сподобиться увидеть его (писателя) впервые именно в таких условиях! Неожиданный тенорок советского инженера (узкий голос), борода, сюртучок-китель. И глаза, то манерно закатывающиеся вверх, то — из стороны в сторону. (Это потом, ко времени Гарвардской речи будет найдена устойчивость только в вертикальном, к небу и на грешную землю, движении.) И рука, беспокойно размахивающая карандашом, пытающаяся найти ритм — Станиславский в таких случаях велел связывать актерам руки за спиной. Позже ихние журналы писали, что размахивал карандашом, как рыцарь мечом, тут был не только штамп, но искреннее перенесение западной идеи сильной личности на русского человека, полное непонимание нашей игры с телесностью, после того, как взошел на костер; нашей имитации материальной силы.

Но коль скоро из России, то остро соперничали вы происходящее, зная в глубине души, насколько символически всех нас — в огромном увеличении, как динозавр, как Кинг Конг — воплощает Солженицын, и потому будоражились в раздражении бунта моськи против слона, хихикали, подталкивали локтем приятеля: вот это да, вот дает! гы, Кастро далеко с его опереточным костюмчиком, фантастика! — и исходили неясным зудом-зовом нахождения собственной позиции, собственного сюртучка, не зная, что в это время будущий автор книги “Это я — Эдичка” по-своему реагировал на солженицынское выступление и н а х о д и л ф о р м у , спуская штаны.

Да, странным, головным способом Эдичка затевает акт любви с женой во плоти по причине затеяния пресловутого русского диалога-претензии с двухмерным Солженицыным, и хотя “ебались мы при Солженицыне, конечно, из баловства”, но, конечно, из чего-то более серьезного и насущного, чем баловство. Возвращаясь к Генри Миллеру, сравним, поставим его героя в схожие условия: вот уж кто смог бы “из баловства” и, кончив, еще залил бы, играючись, спермой экран... Вот уж кому женщина (реальность) была бы в миллион раз любей и существенней, чем фантом какого-то идеолога-фантазера!

Но наш русский, советский Эдичка — другое дело. Хотя внешне главный сюжет книги Лимонова — потерянная любовь женщины,

анализ приведенной сцены указывает на более подспудные течения. Первый слой — это Эдичка не может истинно расслабиться-кончить с американской женщиной Розанной, потому что она негодная подмена жены Елены. Второй слой — что он не может кончить с женой, потому что ему еще важнее соотношение-сношение с духом Солженицына на экране.

Такова поучительность судьбы всякого, кто позволяет себе, как говаривал у Бабеля мсье Боярский, уважать раков. Такова грустная поучительность судьбы всякого, кто не желает прислушаться к голосу Матери-Родины-Отчизны и вовремя закориться, используя благоприятные, так сказать, условия для гармонии духа и тела, будь то почва эроса или почва душевной жизни.

Впрочем, разве тяга к бродяжничеству, то есть, перемене мест, текучести, изменениям — не исконная русская страсть? Тут-то, может быть, и гнездится русское недоверие к эросу, который по своей природе статичен? Давайте разберем подробней. И опять, чтобы легче иллюстрировать, возьмем сквозь призму литературы. Вот был на Руси один писатель, обладавший магией писать эрос: Иван Бунин. Что принято называть: “лирика Ивана Бунина”. Ну, ладно, лирика так лирика, только на чем она основана? А на том, что писатель умеет передать целостность материи и духа в эросе, да так, что подобный вопрос просто не возникает, и выходят вместо него: любовное томление, грусть, эротическая щекотка, трепет, нежное дыхание, трели соловья. Глядите, как здесь все сходится. Эрос естественен в своей цельности, пластичен, как огонь, как тело животного, как природа. Также пластична, естественна, вчувствована в природу проза Бунина. Древнегреческий философ Парменид учил, что все едино, то есть цельно, и он также учил, что все е с т ь , то есть находится в покое, поскольку куда же ему двигаться, если оно в с е . Эрос неподвижен, он либо есть, либо его нет. Либо вы охвачены его пламенем, либо нет. Его нельзя н а й т и , бродя и ища, к нему нельзя приблизиться (потому что пытаясь приблизиться, только отдаляетесь, потому что на поиск-то вас посылает разум) . Всякое движение — от разума, от беспокойства духа. Только обратное может произойти, только эрос может найти вас, — объять, охватить. Бунин по своей интуиции консервативен, статичен, гармоничен и относится с недоверием, а потом с ненавистью ко всякому движению, изменению (в жизни и искусстве) , а потом — революции. Он ненавидит революцию иначе, чем Достоевский: последний по осознанию, от одного беспокойства

духа против другого, первый — по инстинкту, от спокойствия духа — против беспокойства. И Бунин ненавидит Достоевского не меньше, чем революцию, и объединяет их, кричит, что революция вышла из ненатуральности, противоестественности стиля Достоевского, и то же о последовавшей за Достоевским литературе: модернизме, акмеизме, символизме — и тысячу раз прав, потому что все это литература нарушенного баланса духа и материи.

Но увы (или не увы) Бунин-то в явном меньшинстве, если не в полном одиночестве в русской литературе. Соблазн гармонии в эросе не шибко русский соблазн, как отмечалось ранее, чего не скажешь о соблазне душевной гармонии.

К которой автора давно уже разбирает приблизиться, дабы разглядеть внимательно. Первым делом он хочет заявить свое полное несогласие с общепринятым мнением, будто душа бестелесна. Тут издавна допущена путаница, из которой выходит зачастую, что душа и дух одно и то же. Но автору с детства еще — и с тех пор неизменно — душа представляется в образе огромной воловьей печенки, вот как она лежит, еще горячая, исходит паром рядом с только что освежеванной тушей. Ей место в темной, уютной глубине утробы, а она вдруг отъединена, извлечена и выставлена на обозрение беспощадному свету дня. И дрожит, переливается, едва дотронуться до нее пальцем. Нежна, чувствительна, беспомощна. Похожа на комок ртути, что выскакивает из разбитого термометра, но тот не беспомощен, потому что убегает, как колобок, шустрый хитрец. Душе же некуда убежать, и потому она переливается волной из края в край, — волнуется — только без никакого куда-либо движения, развития, то есть, приобретения знания, смысла. Удел печенки-души чувствовать и переживать каждый раз, будто это первый раз, все по тому же свежему месту, целиком, всем печеночным телом, без компромисса. Следовательно, опять статика.

Так что не говорите о бестелесности. То, что ей не шибко много нужно телесности для полного счастья, вот это правда. Она даже чувствует себя весьма неуютно при наличии обильной телесности — но почему? Потому, что когда обилие телесности, материи, тогда неизбежно возникают трения и диссонанс между материей и духом, всякие резкости, угловатости, столкновения, борения, что ей вовсе отвратительно. Душа своей изнеженностью желает гармонии между духом и плотью, и на стыке их, границе, она и расцветает, исполняется жизни. Какая же может быть жизнь,

если граница превращается в линию фронта между враждующими армиями, и треск пулеметов, и грохот орудий, земля опустошена, испещрена воронками взрывов? Чем меньше телесности с одной стороны и духа с другой, тем больше шанса на мир. Поэтому в отношении духа душа такова же, как и в отношении к материи: неуютно ей с ним, особенно если активен, беспокоен. “Сама садик я садила, сама буду поливать”, — напевает душа, проходя с лейкой в руке по тропинке своего оранжерейного рая, увлажняя, где надо, почву, умиляясь щебетанию и пению птиц, вдыхая с наслаждением спертый, насыщенный запахами слегка гниющих цветов воздух. Как же здесь, в ее мирке все умиротворено, улагодворено! — и в лейке у нее дух, и под ногами материя, и она так хитро их соединяет, что ничего не остается, кроме спокойствия.

Понимаете? Главное, привести дух и материю к нужной пропорции, и тогда они приручены. Как в химическом процессе, когда (еще в школе нас учили, помните?) уравнены валентности, и компоненты вступают в реакцию полностью, без остатка. Будто их сдувает ветром, вернее, втягивает в некий пылесос: еще только что были, и вот нет их. Еще только что, как в барабане камнедробилки, с грохотом бились, сталкивались, крушились друг об друга материя и дух в человеческой душе, равно как и в человеческом “мире”, который куда скорей “война”, принося людям муку и смятение, испытание и хаос, — и вдруг наступают тишь да гладь, душевное умиротворение, и васильки в поле, и прочие атрибуты... То есть, разумеется, остаются и страдания, и столкновения, а васильки больше — глянцева propaganda официозных журналов, а все-таки что-то действительно меняется, упрощая жизнь... Вот как нашу, советскую жизнь... В самом деле, единственная (но зато какая!) положительная черта жизни современной России: круговая порука душевной застольности, душевного расслабления, которая одинаково освещает и обогревает существование как партийного чиновника, так и разочарованного интеллигента, и даже иностранцы попадают под ее магическое очарование... Душевная жизнь, отрицающая объективную сторону вещей, зато превозносящая субъективную, откуда формула “блат выше совнаркома”!..

В романе Лимонова, как было замечено уже, один из лейтмотивов жалоб и криков героя — невозможность расслабиться за границей, а вот в России “всякий имел право расслабиться, если мог и хотел”. И коронная фраза здесь: “Нищий поэт пил только шам-

панское в стране архипелага ГУЛАГ". Хотя наши моралисты и поддерживатели высокой нравственности, как бык на красное, на эту фразу: мол, уж тут о чем говорить, все ясно, весь Лимонов налицо, кощунствующий подонок! — но если убрать сиюминутные страсти, то фраза удивительно правдива и точна. Потому что не только подонок Эдичка, но и вы, и мы, и ты, и я — все мы пили шампанское в стране Архипелага ГУЛАГ, все жили душевной жизнью ("если могли и хотели"), любили, мечтали, нюхали цветочки, — и не как-нибудь от головы, как в "Пире во время чумы", о, нет — обыденно, по-человечески, неосознанно, по инерции. А в это время пятая часть населения все-таки проходила через лагеря. Но не только это, а — дело известное — лагеря проходили через наши души. И именно тем самым образом: более или менее освобождая нас от личных, объективных, абстрактных и конкретных понятий, как-то долг, честь, самостоятельность мышления и т. д., поскольку всеми этими понятиями оперировало за нас государство, — все это, вроде, известно, но только лимоновские провокационные стенания по прошлому вдруг снова обнажают затянувшуюся было рану. И опять в лимоновском тексте ощущается какая-то более глубокая (и неприятная) мысль, чем простая констатация факта политической или общественной безответственности. "Всякий мог расслабиться" или "всякий умел расслабиться" предположительно мог бы сказать Эдичка, но он говорит именно: "всякий и м е л п р а в о" — весьма сильное утверждение, когда идет речь об обществе, в котором у человека нет почти никаких прав. И дальше: не просто "поэт Эдичка пил...", но "н и щ и й... пил т о л ь к о шампанское..." — максималистское противопоставление, намекающее на некую картину идиллии, русской мечты-сказки, — и не "кто был ничем, тот станет всем", нет, нет, не о борьбе, силе, мести и прочих материально-активных завоеваниях идет речь, не о игре мускулов и "кто — кого", но о тихо-мирном расслаблении слабого и неимущего на фоне золотых гор и рек, полных вина (молока, меда), — короче, всякий поймет, о чем речь, картина чего рисуется: конечно же Рая, ну да, еще чего же!

— Ах, вот оно! Пре-е-евосходно! Вот до чего можно договориться, доиграться словами! Ра-а-ая, говорите, значит? Или, может, советского рая? А? Невелика разница для вас? Еще бы!

Но, однако, прежде чем продолжить столкновение гневных голосов, окончательно зафиксируем значительность момента:

наконец мы "договорились" до слова, которое давно назревало и которое, поднесенное к предмету обсуждения, как камень изумруд, вдруг окрашивает все в иной цвет — так вот какво дело, вот о чем у нас речь! Понятно, откуда страсти-то: ставка высока! Если пафос всей нашей настоящей сегодняшней литературы (то есть той, которая сумела сгореть в дух) как раз и состоит в осмыслении уникальности опыта своего времени через саркастическое ли, ироническое ли, а не то всерьез гневное, горькое соединение прилагательного "советский" с существительным "рай", то како-во ей обнаружить в своих рядах писателя, подобного Лимонову? Ну да, если мы как само собой разумеющееся произносим скороговорку "советский рай", делая решающее ударение на первом слове, беря второе в уничтожительные кавычки, то как же не испытать неприязнь и раздражение, что какой-то гад из своих пытается всадить вдруг нож с тыла, перенося ударение обратно с прилагательного на существительное? Преподнося таким образом неожиданный подарок советской пропаганде?

Но эдичкин нож, быть может, в самую болезненную точку еще больше потому, что он не о "построении в одной, отдельно взятой стране" и прочих марксистских лозунгах, а о реальности сегодняшнего русского дня, об этом его парадоксе, что пусть нищ материально и духовно, а все равно русская душевная жизнь в нем процветает — и не просто, как прежде, но поскольку, кроме нее — почти ничего, то куда пышней, чем прежде, куда видней, и завидней, и очаровательней (то есть, в буквальном смысле: обладает еще большей способностью очаровывать, приручать, обессиливать, навсегда при себе оставлять).

Видите ли, если вообще говорить о Рае, ну да, том самом, первом, то разве эдичкина формулировка и к нему не подходит? Ясно же, что райский человек (обитатель Рая) это человек, не обладающий еще сознанием и счастливо не ведающий ни о смерти, ни о других противоречиях (разделениях) между материей и духом. И потому не придумавший еще разделение между добром и злом, и потому преспокойно попивающий шампанское, пока вокруг него творится обычное земное каждодневное кровопролитие.

Библейская легенда об Адаме и Еве как раз повествует о моменте появления человеческого с-о-знания (хотя момент тянулся миллион, а то и больше, лет; самое, быть может, сконденсированное литературное произведение всех времен). Философы-экзистенциалисты должны были бы не Авраама провозгласить первым

экзистенциальным героем на земле, но Адама и Еву. Но они этого не делают по причине, схожей с той, которая побуждает известное отношение к роману Лимонова... Автор обещает показать несколько позже, в чем, по его мнению, причины схожи, пока же он пользуется случаем поподробней рассмотреть, покрутить-повертеть в пальцах идею Рая в контрапункте с явлением "Советского рая", а также контрапункт между "советский" и "рай".

И то сказать, в ироническом противопоставлении, в уточнении на современность, когда вечному существительному предпослано современное прилагательное, заложена самая соль, высекается между ними самая искра, высвечивающая парадокс нашего существования, и отсюда — обжигающая горячность, художественная сила нашей литературы от Терца и Солженицына до Н. Мандельштам и Зиновьева, вся она укладывается в упомянутый сарказм, вся из него выходит.

Покинут — Рай, или покинут советский "рай"?

Ха, ха, кто-нибудь имеет глупость спрашивать? То есть, конечно, конечно, говоря в о о б щ е , всякий человек, покидая материнское чрево, покидает рай... а потом покидая детскую кроватку... или теплую ванну... ну да, это общечеловеческий сюжет: стремиться обратно (думая, что вперед) к раю, стенать по нему, а между тем роковым образом все дальше и дальше удаляться от него... Но мы-то тут причем? Это Лев Толстой мог отталкиваться от своей в детской кроватке идиллии, или Руссо... но мы-то к такой ли теме "вообще покинутости" рая привязаны, или — искусственно растянутого, накинутого с перехлестом на детские, отроческие, юные и даже взрослые годы современного земного (а другой, что, небесный был?) рая, вполне оберегающего-отгораживающего, хоть бы и колючей проволокой и границей на замке (да ведь и настоящий тоже не хуже охранялся угрозами бородатого Иеговы) — от тех же самых разделительных понятий добра и зла, жизни и смерти, материи и духа, рая, а?

...А ведь Адам и Ева тоже были люди без детства, тоже родились (прозрели) взрослыми!..

Немудрено нам хотеть и сильно хотеть, то есть прямо быть одержимыми желанием вырваться из нашего рая, коль скоро узнали ему цену — эй, послушайте, может быть, Адам и Ева точно так же были одержимы? В Библии об этом нет ничего, но миф о первом человеке короток так же, как коротко было "первое" сознание, так что вполне логично предположить негодование,

ужас, уныние, гнев и прочие чувства, овладевшие первым человеком, когда увидел, что пьет шампанское посреди первобытного ГУЛАГа. Немудрено нам находить такие гневные и исполненные страсти слова по отношению к Раю, которые давно забыты цивилизованным человечеством и кажутся ему неуклюжими, наивными, нелепыми, преувеличенными, то есть, повторяющимися зады — эй, вероятно, и Адам и Ева бормотали, кричали, выплевывали примитивным языком-мычанием тайну своего непосредственного, интимного знания Раю, и никто уже не понимал их, даже Каин с Авелем отмахивались. Иначе не может быть: откуда же взялась у человечества идея вернуться в Рай? То есть, нет, нет, весьма возможно, что сидя ночью у костра, подперев рукой голову, прислушиваясь к вою зверья из темноты, они поведывали внукам и правнукам о сказочном, небывалом, как мечта, мире, в котором они когда-то обитали, и вот эти-то рассказы... Но опять же нет и нет! Человек с самого начала живет противоречием, и скорее всего именно негодование и отрицание Раю Адамом и Евой были подвергнуты сомнению, осмеяны и забыты: они противоречили логике! Они противоречили и д е е раю, а человек с самого начала знал, что собирается жить этой идеей. И то сказать, поглядите на сегодняшних болельщиков раю: им так же мало дела до нашего конкретного райского опыта, как до нас самих. Им подавай кого-нибудь по их образу и подобию, кто им вычислит с научным видом, что допущены частные недостатки, ошибки, но путь выбран правильно, так что, пожалуйста, без паники. Наверное, и потому еще американский спец по нашей литературе отверг тогда книжку Лимонова: усек в ней какой-то анахронизм, что-то, что "уже было". Самый г р а д у с жалоб ее героя. Претенциозность его криков. Да, это правда, потому что в с е р а в н о (то есть, несмотря на весь его цинизм и неромантичность) есть в Эдичке что-то наивное. Не говоря о том, что и вообще американцы наивны, то есть не умеют, как русские смотреть "вслед самим себе" (Розанов) — ан нет, все равно Эдичка в чем-то более наивен: другой баланс разума и чувств. То есть, как будто чувства возмущаются е щ е тем, чем чувства западного человека давно не возмущаются т а к и м о б р а з о м . То есть, человек, пришедший из "раньше" времен.

Как Адам. Потому что Адам был человек стопроцентно "раньше-го" времени: раньше него — никого. Праотец, прастарик, прародитель. Подумайте, какая ирония судьбы: быть первым и одновре-

менно последним! Совершить самый юный, самый антинаивный, самый кардинальный духовный бунт в истории человечества и служить своим детям, внукам и правнукам мишенью под кличкой "старик"! А ведь несомненно, что служил, и знаете почему? Потому что на один только момент духовного прозрения его и хватило, ушибленный открывшимся знанием он всю остальную жизнь провел, не поднимая лица от земли, которую "в поте лица своего" возделывал с утра до ночи — все для того только, чтобы по инерции "со скорбью питаться от нее во все дни жизни". Иными (модными) словами: всю остальную жизнь провел в состоянии депрессии. И было от чего! И не только оттого, что открылась его сознанию правда реальности жизни, но еще и от того, что страдал своим, личным, конкретным знанием Рая (то есть, какова цена за пребывание в нем, и каковы из себя райские люди), в то время как всеми вокруг уже владела идея теоретического рая, и его просто никто не понимал уже.

Вот эта вторая часть рассуждения, право, любопытна. В смысле, что кому же могла прийти в голову, кроме выходца из Рая? То есть, идет речь не о русской ситуации, хотя конечно же, да, да, Россия всегда была как бы ближе к Раю, чем Европа, и соответственно русская литература. Иначе, почему это русские так трудно чувствовали себя за границей? И пытались то одно объяснение найти, то другое, между тем, как объяснение лежало на блюдечке: ближе к Раю, вот и все? И то же самое литература: градус ее экстремистских страстей и "сурьезность" в отношении добра и зла. Но сейчас речь об уникальной ситуации нашего времени, а то, что она случилась в России — ну хорошо, ну ладно, действительно скорей всего не случайно — но это уже не так важно, коли с л у ч л а с ь, то есть, оказались мы в Раю, то есть, оказались мы выходцами из Рая.

В книге Лимонова есть диалог между Эдичкой и другим эмигрантом в лифте гостиницы, и этот диалог может быть сравнен по своей "тихости" с "тихими" диалогами у Достоевского. Видите ли, когда Свидригайлов приходит к Раскольникову, оба они начинают говорить шепотом — а почему? Потому что оба находятся в крайнем человеческом положении, один убил, другой — собирается покончить с собой, и вот между ними происходит что-то такое, что объединяет их, хотя друг друга оба ненавидят. Они начинают слышать тишину вокруг себя, будто у ж е летят там, в абсолютно тихом (безвоздушном?) пространстве, которое иногда

называют бесконечностью, а Достоевский почему-то любит ассоциировать с адом.

“А я поеду, — продолжает он тихо. — Я, понимаешь, там впал в амбицию, слишком много о себе возомнил, а вот приехал, и увидел, что ни на что не способен. Покою хочу. Куда-нибудь в Тульскую область, домишко, рыбки половить, ружьишко, учителем в сельскую школу пристроиться. Здесь ад, — говорит”.

Таковы слова Адама непосредственно по выходе из Рая. И если есть на небесах книга, в которой гравирована золотом по высшей справедливости все существенное, что было написано о человеке, то эта цитата занесена туда наравне с цитатами из “Гамлета” или “Братьев Карамазовых”, “Короля Лира” или “Процесса”, ибо она о том же самом: о крайнем, то есть, невыносимом страдании, и в то же самое время самом неизбежном, что может случиться в человеческой ситуации.

Только на этот раз ситуация такова, что она не повторялась на земле миллионы лет. Ситуация танца от печки, начала от нуля. Уясните себе, о чем идет речь? Речь идет не более не менее, как о первом человеческом духовном прозрении, о качественном скачке, о райском человеке, в один прекрасный момент оказавшимся за оградой Рая. “Я, понимаешь, там впал в амбицию, слишком много о себе возомнил, а вот приехал, и увидел, что ни на что не способен”, — говорит он, и угадайте, какие слова здесь свидетельствуют о скачке? “Впал в амбицию”? Тут, конечно, начало пути, но не это, а “увидел, что ни на что не способен” — вот слова. Человек обретает способность рефлексировать на самого себя, созерцать и оценивать со стороны, и немедленно делает честный вывод, который потрясает его существо до самого основания. То же самое случилось с Адамом, и именно потому о нем нет ничего больше в Библии, кроме как “со скорбию” питался от “проклятой” земли, “произраставшей” для него “терни и волчцы”. Несомненно, его тоже можно было узнать со спины “по какой-то подавленной тоске во всей фигуре”, — как почти всех “русских”, которые “несут на себе печать несчастья”, и вот почему философы обходят его фигуру молчанием, не возносят на пьедестал экзистенциального героя.

И то же самое сегодня. Когда-то Булгаков первым написал современного Адама, только — легко, с юмором — и вышел Шариков. Но даже, если всерьез, и если даже Шариков о Шарикове, с внутренней симпатией, так сказать, все равно дальше шариковской

первоосновы не шагнуть. Ну, а коли так, то — тут же, не растерявшись, широким жестом сдернуть с головы кепку и попросить у публики пару минут внимания. Смеетесь, говорите, над Шариковым? Правильно делаете, давайте вместе посмеемся. Вот вам представленьице наподобие кукольного, а не то — скоморошьего. Взвейтесь, дудочки, отыграйте остренько увертюрку, а мы пока на голове пройдемся, да еще коленцами, коленцами — расчищая круг. Представим вам прежде всего главного героя спектакля, вот он, перед вами. Грррр, ммм, грр... прощения просим, он еще не привык к человеческой речи, соскальзывает зачастую на прежнее... Мы слышим в толпе насмешки, видим иронически скривившиеся лица... но, господа, почему? Почему после всего такая несправедливость, господа? Ведь вы же так цивилизованны и гуманны по отношению к варварству... именно к варварству, коего экзотикой как будто заморожены, и вот всякие там африканские маски и прочие примитивные скульптуры, которые вывозите с того континента заодно с их шаманами, магическими плясунами, — так почему же такая суровость к сегодняшнему русскому варвару? Почему суровость и насмешка советскому варвару, будто он — что-то постыдное и непозволительное, — ах, нет, нет, не к советскому, а антисоветскому, простите, простите, как же упущено! Теперь понял (хлопок по лбу и несколько радостных коленец)! Не варвар вас раздражает, не недостижимый, без всяких современных комплексов обитатель райских первобытностей, но — Адам, вот кто предатель и жалкая личность! А не было бы его — и были бы мы все по сей день в Раю! Да, да, вы совершенно правы, с Адама все эти штучки с раздвоением личности и прочей шизофренией как раз и начинаются. Вот он произносит уныло: "Я, понимаешь, там впал в амбицию, слишком много о себе возомнил..." и т. д., а через несколько секунд другим голосом: "Стыдно возвращаться. Засмеют. Я не поеду. Я никогда не иду назад". А еще через несколько секунд еще другим голосом на этот раз пророка в кителе: "Что спишь, ленивый раб? Время давно пришло и прошло..." (Солженицын, "Бодался теленок с дубом") — удивляться тут нечему, коль скоро разыгрывается сказочка о первом человеке, то кроме него ведь нет больше никого на земле, не так ли? Значит, если он хочет общаться по-человечески, то должен сам с собой, на разные голоса, не правда ли? Раздваиваясь, растраиваясь, етсетера. Кроме того, положи руку на сердце: у кого еще столько оснований свихнуться перед лицом абсурдности

жизни, на кого еще когда падал с такой внезапностью (потому что в первый раз) груз реальности?

...Но как выходец из Рая, автор заявляет, что не хочет поворачивать обратно. Он готов заплатить свою цену, и он платит ее тем состоянием одиночества и душевной иссушенности, которые неизбежны для всякого Адама, оказавшегося за оградой Рая. Он платит свою цену трезвым пониманием, как мало может Адам... на какую малость его хватает после... как, например, тяготна, клочковата и непрочна нить его мысли (единственного, вроде бы, оправдания способа его существования) : попробуй ее огнем спички на "чистую шерсть" — ку-уда там. Вот и сейчас он с трудом, совершенно по-шариковски морщит лоб, пытаюсь вспомнить, что хотел сказать, когда начинал статью... почему схватился за Лимонова?.. Ну да, ну да, его поразил и подпалил парадокс, что книга-то из двух слоев, одного — иллюзорного, якобы в попытке тянуть назад, стенать по расслаблению, по прошлому, а также в попытке соревноваться с Западом своей "материальностью", и другого, истинного, реального: в стенограмме факта, как в наше время покинуть Рай, взойти на костер, спалить себя в книжку. Гав, гав, восклицает обрадованно автор, вот, оказывается, это трудно сделать! То есть, не книжку даже написать, но просто — сгореть в собственный костюмчик в наше время и на нашем месте. Да, да, теперь автор вспоминает, почему начинал статью и почему испытывал чувство торжества, как, знаете, те люди, которые узнали, якобы, правду какую-то и тут же желают оповестить весь мир. Автор желал оповестить мир, что какая фальшивая идея, что, мол, у русских литература в крови, им ее легко создавать. Наоборот, именно потому что русские были всегда "ближе к раю", им литература давалась т р у д н е й , чем другим нациям, если другим — потом, то русским — потом и кровью, как говорится! А теперь, после советского полного Рая и подавней — и насколько же лимоновский роман, истинная тема которого с о з д а н и е р о м а н а (осуществление художника) , показывает это!

Только, если упомянута кровь, то вовсе не та, буквальная кровь расстрелов и лагерей. Какая фальшивая (романтическая) идея, что, мол, чем больше притеснений, тем большая литература выскакивает! Какая слабенькая ложь! Страдание, мол, возвышает человека, ха, ха. До какой-то поры, до какой-то черты — да, возвышает, а потом — ка-а-ак пригнет, да ка-а-ак притупит все чувства, да ка-а-ак обеднит, превратит в раба и автомат, об этом вы

не подумали? Даже из такого беспокойного, всегда в движении, всегда в катаклизме писателя, как Достоевский, сумели мумию сделать, в душеспасительные рецептики закостенить — вот и со страданием тоже — ах вы, духовные жулики, ловкие рабы, — все вы, кто пытается жить в прошлом или “вне времени”, — обитатели верные Рая! Т а кровь тьлько помогала о с в о б о д и т ь от страдания, поскольку была перейдена черта, и человек уже не существовал по-человечески, но становился покорным обитателем Рая, освобождался таким образом, действительно становился свободным, — только кем? Доадамом? И ему уже не нужно было думать о том, о чем все равно ведь невозможно было думать или слишком поздно было думать... и потому кровь и террор были ему ловко на руку, дабы поддержать состояние означенной свободы... а потом уже и без крови, по инерции достаточно, чтобы не было ни человека, ни литературы... А теперь хотите это нулевое состояние аннулировать? Притвориться, что его быть не бывало, оно не е с т ь сейчас, и что вы (мы) такие же люди, как всегда были, только обогащенные неким опытом? Еще как “обогатченные”! Возвращенные в метастазной культуре душевности, которая куда каким славным райским бальзамом оказалась! На все случаи жизни! От всех неприятностей и противоречий и сложностей защита! Лагеря? — пожалуйста, приложим бальзам к долженствующей быть душевной ране, — и нет ее, и — лагерям оправдание, и — их, можно сказать, тоже нет. Афганистан? Тут уж и подавно... А между тем русская литература... да, т а русская литература, которая выхаркивала свое с кровью — не посторонней, чужой, соседской — но собственной, с кусочками собственных легких — и потому, быть может, скончалась так быстро вместе с чахоточным Чеховым — так что же: она вышла такая, какая вышла, благодаря несвободе, как учат сегодняшние обитатели Рая, всякие славянофилы и почвенники новоиспеченные? Потому что царизм благотворно притеснял, и предлагают выбирать — Пушкин или свобода, мол... вот жулье. Как бы не так! Им почему-то не приходит в голову, что лицейская свобода тут, может быть, больше дала, чем царская несвобода. Что свобода как раз и вообще, а в России — тем мучительней — притесняет дух к поиску, как центрифуга к стенке. Что от несвободы-то стенки все равно никуда не деться, все равно рано или поздно тебя об нее расплющит, все равно ведь упадешь рано или поздно тупым звуком мешка с костями, так что уж тут... но хоть на мгновение ощутишь, будто освободился от

веса и тела! Впрочем, жуликам этого не нужно, их в центрифугу калачом не заманишь, им от стенки-то любой ценой подальше держаться... Но какая ловкая идея! Если бы действительно от несвободы духовный расцвет зависел, то после наших несвобод — какая литература должна была прорезаться, какой еще не бывало, какая и XIX веку не снилась — ну и где она? Почему у нас сплошь да рядом, если даже писатель напишет одну живую, горячую, бьющую пульсом художественности книгу, то тут же опадает, и сколько не пытается повторить успех — ничего не выходит... ну а этих-то живых книжек тоже раз-два и обчелся? Тем и замечателен лимоновский роман, что на противоположную сторону дела указывает. "В том мире, откуда я уехал... всякий имел право расслабиться, если мог и хотел", — вот именно, какая замечательная фраза. В том самом мире, в котором Эдичка "был" поэтом, а иные, и очень многие, остались и продолжают "быть" — расслабляться и пить шампанское. На поверхности книга о жалобе на "нерайскость" иного мира, но по самой своей сути — стенограмма того, какой же трудный путь сегодня нужно пройти русскому писателю, чтобы написать настоящую книгу, чтобы из расслабляющегося шампанским обитателя Рая превратиться в иссушенного одиночеством Адама. На поверхности — стенания, что польстился на посулы Солженицына, дал завлечь себя за пределы Рая, а подспудно — зависть и соревнование с тем, кто сумел покинуть Рай еще там, не выходя за его пределы. Солженицыну "повезло", он сумел сгореть в лагерях, а вот Эдичке пришлось по-детски (по-адамы) буквально, без всяких переносных смыслов, переместиться за пределы советской России для этого.

Тут-то и знаменательна разница между пастернаковской судьбой, или ахматовской или еще чьей из того времени: что наши судьбы принадлежат другому времени. Тем людям сгорать в свою уникальность ничего не стоило с юных лет, они принадлежали к моменту русской истории, наиболее удаленному от рая, моменту максимального напряжения, сухой заряженности в воздухе (только чиркни спичкой, все вспыхнет). Но с нами дело обстоит иначе, нам, райским людям, следует платить большую цену, ежели решаемся на подобную роскошь, в Адама превратиться или Еву: стать чужеземцем в собственной земле, инопланетчиком в собственном космосе... Вот зачем за граница нас магически притягивала! А потом вдруг оказывалась безвоздушным пространством...

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

— *Как вы начали свою писательскую карьеру?*

— Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что моя писательская карьера началась, когда я научилась писать, а это было довольно давно. Я всегда принадлежала к категории “профессиональных писателей”, то есть зарабатывала свой хлеб насущный — хорошо ли, плохо ли, это другой вопрос, — но зарабатывала своими писаниями.

-- *То есть еще в России?*

— Конечно, еще в России. Там я переводила поэзию, — у меня на полке стоит солидная батарея переведенных мною книг; там я писала стихи, которые не печатали, так что только в Израиле я выпустила в свет поэтический сборник “Папоротник”; там были изданы мною две книги стихов для детей “Перекресток” и “Переполах”; там я писала пьесы для детского театра, довольно успешно, пока моя карьера драматурга не прервалась, когда я начала писать пьесы для взрослых. Тут выяснилось, что мне не удастся найти общего языка с советской властью, ибо ее критерии как политические, так эстетические и человеческие, — не соответствуют моим.

— *Что для вас как для писателя означал отъезд?*

— Казалось бы, мой полный

Нина Воронель

ВОСКРЕШЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

(Интервью для журнала “22”)

разрыв с официальной советской литературой должен был побуждать меня к отъезду, но моя принадлежность к русской культуре привязывала меня к ненавистному месту, делая мое положение безысходным. И потому, не желая оставаться в России, я считала, что, уезжая, я совершаю акт профессионального самоубийства. В каком-то смысле это, конечно, и было самоубийство, но просто ответ на вопрос: "Существует ли жизнь после смерти?" — в этом случае оказался положительным. Уехав, я умерла как писатель: ведь это была не просто профессия, это была моя жизнь. Там я понимала все, я видела тамошние проблемы до самого корня и точно знала, где проходит водораздел между добром и злом. Я знала до мелочей ментальность российского человека и различала тончайшие оттенки этой ментальности, я могла наперед предсказать реакцию любого своего героя на любое событие и слово, и диалог писать мне было просто как дышать. И все это я потеряла: все это осталось там, куда я никогда не вернусь.

— *То есть вы воспринимаете свой отъезд как трагедию?*

— Как я уже сказала, выяснилось, что после смерти существует жизнь. Ворота в эту новую жизнь хорошо охраняются и плата за вход очень высока, но всегда остается надежда в эту новую жизнь проникнуть. И потому я рассматриваю свою судьбу не как трагедию, а как драму, ибо драма — это трагедия с возможностью положительного исхода.

— *Почему вы считаете, что положительный исход возможен?*

— Потому что несколько раз мне удавалось проникнуть за эти зорко охраняемые ворота. Многие мои пьесы были поставлены несколько раз в разных странах, на разных языках, некоторые мои сценарии были превращены в фильмы, один ("Последние минуты") даже дважды — Израильским телевидением и Лондонской телестудией "Темз ТВ" — и показан на международном фестивале телефильмов в Венеции, а другой — "Абортная палата" — получил международную премию Берлинского Сената в виде изрядной суммы немецких марок на производство и был экранизован израильской кинокомпанией "Сагиттариус" при соучастии немецкой киностудии "ССС". И при всем при том каждый мой выход на сцену или на экран был точечным, а не линейным. Иными словами, он нисколько не обуславливал мой следующий выход: казалось, будто зыбучие пески смыкаются над моей головой, наглухо засыпая только что открывшийся вход и снова обрекая меня на долгие поиски нового.

— *Может, дело в том, что все, поставленное вами, было написано на русском материале?*

— Увы, в этом есть большая доля правды. Ведь здешний интерес к российским проблемам не более, чем точечный.

— *Вы думаете, что сегодня уже могли бы написать пьесу на израильском материале?*

— Я не только так думаю, я уже пишу. Весь вопрос в том — что получается. Несмотря на то, что переход на израильские темы потребовал от меня многолетних усилий и огромного напряжения, еще не ясно, каковы мои достижения. Я уже сказала, что там я писала как дышала: ведь я описывала мир, в котором родилась и выросла, хоть моя эмоциональная связь с этим миром больше похожа на ненависть, чем на любовь. Что ж, для писателя не любовь важна, а знание. А здешний мир я хоть и люблю, но не понимаю еще в той детальности, которая требуется для истинного его воплощения в слове.

— *А может, все дело в слове? Если писать по-русски, не живя в России, то ведь и русский язык теряется вне языковой среды.*

— Я не думаю, что у меня могут быть затруднения с русским языком. Он циркулирует в моей крови вместе с кислородом и останется там во всей своей полноте, пока я дышу.

— *Но ведь язык меняется...*

— Развитие языка — процесс медленный, а я так давно начала, что, надеюсь, на мой век хватит. Меня не так пугает потеря связи с языковой средой, как потеря связи с российской реальностью, которая для нас остановилась, замерла, как на фотографии, в момент нашего отъезда. А ведь на деле она не остановилась и не замерла, она продолжает развиваться во времени, но уже без нас. И мы не знаем, как это ее развитие и даже само наше отсутствие изменило ее облик, доселе такой нам знакомый. Я потому и считаю ситуацию писателя в изгнании — ведь отрыв от родной почвы, пусть даже добровольный, для писателя всегда изгнание — трагичным, что предмет его творчества с годами становится все более беспредметным: тот мир, который мы силимся открыть своему новому читателю, на деле уже не существует. Мы лезем из кожи, чтобы воспроизвести фантом, остановить мгновение, давно канувшее в небытие.

— *Но здесь у вас есть новая ориентация.*

— Именно эта, как вы ее называете, новая ориентация дает слабую надежду на положительный исход, способный превратить

трагедию в драму. Все зависит от твоей жизнеспособности, от умения открыть глаза и увидеть, а увидевши, понять, а понявши — принять, приручить и включить в свой микрокосм. А потом об этом написать. Все вместе — задача почти невыполнимая, где именно это “почти” создает основу драматического конфликта. У писателя почва ушла из-под ног, но он начинает робко нащупывать новую, сперва осторожно, кончиками пальцев, потом все настойчивей, и наконец становится на ноги. Весь вопрос — провалится или устоит? Если провалится, тогда все, кранты, поминай, как звали.

— *Есть и другое мнение — что ситуация на самом деле не такая трагическая, в ней можно найти свои достоинства. Например, многие говорят, что писатель-эмигрант получает в Израиле свободную площадку. С одной стороны, он порвал с Россией, где он был привязан к чужой традиции. С другой стороны, с ивритской культурой он тоже не имеет ничего общего. Формально ситуация трагическая, но зато есть много пространства — делай, что хочешь. И некоторые авторы за это ухватились...*

— Мне это напоминает замечательное высказывание: мне хорошо — я сирота. В этом на самом деле что-то есть, иногда сиротой быть хорошо. Мой давний приятель, латышский поэт, который попал на семь лет в лагерь, вышел и сказал: это было счастливое время, я очень многому научился и стал настоящим поэтом. Можно в любой трагической ситуации найти утешение. Но, однако, это не более, чем иллюзия, — писатель не может быть совершенно свободен, ибо он — соучастник культурного процесса, который есть явление коллективное. По-моему, единственное, что нам остается — это отказаться от утешительного самообмана о самоценности нашего замкнутого микромира и постараться писать так, чтобы быть принятыми в здешнее культурное сообщество.

— *То есть вы не хотите оставаться в рамках русскоязычной субкультуры? Почему?*

— Своим вопросом вы практически уже дали ответ на него. Я не хочу оставаться в рамках какой бы то ни было субкультуры. Ее кажущаяся свобода, неотвратимо превращая литературу в самиздат, ведет к снижению профессионального уровня. Мы сами не замечаем, как, загнанные в безвоздушное пространство субкультурного гетто, начинаем спешно пересматривать свои профессиональные критерии, приспособливая их к нашим узкоместным масштабам, а страшней этого, на мой взгляд, ничего быть не может.

— *Вы могли бы сказать об этом подробнее?*

— Да что тут говорить, когда все как на ладони. Но, если хотите, могу уточнить. Литературный процесс, грубо говоря, составляется из трех элементов: из объекта творчества — то есть описываемой реальности, из его субъекта — то есть писателя, и из его адресата — то есть читателя. В случае замкнутой умирающей субкультуры все три постепенно подвергаются коррозии временем. Реальность, как я уже говорила, превращается в фантом, читатель постепенно стареет, вымирает или перестает читать по-русски, и самое страшное — писатель из профессионала превращается в любителя.

— *Что это значит?*

— Ну, во-первых, по определению: он не может заработать на жизнь своим профессиональным трудом; а во-вторых, в результате неполноценности профессионального общения в условиях субкультуры. Я уже сказала вам, что рассматриваю любого писателя, даже самого что ни на есть оригинального, как соучастника коллективного процесса, а в условиях эмиграции процесс этот напоминает "вечный бой". Писатель в любых условиях — существо нервное и эгоцентричное, а тут — о Боже! Денег нет, читателей меньше, чем писателей, привычные ценности и представления оказываются непригодными, и совершенно неясно, куда бежать, в кого стрелять. Вот и начинают стрелять друг в друга. Или, наоборот, друг друга безудержно хвалить, неявно доказывая таким образом и собственную ценность. В любом случае нормальное профессиональное общение становится практически невозможным.

— *Вы имеете в виду, что нет, скажем, критики?*

— Нет ничего, что создает профессиональную атмосферу: ни критики, ни нормального редакторского надзора, ни заинтересованного обсуждения того, что написано коллегами, — иными словами, приходится писать в типично самиздатской, партизанской обстановке, где каждый сам себе атаман. И нет читателя в количестве, достаточном для правильной самооценки.

— *Значит, вы потеряли редактора, критика, среду и читателя...*

— Да, но главное, я потеряла веру в высокий уровень вскормившей меня российской словесности, казавшийся мне доселе неоспоримым. Ведь песня-самохвалка о том, что мы — прямые наследники Толстого и Достоевского, с припевом: "Все мы выросли из гоголевской шинели" — верна лишь в общеисторическом ракурсе. В реальности же между нами и этими славными имена-

ми пеплом лежит выжженная полоса сталинского и послесталинского безвременья, на которой ничего путного за эти годы не выросло. Не пытайтесь в виде возражения называть мне отдельные имена, — как бы ни были они мне дороги, они ничего не меняют, ибо суть не в них, а в том, что наглухо закрытые створки Железного Занавеса остановили развитие литературного процесса.

— *Что заставляет вас так думать?*

— Знакомство с достижениями литературы и драматургии свободного мира. Тут опять суть не в отдельных именах, а в широком фронте коллективного профессионального проникновения в новые области духа и формы. Интересным примером нашего, мягко говоря, запаздывания может служить взрывчатый успех лимонковского “Эдички”, а ведь он всего-навсего перепевает пятидесятилетней давности Генри Миллера, у которого слезливая сентиментальность точно так же соседствует с пахучей похабелю, а революционная романтика с расчетливым цинизмом.

— *И вы надеетесь справиться с этим нашим, как вы его называете, запаздыванием?*

— Ну, ясно, надеюсь — то есть, делаю, что могу, и полагаюсь на милость Всевышнего.

— *Что же вы делаете? Какой видите выход?*

— Я, конечно, не могу предложить универсальный рецепт, но свой путь я представляю себе довольно ясно. Как-то Корней Чуковский изложил свой жизненный принцип в форме следующего афоризма: “Когда все вокруг меняли взгляды, я менял жанры”. Вот и я прохожу различные стадии своего вживания в новую реальность путем смены жанров. Было бы хвастовством заявить, что я это делала с заранее обдуманном намерением, — просто, оглянувшись назад, я утерла неизбежные слезы и обнаружила ошметки сохшейся кожи, сброшенной мной на всех поворотных пунктах тернистого пути моего воскрешения из мертвых.

— *Вы хотите сказать, что вы меняли кожу?*

— Ну да, меняла форму, кожу, жанр — в надежде сохранить себя.

— *С чего же вы начали?*

— Начала я, естественно, писать о русских проблемах и продолжала, пока память о той жизни была свежа, а потом еще некоторое время по инерции. Но с годами острота новых впечатлений стала вытравливать память о прошлом, да и спектр интересов сдвинулся с Востока на Запад. И как-то само собой получилось, что я покончила с русской темой и приступила к изучению куль-

турной жизни своего “загробного мира”. Я в прямом смысле превратила это в свою профессию — то есть не только в хобби, но и в источник заработка, потому что, честно говоря, терпеть не могу дилетантства. Я старалась прочесть и увидеть как можно больше, — благо у меня была такая возможность из-за свободного владения английским и частых поездок в разные страны. Результаты своего познания я оформляла в виде статей, которые были опубликованы во многих русскоязычных периодических изданиях и переданы на Россию радиостанциями “Свобода” и “Би-Би-Си”. В процессе написания статей я, желая поделиться с читателем своими находками, вынуждена была осмысливать и классифицировать их, и тем самым углубляла свое понимание культуры свободного мира.

— Но, мне кажется, вот уже несколько лет я не встречаю ваших статей.

— Да, похоже, у меня завершился период первоначального культурного накопления. И потому я сбросила журналистскую кожу и стала пробовать свои силы в других областях, используя все то, чему я за эти годы научилась. Я опять вернулась к драматургии и кинодраматургии, но уже на другом уровне.

— А как же ваш читатель? Тот, который читал ваши статьи в “Двадцать два” и в “Новом русском слове”? Вы отказались от контакта с ним?

— Ну да, с первого взгляда может так показаться, но в действительности, я надеюсь зайти к нему с другой стороны, если мне удастся прорваться на сцену или на экран.

— Но тогда это будет уже не тот читатель, к которому вы обращались, когда писали для русскоязычных изданий?

— В общем, конечно, не тот. Ведь читатель — одна из причин моей попытки к бегству из русской словесности. Мне невыносимо видеть, как редуют его ряды и как он старится вместе со мной. На наших литературных вечерах и поэтических сборищах меня охватывает гнетущая клаустрофобия: все меньше и меньше молодых лиц, молодых глаз — всякий, кто может, кто еще молод, уходит в нормальную жизнь, где культура и реальность не противоречат друг другу ни в языке, ни в традиции.

— Но на это жаловались и писатели, которые не имели ничего общего ни с эмиграцией, ни с русской средой, — что всякий автор и художник обречен жить в гетто. В любом случае, в любой культуре и во все времена. Томас Манн писал, что всякий выход в литературную среду порождает у него клаустрофобию. Любая культура, которая все-таки культура, всегда элитарна и всегда в каком-то смысле гетто. Или клуб.

— Тем наша субкультура, как вы ее называете, и отличается от

любой нормальной культуры, что она — просто гетто, во всех смыслах. И если элитарная культура — “гетто в каком-то смысле”, то “просто гетто” — ни в каком смысле не клуб, что говорит само за себя.

— *Недаром ведь существует выражение “башня из слоновой кости”...*

— Конечно, писатель по определению оторван от простого человека, который книжку не читает. И однако каждый писатель, каким бы высоколобым он ни был, ищет себе читателя. Для того он свои книги издает. Ищет и находит, поскольку в нормальных условиях в его распоряжении весь человеческий спектр, читающий на его языке. И потому у нормального писателя есть питательная среда, питающая его творчество. А в наших исключительных условиях такой среды нет, поскольку трудно назвать питательной средой крошечную каплю, высыхающую на глазах.

— *Но почему вы так упорно отрицаете существование читателя?*

— Ну что вы, я вовсе не записываю в число “мертвых душ” ни читателей, ни писателей, ни критиков. Я просто не могу назвать их конгломерат той питательной средой, которая создает самодостаточную культуру.

— *Вот у нас уже десять лет есть журнал, в котором, что ни говори, работают какие-то критики, вокруг которого есть какие-то читатели, есть среда, которая реагирует на ваши произведения...*

— Когда вы говорите “десять лет”, “двадцать лет”, меня просто мороз пробирает по коже. Ну что такое “десять лет”, “двадцать лет” в масштабе жизни культуры? Мгновения! Культура — это процесс, время течения которого определяется столетиями.

— *Но разве появление хороших произведений не оправдывает наше существование? Разве оно не означает, что трагедии нет?*

— Наше существование не нуждается в оправдании, мы существуем и этого достаточно. Но трагедии это не отменяет. Сам факт появления единичных хороших произведений не относится непосредственно к состоянию культуры — это частное явление, так сказать деталь биографии автора. Культура же — продукт коллективный, имеющий продолжительность во времени и в пространстве. А эмиграция прерывает и время, и пространство, так что мы продолжаем творить в вакууме, в отрыве от своей метрополии, тогда как все наши ассоциации, все привычные нормы, начиная от согласования подлежащего со сказуемым и кончая согласованием прав и обязанностей, происходят оттуда.

— *Но некоторые эмигрантские писатели с легкостью уходят из этого.*

Возьмите Милана Кундера — с какой легкостью он перешел на французский...

— Во-первых, вы не знаете, так ли легко это ему далось. Но даже если это так, то ведь он — чех, а не русский. Чехословакия — маленькая страна, спокон веков открытая на Запад.

— Но ведь есть континент культур, и он един...

— Я надеюсь, вы сами понимаете, что это утверждение спорное. Но даже если представить, что это так, то я полагаю — это континент культуры свободного мира, куда российская культура не входит, не в пример чешской, которая органично вписывается туда как одна из провинций этого континента. Мне приходилось встречаться с чешскими интеллигентами в эмиграции, у меня даже есть друзья среди них. Это — совсем другие люди, ничем на нас не похожие. Все они свободно говорят на главных европейских языках, с легкостью переходя с одного на другой; все они привыкли свободно ездить по миру и быть в курсе основных мировых культурных событий. И потому они не стали, подобно нам, жертвами принадлежности к великой культуре, естественная самодостаточность которой усугубляется ее искусственной политической закрытостью. И потому, перефразируя известную поговорку: "Что чеху хорошо, то русскому карачун".

— Вы считаете, что мы так сильно отличаемся?

— Увы, считаю. Мы приезжаем сюда, как марсиане из романа Бредбери: поначалу мы проходим сквозь землян, как они проходят сквозь нас, ни в чем не соприкасаясь. И неважно, что порой мы употребляем те же слова и выражения, смысл в них мы вкладываем разный. Я надеюсь, многие из их представлений мы можем освоить со временем, но никогда это знание не станет таким органичным, каким оно бывает у людей, получивших его с молоком матери.

— Вы все время говорите "мы" и "они". Но ведь такое взаимонепонимание происходит и внутри одной и той же культуры, одного и того же языка. Это сейчас общая ситуация в мире...

— Все общие ситуации накладываются на нашу частную, как довески. Но главный груз — наш и только наш.

— Ведь у многих израильских журналов ограниченный круг читателей...

— Безусловно, но ведь вся суть в критической массе, которая определяет жизнеспособность каждого явления. Всего нашего набора критиков, читателей и писателей не хватает на создание самостоятельной культуры. Те, которые надеются, что мы тут,

как Робинзоны на необитаемом острове, создадим новую культуру, по-моему, просто себя утешают.

— Но и западные журналы, и израильские — они тоже имеют тираж в тысячу экземпляров...

— Но сколько этих журналов?!

— Они порой выходят менее регулярно, чем наш журнал, имеют меньше читателей...

— Разве я сказала, что наш журнал не может существовать? Или что он не нужен? Наш журнал — это замечательное явление. Он спасает очень многих людей от отчаяния, он дает возможность людям писать, он дает возможность читателю читать, он поддерживает нас, он вообще дает нам возможность жить, потому что вокруг журнала возникает воздух. Мы живем, а не прозябаем. У нас есть о чем говорить, о чем думать, из-за чего волноваться, у нас есть дивное постоянное занятие. Мы не умираем, не гнием, а живем. Но все это — наш частный случай, который исчезнет вместе с нами, так как у нас нет продолжателей, ибо молодежь уходит из нашей призрачной жизни в реальную. Именно преемственностью отличаются израильские журналы, пусть даже малотиражные и недолговечные, от нашего. Община, имеющая свою землю, свою полицию, армию, правительство, преступность и проституток, имеет шанс создать культуру. Маленькая община, живущая в отрыве от армии, полиции, проституции и преступности, не имеет.

— Но ведь все это мы имеем как израильские граждане...

— Как израильские граждане мы участвуем в создании той культуры, на содержание которой платим налоги.

— Но в этой культуре писатель страдает от тех же причин, от которых страдаем и мы — от равнодушия массового читателя.

— Да, массовый читатель всюду одинаков: он не хочет читать, он хочет смотреть комедии по телевизору.

— Вот это и есть главный водораздел. Конфликт между зональными культурами вторичен, главный конфликт — между массовой культурой и элитарной.

— Мы с вами все время ходим по кругу из-за неточных определений. Несомненно, восстание масс предопределило выход на сцену массового читателя, слушателя, зрителя, покупателя, то есть создало то, что мы называем массовой культурой, — называем по инерции, ибо это явление не есть культура в том смысле слова, к которому мы привыкли. Это нечто новое.

— Так это и говорит в пользу узкого круга читателей.

— Это кому как. Мне, например, это говорит в пользу широкого круга зрителей. Во-первых, потому что я всегда на стороне нового, а во-вторых, потому что только признание широкого круга дает чувство профессиональной принадлежности. Дело не в том, что широкий круг понимает лучше, чем узкий, скорее наоборот, но узкий круг слишком часто замыкается в рамки сугубо местных оценок и совершенно теряет критерии качества.

— *Как же вы находите путь к сердцу массового читателя?*

— Ну, я пока еще не нахожу, а только ищущу. И делаю я это с помощью своего излюбленного метода смены жанров — я пишу сценарии, причем не по-русски, а по-английски.

— *Почему сценарии? И почему по-английски?*

— По-английски — потому что сценарии ни к чему писать по-русски, кто их прочтет? А сценарии — в значительной степени потому, что их можно писать по-английски, тогда как прозу невозможно. Ну и конечно потому, что я люблю писать для кино, мне кажется, что в этой области я достигла профессионального уровня, — ведь я вам уже сказала, что терпеть не могу дилетанства. И вдобавок — нет круга шире, чем круг кинозрителей. Как говорится — умирать, так с музыкой!

— *Но ведь создавая такую промежуточную форму как сценарий, вы отказываетесь участвовать в делании культуры!*

— Кто вам это сказал? Откуда вам известно, где именно делается культура? Я представляю себе все совершенно иначе — главное, вырваться из душной затхлости нашего гетто, ибо только на свежем воздухе можно рассчитывать на соучастие в культурном процессе. Тем более, что написание сценария требует разнообразного мастерства, многогранных познаний и глубокого понимания многих неочевидных вещей. Да и сама сценарная форма представляет такое сопротивление материала, которое невольно оттачивает все профессиональные навыки.

— *И у вас нет ностальгии? Вы поменяли жанр окончательно?*

— Вы знаете, что такое окончательное решение? Нет, я к нему еще не готова, я собираюсь еще много раз менять жанры, — ведь процесс моего вживания в новую жизнь еще не завершен. Последнее время я почувствовала в себе возрождение интереса к драматургии, на каком-то новом уровне, вобравшем в себя опыт моих двенадцати лет на свободе.

— *На каком языке вы теперь пишете пьесы?*

— Пьесы я могу писать только по-русски — языковая ткань диалога не позволяет ничего другого.

— Но если вы пишете по-русски о здешних делах, вы не можете оперировать здешними реалиями...

— Почему не могу? Могу прекрасно — разве русский язык недостаточно богат и гибок, чтобы оперировать любыми реалиями? Вы тут путаете сущностную проблему с технической. Я не говорю, что технической проблемы нет, но она разрешима: я как переводчик понимаю, что все с некоторыми потерями можно перевести. Главное, достигнуть такого проникновения в здешнюю жизнь, чтобы написанное стоило переводить. Вот это уже задача не техническая.

— Ну, а что будет потом, когда вы ее решите?

— Потом я, быть может, попробую себя в прозе, у меня есть несколько задумок. Но это будет потом, а пока главное — поставленную проблему решить и в результате остаться в живых. Ведь известно, что решение одной проблемы вызывает к жизни множество новых...

Интервью велла Н. Гутина

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

...Талантливый композитор вынужден приписать свои творения вымышленному "народному гению", но вот "гений" является за славой собственной персоной...

...Кухарка, тронутая палочкой Феи, становится распорядительницей культурного ведомства, а Фея, ставшая кухаркой, оказывается лицом к лицу с похотливым кухаркиным мужем...

...Забредший на волжский дебаркадер Христос предстает перед хмельным скопищем человеческих уродцев, и они готовы распать подозрительного чужака...

И рядом с этими жуткими в своей правдивости, лишь оттененной фантастичностью, сценами советского быта — праздничная процессия Каннского фестиваля; закулисные тайны бродвейских театров; иронические портреты западных феминисток — иной мир, иные проблемы...

НИНА ВОРОНЕЛЬ

КАССИР ВЕЧНОСТИ (ПЬЕСЫ И ЭССЕ)

350 стр.

14 долларов

Эта книга — двуликий Янус, обращенный как к тем, кто ищет в литературе напряженного сюжетного драматизма, так и к тем, кто хочет с ее помощью понять окружающую новую жизнь.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НАД
ТЕКСТОМ

*“В горах мое сердце, а сам
я внизу.
Хожу на охоту, стреляю
козу”¹
Р. Бернс
(перевод С. Я. Маршак)*

1.

Листал я старинное сочинение, индийский трактат, что начинался приблизительно так: “Многие считают, что атман поэзии не существует. Все последующее сочинение мы посвятим атману поэзии”. Ниоим помыслом и никогда я не ощущал свою принадлежность к “многим сомневающимся”, а труд был с кирпич, и о том, чтоб прочесть его, не было и речи — я мгновенно согласился и доныне согласен: атман поэзии существует.

Все последующее сочинение мы посвятим переводу стиха, точнее — поэтическому переводу, переводу поэзии, а еще точнее — выведению и опровержению “Закона сохранения поэзии в природе” — но, скорее всего, мы не посвятим все последующее сочинение выведению и опровержению, а посвятим наше сочинение Ефиму Григорьевичу профессору Эдкннду, чьи крылатые слова: “В период реакции расцветает искусство перевода” — осеняли нашу безвозвратную юность, в чем профессор, собственно, почти и не виноват.

Михаил Генделев

ПОДСТРОЧНИК—87

или
заметки любителя о предмете
поэтического
перевода

Если бы кто-нибудь спросил меня, сочинителя стихов, переводчика стихов и поэта: "А что переводит поэт, занятый переводом стихов?" — потом сам бы ответил на этот вопрос: "Поэт переводит стихи", — я трижды согласился б:

Ты прав!
Ты прав,
Ты — прав...

...Определим произведение искусства (в том числе и стихи) как некоторое уникальное состояние материала (в нашем случае — слов, понятий и т. д., но, в первую очередь — языка), организованное в некотором уникальном (авторство, время создания, историческая сохранность и т. д. и т. п.) порядке. За скобками остается, таким образом — организация материала, а в скобках его уникальность, то есть — ценность.

То есть: "На холмы Грузии легла ночная мгла",

а не: "На холмах Грузии лежит ночная мгла"

и уж никак не: "На холмах Грузии легла ночная мгла" — и так далее. Или — наоборот.²

Есть, есть у меня сомнения относительно этого "принципа уникальности", особенно — относительно пресловутой точности и незаменимости каждого слова в стихе Поэта-Творца, а также каждого тропа, строки, строфы стиха и стихотворения, алфавита и словаря его Поэзии (поэзии только с Заглавной Буквы); и сомнения эти требуют отдельного обсуждения или, что убедительней, реализации на пространстве моей персональной поэтики. Но как бы то ни было — очевидно, что принцип уникальности противоречит практике поэтического перевода, а, вернее, практика находится в противоречии с этим принципом. Ибо перевод есть вариант текста на другом языке... Насущное наличие звуко-смысла в стихе — сам факт изменения качества целого при изменении качества его составляющих — все это определяет невозможность нового (другого) изложения, пересказа, а значит — и перевода.

В процессе перевода мы разрушаем ту, вышеупомянутую, уникальную организацию оригинала, ту целостность, что позволяет относиться к стиху, как произведению искусства, мы уничто-

жаем ценность произведения искусства, то самое — для нас — Святое... Но прежде чем лектор обведя змеиными очками осовевший амфитеатр, выдохнет: "Мы разрушаем Поззию!" — курсанты уже сражены навывлет демонстрацией простенького, например, опыта пересказа своими словами чего-нибудь в рифму из курса русского языка и литературы для нерусских школ. А лектор переведет дух, утрет лысину и добьет аудиторию: "И все-таки Он существует — Поэтический Перевод!" Аплодисменты. Буфет.

3.

Справка ученого соседа: стихотворение, подвергнутое переводу, как поэтическому, так и нет, претерпевает разрушение на всех уровнях структуры. Меняется порядок слов, их грамматическое подчинение, сами грамматика и синтаксис, ритм, размер (размеры русского, все-таки силлабо-тонического стиха не адекватны ни тонике, ни силлабике иноязычных поэзий: слоны русского ямба, хорей и амфибрахия весьма условно родственны мамонтам своей эллинской фамилии), меняется тропика (тропы, особенно имеющие грамматический и семантический характер, как например метонимия, контаминация, каламбур — не переводимы), идиоматика принципиально непереводаема, архитектоника стиха находится в кабальной зависимости от фонетики... И, наконец — уничтожается сам язык. "Язык — Дом Бытия"³ — сгорел...

Побредем с пепелища, зайдем на огонек дачи соседа-переводчика и спросим коллегу: как переводить на русский и обратно аллюзию зэповых "Лисы и винограда"? По Крылову? На французский понятно — аллюзией Лафонтена. Или, если угодно, другими словами: как обстоит дело с сокрушительной необратимостью, линейностью исторического, точнее — историко-литературного времени на пространстве перевода? Правильно. Не обстоит. Великий шулер В. В. Набоков, что перевел "Евгения Онегина" на английский язык Байрона, исходил по крайней мере из того формального обстоятельства, что Пушкин и Байрон, грубо говоря — современники; Анри Волохонский, переводя Катулла, использовал современную интеллигентски-приблатненную фразеологию, находя в личности Катулла черты социальной близости, исходя из типологии личности "поэта кружка", каковую

личность Волохонский честно попытался репродуцировать; а мы сами, то есть — я сам, ознакомившись с переводами своих, “кровных” текстов на язык иврит, пережил чувство, соизмеримое, пожалуй, с тем, какое пережил бы А. С. Пушкин, узнав, что его, Александра Сергеевича, стихи некий венгерского происхождения торговец недвижимостью в Иерусалиме любовно перевел с Хох Дойч (русского бедолага не знал) на Латина Вульгата, средневековую латынь.⁴ Курьезность, даже идиотичность вышеописанной ситуации не должна заслонять ее феноменологичность: а - , а н а - , и из о - х р о н н ы е возмущения сопутствуют всей практике перевода, его быту.

4.

Но — к родному пепелищу, где уже догорел язык, где обесценен, да и вообще уничтожен оригинал, слово, но дух витает над. Дух поэзии, простите — Поэзии. Существует мнение европейского мыслителя-специалиста⁵, подкрепленное авторитетом Пушкинского Дома АН СССР, что факт поэтического перевода иллюстрирует факт наличия Духа Поэзии. Я в это, то есть в духа, не верю. Я верю в “Бесов”. А вопрос, что переводит переводчик для меня является не вопросом веры, а вопросом литературного обихода.

Поэт пишет на том языке, какой у него есть, на котором он может писать и на котором он хочет (а он — хочет) быть понят. Это язык его способа существования в жизни, судьбе и поэзии. Речь народа присваивается поэтом и становится его авторским языком. Герметичность этого языка, конечно, свойство его хозяина-поэта. Вина же невосприятия, глухоты общества к поэту лежит на современниках или потомках — это свойство или, если угодно, характеристика — читателя⁶. Когда перевод с языка оригинала читателю не по плечу, язык ангела определен как птичий язык идиота.

Бывали времена, когда от поэта требовали, чтоб стиль остался, а человек — ушел. Это были времена истории, но не истории литературы. От поэта требовали анонимности — в гимнах, надписях, эпосах, молитвах. Неплохие, если разобраться, были времена, не хуже нынешних.

Да, и мертвые, высунутые языки поэтов — рознятся. И поболее, нежели язык висельника и белорусский. В то же время, хо-

тя каждый поэт пишет на языке своего народа, но дом — розни и единства языков поэтов разных времен и эпох — общий дом литературного бытия поэтов — существует, он — культура. Поэт говорит на языке поэтов, и его персональное сознание, отраженное в языке — есть поэтическое сознание. Читатель же понимает на языке своего народа. Проблема поэтического перевода — проблема понимания, то есть проблема читательская; она есть проблема прочтения, понимания и интерпретации текста, тем, кто его читает.

В мои планы не входило создание еще одной метафоры перевода; и не пытаюсь я перелицованный фантом “Духа Поэзии” выдать за некий “праностратический язык” Поэзии, безукоризненно проходящий горнило методик перевода; и не морочу читателя, спускаясь с ним в анатомичку стиха, где пинцетом приподняв фасцию тонкой связки, именую ее на жаргоне. Различия мертвого и живого, жизни и не — различия причины и следствий. Является ли причиной смерти смерть или предшествующая ей жизнь, это еще как посмотреть, но причиной разрушения стиха — является его разрушение. Что и подтвердит любой знакомый ви-висектор. Но то, что стих мертв, предполагает, не правда ли, что он был жив? И — это утешает. А сама по себе возможность перевода не компрометирует оригинала.

Требование, чтобы уничтоженный в процессе перевода стих обрел свойства живой поэзии — чудовищно, но правомочно.

Сочинение стиха и перевод, при всей схожести результатов, — не тождественны. Стихотворение есть результат стихотворения, как процесса. Перевод — результат перевода, как процесса перевода стихотворения. И если первоисточником стиха является личность автора-поэта, то источником перевода — стихотворение другого поэта. В двух последовательностях:

поэт <> стихотворение (как процесс) <> стихотворение (как результат),

стихотворение (как результат) < > перевод (процесс) <> стихотворение-перевод (результат), вторая триада не триада, а тетрада:

стихотворение < > переводчик <> перевод < > перевод-стихотворение.

Сведя цепи в одну и априорно утверждая, что перевод стиха должен быть живой поэзией⁷, то есть стихом, мы представим эту цепь:

поэт < > стихотворение < > переводчик < > перевод-стихотворение.

Перевод не изложение стиха, но его продолжение. В другом времени, на другом языке и другим автором. Переводчик стиха – автор поэтического перевода.

Что же это за пространство, где извращены причинно-следственные связи, где историческое время подвержено всякого рода возмущениям и нелинейно, где процесс стихотворения не прекращается со смертью автора, где с маниакальным постоянством воспроизводится тип личности поэта, где смерть или историческое исчезновение языка не отменяет поэзии на этом языке, где, наконец, “в период реакции расцветает искусство перевода”, что же это за пространство? Это пространство культуры.

5.

Расцвет поэтического перевода исторически приходится на периоды развития молодых национальных литератур, чей корпус поэзии количественно и качественно не набран, чьи антологии не укомплектованы. Например, таковым представляется современный Израиль, чья оригинальная поэзия количественно – а уж как качественно! – уступает переводной. Таковой была Россия от А. Кантемира до К. Мея. Скучность российской антологии удручала Пушкина... Употребляя столь сильное выражение “Расцвет перевода”, я отнюдь не подразумеваю под “расцветом” альпинизм шедевров перевода, каким является например перевод Лозинским Данте – нет, я имею в виду расцвет перевода, как формообразующего начала литературы. Речь идет не о культуртрегерской функции перевода иной поэзии, а о пополнении и наполнении арсенала национальной поэзии темами, сюжетами, приемами. Просветительские же тенденции, хотя, и быть может, представлялись насущными для переводчиков, для литературы таковыми не были. Поелику общество российское, ежели и вообще читывало

вириши — читало их по-немецки и по-аглички, и на родном французском, и читало их бодрее, охотнее и с большим пониманием, нежели на речении родных вотчин. Ни Шиллер, ни Гете не танцевали на балах российской поэзии золотого века: Венгерку (Венгерский), Польский (полонез), Мазурку — выплясывали Жуковский, Пушкин и Лермонтов. Переводы, их обручальные, обручения с Европой, кольца вплавлялись в колокола русского литья и малинили набат. Авторы ли интуитивно, законодательный ли вкус истории оглавлиали стихи-переводы — “Из...”. “Из Андре Шенье”. Авторами “стихов “Из...” были и являлись русские поэты. И, конечно, большее значение, чем непосредственный перевод в практике литературы имело то обстоятельство, что в эстетике “русского Ренессанса” поэзия и поэтика западная, прочитанная, усвоенная и пережитая, присутствовали явленно и насущно. Что же до переводов — то их достигнутой целью было: б ы т ь и я в л я т ь с я р у с с к и м и с т и х а м и . П е р в а я м о д а л ь н о с т ь п е р е в о д а б ы л а о т р а б о т а н а к к о н ц у X I X в е к а , и х о т я г о л о в а к о м е т ы п р е к л о н и л а с ь г д е - т о н а с о п к а х М а н ь ч ж у р и и , х в о с т е е е щ е в я л о о с е д а е т н а с р е д н е - р у с с к о й в о з в ы ш е н н о с т и — п ы л я в т а к н а з ы в а е м ы х “ в о л ь н ы х п е р е в о д а х ” , к о т о р ы е т а к л ю б и т п р о в и н ц и я (и а л ь т е р н а т и в о й к а к о в ы х , в п р o в и н ц и а л ь н о м п о н и м а н и и , я в л я е т с я “ н а у ч н ы й п е р е в о д ” . З а б а в н о , ч т о х в а л е н ы е ш е к с п и р о в с к и е п е р е в о д ы П а с т е р н а к а , л ю б и м ч и к а с о в р е м е н н о й п е р и ф е р и и o т Х а р ь к о в а д o П а р и ж а , в o б о й м e с М а р ш а к o м и Щ е п к и н о й - К у п е р н и к — в п о л н e у к л а д ы в а ю т с я в п р e д с т а в л e н и e o “ в o л ь н o м п e р e в o д e ”) ⁸.

С символизмом, вся эсхатология которого не открылась современникам до ее приложения к практике, на уровне подсознания (или бессознания) общества и внятного сознания потомков — стало ясно, что масса русской литературы приблизилась к критической, русская литература стала самодостаточной для неуправляемой реакции — смысл перевода, как формообразующего компонента, был утерян. Тогда и появились гении перевода.

Княжество перевода отложилось от Литературы Живой. Но — именно с символистами, а точнее — при них, уже формировались и формулировались требования к переводу, не как к форме изящной словесности, но как к феномену культуры. Целью перевода уже не было создание русского стиха — своих хватало! — целью перевода стало создание перевода. Ев-

ропейские литературы — а и русская была таковой — самоосмыслились на уровнях сознания их лидеров, как элементы другой иерархии — культуры. Культуры, как составляющей цивилизации. Этот процесс осмысления, перекодировки и привел, по нашему разумению, к качественному изменению европейской и мировой литературы, к жанровым инверсиям, кризису романа, падению французской и английской поэзии, взлету американских и славянских поэзий, цветению эссеистики, к Кафке, Джойсу, Прусту, Набокову и Борхесу. В России же, в силу специфики ее исторических пертурбаций, и — к Новому Переводу. Тогда, и только тогда, появились “Русский Шекспир” и “Русский Дант”. Что же изменилось в отношении стиха в самом переводе? П е р е в о д п е р е с т а л и с о ч и н я т ь , он перестал быть жанром литературы.

Общеизвестно, что гении перевода: Михаил Лозинский, Татьяна Гнедич, Бенедикт Лившиц — не были великими поэтами. Они были невеликими поэтами. Но — великими поэтами были Блок (переводивший так себе), Хлебников (кажется, вообще не переводивший), Ахматова (переводившая со среднекорейского), Мандельштам (за разговорами о Данте забывший его перевести) и, если угодно, Пастернак. Опять — Пастернак, баловень читателей перевода, пример на все случаи жизни, Борис Леонидович, Великий Переводчик Пастернак! Сам слышал, как его сын повествовал восхищенной аудитории, что папа переводил до 400 (четырёхсот) строк в день*. Осчастливил и Ходасевич своими переводами с идиша. Да жрать им было нечего, великим поэтам XX века! Вот и переводили. За деньги. А великим переводчикам нечего было писать.

Удачи имели место, невзирая на 400 строк в сутки и талант. Переводы с французского работы того же Пастернака или невероятный по классу перевод “Витязя в тигровой шкуре”, проделанный Заболоцким. По подстрочнику, конечно. И — конечно, в период реакции расцветает искусство перевода⁹. В период реакции на осмысление феномена Культуры. Когда надо — тогда и расцветает.

* Выступление Е. Б. Пастернака на вечере памяти Пастернака-переводчика, организованном секцией поэтического перевода ленинградским отделом ССП в доме писателей в 74-м году в Ленинграде.

6.

Корпус русской поэзии набран. Не оттого ли последнего крупного русского поэта И. Бродского, поэта просодически безусловно русского, постоянно упрекают в том, что его поэтика есть перевод с иностранного. Если, за малым исключением, все кадеты русской современной поэзии с той или иной степенью аппетита всухомятку дожевывают в своих сочинениях достижения поэтических школ десятих-тридцатых годов, а неоформалисты абсурдируют с переменным успехом уже абсурдированный, и когда еще, футуризм (нет ничего более унылого и третичного, чем так называемый современный авангард, идущий от Крученыха, а не от Хлебникова, и от Рюрика Ивнева и Шершеневича, а не от Вагинова), Бродский, и персонально он, в силу масштабности своего поэтического мышления, осуществил вторжение в массиве собственных текстов нового — иного, иностранного, в первую очередь англо-американского типа поэзии, как феномена культуры — типа современного, несмотря на неоклассический камуфляж. Сама почти космополитическая, а мы бы сказали — еврейско-европейская, прикладная идеология Бродского, типология его поэзии, ее эстетика — все это адресуется нам, если мы потрудимся вдруг, ни с того ни с сего, вскрыть и проанализировать истоки поэтики Бродского — к некой общеевропейской культурной традиции Зрелого Двадцатого века — к знаменам Жакоба, Целана, Гинсберга, к наследию Эллиота. Отсюда и интерес, бывший и настоящий, Иосифа Бродского к польской поэзии (К. И. Галчинскому и Ч. Милошу) и к английской поэзии. Никаких иных воздействий на современную поэзию поэзий иноязычных мы за последние полста лет не наблюдали¹⁰. То, что Бродский оказался на Западе, а не в Эмиграции, столь же закономерно, насколько закономерно присутствие в Эмиграции, но не на Западе, скажем, поэта И. Бурихина или поэта Э. Лимонова¹¹. (Интересно, с какого языка переводят И. Бродского в СССР?) Бродский отчислен из корпуса советской поэзии за космополитизм, и за ненужность¹².

7.

Само слово "перевод" по смыслу близко слову "метафора" (по-гречески — перенесение, перевозка). Я понимаю п о э т и ч е

ский перевод, как перемещение поэтических ценностей по пространству культуры.

Цивилизация без поэзии существовать может. И если таких цивилизаций еще не было, они будут. Но мы все еще представляем себе (и собой) — цивилизацию, как исторически непрерывную преемственность в накоплении и передаче из поколения в поколение ценностей культуры. А в ценности культуры наша цивилизация все еще включает поэзию. Эта пышная тирада уместна, ибо только произнеся ее, можно с относительной внятностью ответить на вопрос, что, собственно, переводит переводчик¹³ — переносчик поэтических ценностей на пространстве культуры, Сизиф своей собственной метафоры, игрок культурными реалиями на доске времени цивилизации¹⁴.

Перевести поэзию можно только в значении (о, интонация!) — свести ее на нет. Переводчик переводит, точнее — фиксирует в записи перевода, — свое, поэта-переводчика, восприятие иного, другого, поэта, и — его поэзии; но его — поэта и его поэзии — как элемента культуры и цивилизации. Другими словами: перевод есть запись культурного переживания поэтом поэзии другого поэта. Поэтому и отношения: оригинал <> перевод — адекватны отношениям: поэт <> поэт-переводчик — лишь при наличии общего культурного пространства, и степень приближения, коэффициент адекватности — зависит от устойчивости культурных структур текста по отношению к общему культурному контексту. Конечно, в данной схеме понятие “таланта переводчика” аналогично его способности престижитатора, имитатора и оценивается по глубине культурологической (а можно и антропологической) проницательности.

Предлагаемый читателю перевод только условно можно определить, как стихотворение одного поэта в переводе другого поэта. Читатель читает, в первую очередь, прочтение оригинала другим поэтом, его переводчиком и автором перевода-стихотворения. Он читает осуществление (продолжение существования или параллельное существование) стихотворения на другом языке, но в рамках единой культурной традиции и для читателя, и для переводчика, и для автора оригинала.

Тривиальность нашего вывода, что (поэтический) перевод есть запись (поэтическая) культурного переживания (поэта) при прочтении (этом) (поэтического) текста, резко уменьшается, если мы раскроем скобки, в которых навязчиво присутствует слово поэзия. Поэзия же в скобках, а также в кавычках не нуждается, как не нуждается и в Заглавных Буквах (но заглавные буквы и кавычки насущно необходимы “Духу Поэзии”, сравни – “Дух Ветра”). Поэзия – такое же явление природы культуры, как ветер – явление природы природы.

Поэтому, намеренно продемонстрировав методики анализа переводимого текста, я умышленно отказался от демонстрации методологии синтеза – то есть создания стихотворения-перевода. Заметим лишь, что при воспроизведении стихотворения на другом языке основное значение имеют такие внутренние составляющие текста, как просодия и интонация оригинала (и такие внешние, по отношению к конкретному тексту, как – исторический контекст) – факторы, которые разыгрываются (по любой системе исполнительского мастерства) с той, или иной достоверностью и артистизмом. Я считаю, что начинающим читателям-переводчикам, овладевающим искусством перевоплощения, доступны пособия по этому нехитрому мастерству. Сыграй же свою роль, читатель, не доверяя подстрочнику, в каком:

“И кто его знает,
чего он моргает”

выглядит как:

“Аф эхад ло йодеа
ма кара им га’эйнаим шело”.

и переводится как:

“Никто не знает
что там (случилось) с его глазами”.

Яффо. Июль-август 86 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все цитации в этих заметках на совести, которая это выдержит, автора заметок.

2. Я же предупреждал... (см. примечание № 1).
3. "Язык — Дом Бытия". М. Хайдеггер.
4. Сообщено Натальей Слепян-Левиной-Басиной.
5. Pareyson Luigi. Estetica. Teoria della formativita. Firenze, 1974, стр. 119. Цитируется по статье Э. Бацарелли "О переводе "Божественной Комедии" Лозинским. Система эквивалентов" в труде "Сравнительное изучение литературы". Сборник статей к 80-летию акад. М. П. Алексеева, изд-во "Наука" Л-д, 76 г., стр. 315.

6. Данте был и политическим поэтом, но где гвельфы!

7. Постериорные утверждения отмечаются, как неправомочные.

8. Наличие вольного перевода предполагает наличие перевода невольного. Терминология (как и теория) поэтического перевода — темна. Относительно разработаны только методики.

9. Агрономический подход вообще очень нагляден. Эпоха Николая Палкина (Пушкин, Лермонтов, Гоголь) — эпоха увядания. Эпоха товарища Эткинда (Хрущев и Солженицын) — сад в подвенечном уборе.

10. Механизм влияния перевода на русскую современную прозу — попроще. Отмечено влияние скверной, но отлично переведенной американской прозы (Апдайк и в первую очередь Хемингуэй) на так называемую "мэлодежную" скверную прозу 60-х, "прозу имени Райт-Ковалевой".

11. ...и Солженицына.

12. Современная израильская русскоязычная литература, которая, по ехидному замечанию литературоведа М. Вайскопфа, ничем не хуже современной израильской ивритоязычной литературы, далека от критической массы объема текстов. Сообщающиеся же сосуды этих жидких и не склонных к кристаллизации сред — сосуды, увы, несообщающиеся. Уместно было бы напомнить о переводе, как формообразующем начале литературы, да почти некому.

13. Смотри вопрос и три ответа в первом абзаце второй главки наших заметок.

14. Вообще, модель перевода, как культурной игры, представляется мне наиболее перспективной с точки зрения методической.

В порядке иллюстрации позволю себе привести нижеследующее упражнение.

М. Г.

Дан Цапка

ИДЕШЬ ПО РИМУ

...Идешь по Риму. Наизусть. Всех таинств причастья его.
 В гробу выдавши этот Рим когда еще... И бешенство
 сужает белые зрачки, и с закушенной губой
 на город шуришься, что мы, что так любили мы с тобой:
 на всю двусмысленность его объятий — хваток-на-излом,
 на кодлу "rerum dominos"* , на них, стоящих за углом,
 прекраснорядвийных рабынь, чьим тушкам достает страстей
 меж унижением своим и тошной волею своей.

* "rerum dominos" — *сверхчеловеки, дословно "цари народов" (лат.)*

“Какая гадость! — пишешь ты: какая низость! сколько лет дышу я воздухом тюрьмы, которой и названья нет!..”

...А вкус “кастельского” уже претит пресыщенным устам? увял букет? вин аромат лелеять небо перестал? и намозолил бельма Тибр? Джаниколо** у нас пустырь? базар провинциальный? А — когда и вспоминаешь ты — как пировали напролет на холме “Рафаэля”*** при игре на кровлях городских лучей медлительной зари, как слепо столбенели пред каскадов водяной резьбой, как папских скиснув... — говоришь: “Мы были молоды с тобой”.

...Ты константиновой стопы**** прожилки счел б и в темноте. Не харч в трактирах смаковал — трактирных пиршества страстей! Ты слышал грай ворон в речах политиков и, как с листа, читал по рылам, что маразм вписали подлость и тцета, когда, напротив их гнезда в “Мороженом “Джолитти”, мы подглядывали их возню из подворотен полутьмы.

...“Не-кро-поль” — медленно цедишь со всей гадливостью, давно отворотившись к городам отдохновенья сердцу, но ты ль не сходил за своего в шатре роскошной гольтьбы, что Вечность на песке времен раскидывает, чьи столбы вrost божествам — Агафье****, глаз ее слезинкою горит — и — Эрос Буйствующий... Взгляд стекает в боен лабиринт, где страждут пилигримы. Но — причастны к тайне счастья мы: “Рискуй украсть!” — чему залог — наше цветенье средь зимы!

...Да! одиночество — болезнь, но несмертельна эта боль. В рассвета пепеле, да склонит тень Эвридика над тобой! скует дыхание, распнет среди простынной белизны, но — ты, тоскуя, вспомнишь Рим прелестный наш, где даже в сны врывался город-Властелин Неулестимый, чья рука при склоне дня над головой вздымала монументы, как секиры, он — сокрывший лик подрябью ста карикатур — Рим — весь во всем и весь нигде, как по изгнанию — Сатурн!

...И тот ночной концерт в саду, когда, при факелах горя, и — от предчувствия! — лицо цвет принимало янтаря, и как всегда полувсерьез шептал ты, вспоминая ту, трамвайной незнакомки “ах, божественную красоту”...

* Джаниколо — сад в Риме, место художественных ярмарок.

** “Рафаэль” — о тель на одном из римских холмов.

*** Константинова стопа — Стопы статуи Св. Императора Константина в Ватикане.

**** Агафья, Агапэ (греч.) божество античного пантеона, аллегория нечувственной, неплотской любви.

...О, как терзает нежный слух квартет потасканных бродяг,
бродячих музыкантов, что поют на мертвых площадях,
(однако, с наслаждением мурлычешь их мотивчик, да?) —
еще бы! римлян сучью кровь — ты презирал ее всегда...

...Ты охолопел, Виртуоз Посланий-В-Склянках-По-Водам!
Рим — барин твой! А ты ему настолько душу запродад,
что трусишь, что твоя хвала простая Риму так проста,
что слух плебейский не почтят твоей духовности устал

или любовь так велика твоя к нему, что стала всей
твоею жизнью? и — нельзя! как только обожраться ей?
и что любовь самим должна тобою быть осквернена?
и только через скверну путь в мир из Горчичного Зерна!

...Ты — прав. Не принесли года свободы мне и счастья — нет!
И все еще привержен я пристрастиям юных наших лет.
Но тыще бесов дав приют в себе, я не менял лица,
но не осмеливался сам рубить наотмашь, до конца

по тонкой паутине над провалом черной пустоты;
как Гулливер!.. Чтоб боль! чтоб боль! чтобы — от шеи до пяты!
чтоб шорох боли в волосах!.. чтоб кожей всей своей: я — жив!

Перевод с языка иврит М. Генделева

Дан Цалка, израильский прозаик, поэт и переводчик. Родился в Варшаве в 1936 году. В 39-м году с семьей бежал в СССР, жил в Сибири и Казахстане, в 46-м году вернулся в Польшу. Изучал философию в Варшавском и Вроцлавском университетах. В 57-м году репатриировался в Израиль. Изучал философию и историю в Тель-Авивском университете, в 61-м—63-м годах — французскую литературу в Гренобле (Франция). Изданы романы: "Доктор Бар-Кель и сын" (67-й год), "Филипп Арбес" (78-й год), "Перчатки" (83-й год, в 86-м году в Израиле снят фильм по этому роману), три книги новелл, книга стихотворений (1986 г.).

Услышав, что речь идет о переводе из Байрона, она сказала: "Ну, разве нужно перерывать это старье? Ну, и так известно, что его на русский плохо переводили. Ну, плохо перевел его Маршак. Так кого он, кроме Бернса разве, перевел хорошо?" Мне удалось отшутиться.

С чего начать? Скажем, с такой цитаты:

Что доносит до нас перевод?
Двуязычный, я в поле не воин.
Несомненно, поэма живет,
Но я ах как ее недостоин!

Я до сих пор спрашиваю себя, простительно ли и позволительно ли знакомиться со стихотворным переводом тому, кто способен справиться с оригиналом или, тем более, с ним знаком. Может быть, перевод является интимным обращением к тем, кто от оригинала далек, и потому полномочно представляет перед ними его интересы, а может быть, по совместительству, и их интересы перед ним, оригиналом. Могут же некоторые профсоюзы представлять одновременно и трудящихся, и работодателей. Не невежливо ли вмешиваться в эти почти семейные отношения? Не явление ли он — перевод — особой культуры, специально для состоящих в обществе непосвященных — и не бесполезное ли дело спрашивать с переводчика — а что это он, собственно, напереводил? И должен ли по всему по этому перевод иметь отношение к оригиналу? Или оригинал — это вообще предлог?

Я подозреваю все же, что и в скепсисе не стоит заходить слишком далеко, и даже если переводчик ни-

Дэвид Юст

ОБ ОДНОМ ПЕРЕВОДЕ

чего не должен своим двуязычным коллегам, он все же имеет кое-какие обязательства по отношению если не к оригиналу, то хотя бы к автору — по сути, своему работодателю, — даже если тот скончался не одну сотню лет назад. Аналогично продавец газет не только обязан возвратить издательству большую часть выручки, но и не имеет права выдергивать из газеты страницы. Хочется думать, что переводчик имеет право не только на гонорар (минус налоги), — но только на что? Пожалуй, толковать оригинал — но, спрашивается, как будет он выглядеть, настаивая на секретном и интимном характере своего произведения? Да превосходно, так же, как те, кто ставит гриф “для служебного пользования” на западную периодику — как некто, ревниво блюдуший свои интересы. В свое время мне рассказали следующую правдивую историю, по-моему, имеющую прямое отношение к делу. Импрека, работавшего в 50-е годы в секретном учреждении, обязали ознакомиться, скажем, с характеристиками местной водородной бомбы. Что, по-вашему, он должен был сделать? Самое здоровое — получить нулевой допуск, достать секретную папку из секретного сейфа и т. д. ... Но он поступил иначе, и я даже не могу обвинить его в легкомыслии. Он пошел в библиотеку, взял английский физический журнал и обнаружил там на второй странице схему этой самой бомбы во всех возможных разрезах. Спрашивается, что может быть разумнее публикации секретных материалов в открытых, по существу, журналах! Вернемся, однако, к нашим баранам. Я не уверен, по правде говоря, что перевод — стихотворный — имеет какое-либо отношение к стихосложению, равно как не всякое портретирование и ретуширование — да и воссоздание физиономии по ее описанию — имеет отношение к живописи, хотя и требует сходных навыков и образования. Стих перевода всегда явственно отличается от стихов, написанных на том же языке — независимо от их достоинств. Но даже если перевод — вообще не поэзия, его соответствие оригиналу остается важным моральным вопросом, даже если он вовсе и не адресован коллегам, их внимание должно благотворно сковывать фантазию переводчика, как сковывает ее существование редактора, цензора или заказчика, и как наличие цветной репродукции сковывало бы шалуна-копииста. В конце концов, не так уж хитро написать — из Гете или на тему Гейне, если хочется попользоваться авторитетом классика. И не стоит надеяться, что нечистая игра останется неразгаданной. В Талмуде об этом имеется высказывание, которое в приблизительном, но, надеюсь, приблизительно верном переводе означает: “То, что наши мудрецы запретили, дабы не навести случайного свидетеля на ошибочные умозаключения, они запретили даже в одиночной камере, где никаких свидетелей нет”. Итак, если читатель с нами согласится, основа искусства перевода — соблюдение, скажем, этических норм.

Признаюсь, в детстве я так не думал, но это самое стихотворение все равно не давало мне покоя. Поначалу оно служило мне мостиком в иной мир, изобилующий свободами выбора. Потом, со многим смирившись, я полюбил его таким, какое оно есть — за муки, за красоту, не знаю. Потом — в свой черед — в голове моей зародились мрачные подозрения. Все же, я и не предвкусывал, что дело пойдет так интересно далеко — и как раз на мою мельницу.

Пора уже раскрыть инкогнито. Речь пойдет о хрестоматийном стихо-

творении не столько Байрона, сколько Маршака — в оригинале от 5 декабря 1820 года:

Кто драться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может.
За греков и римлян в далеком краю
Он буйную голову сложит.
За общее дело бьрись до конца
И будет тебе воздаянье.
Тому, кто избегнет петли и свинца,
Пожалуют рыцаря званье.

В оригинале эти восемь строчек названы стансами. К сожалению, у меня почти нет книг, и я не помню, сохранилось ли это название за переводом — не факт, ибо в имеющемся у меня издании эти два четверостишия напечатаны как одна строфа, без пустой строчки. Что такое стансы? Словарь иностранных слов дает то же определение, что и Ожеговский словарь русского языка (стансы — фр. stances, ит. stanza — стихотворение, написанное строфами, куплетами, законченными в смысловом отношении), стало быть, стансы российские и заграничные ничем друг от друга не отличаются. В нашем случае это означает, что первые четыре строчки следует рассматривать отдельно от вторых и наоборот. Кстати, понятно, почему в стансах поэты частенько нумеруют строфы, а потому переводчику полагается следить чтобы они не оканчивались в его переводе запятой и не начинались с “и”.

В юности это произведение С. Я. Маршака будило во мне прямо-таки черную зависть, прежде всего, к герою, которому до того не терпится свернуть себе шею, что он готов ехать в Грецию, Италию и другие неназванные средиземноморские страны — почему-то я полагал, что они тоже имеются в виду. Точно так же завидуют в СССР тем, кто имеет возможность бороться за мир в рамках международных организаций. Вдобавок, это стихотворение было приписано самому Байрону, стало быть, оно увязывалось с его бурной, но вполне симпатичной биографией. Ведь слово “байронический” давно уже пережило, заодно с критическим реализмом, ругательные аспекты своего определения, ну, а сам Байрон куда выше литературоведческих определений. Однако, признаюсь откровенно, кроме географического плюрализма, меня брали за душу две первые строчки, которыми можно оправдать существование перевода:

Кто драться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может.

Безусловно, это должно многое говорить еврейскому, а заодно и советскому сердцу. Было бы время — и не было бы это отступлением — я бы еще распространился на тему о конформизме, а заодно о том, как получилась такая фраза у неважного, но довольно яркого еврея Маршака — вообще-то он мог бы ее и постесняться. Но так или иначе, дело было сделано, и вышло нечто вроде манифеста общечеловеческого приспособлен-

чества и еврейского просветительства зараз. В здоровой его редакции от борца вовсе не требуется ехать в Грецию, можно сложить голову за чужую революцию, сидя дома, раз уж за свою собственную, как он точно заметил, “не можешь”. Не обязательно даже интерпретировать “не можешь” как “не дают”. Не можешь — значит, не можешь. Другое решение еще распространнее. Сложить голову — зачем умирать? — посвятить себя с безмерной самоотверженностью — можно не только греческой революции, но и греческой драматургии, теме престижной и многообразной, и таким образом противостоять мировому злу — тем более, что уже не родится грек, понимающий в ней больше, чем турок. Почти все мы, либеральное то ли меньшинство, то ли большинство, не могли то, что делали люди посмелее, касалось это свобод интеллектуальных или гражданских — но маршаковский совет нас выручал — и мы переносили, по возможности, сферу своих интересов туда, где битва протекает на виду, а сражаться можно приемлемыми орудиями, скажем, вениками, а не мясорубками, а падение головы может быть совершено образом фигуральным или хотя бы изящным и так, чтобы надежда на воздаяние в обоих мирах не покидала до последнего момента. Это стихотворение долгие годы воспринималось мною, как героический гимн (автор — Байрон) милому интеллигентскому оппортунизму, в переводе Маршака — еврейскому конформизму, заодно — как свидетельство тому, что мы не одни такие. Вот, в полудемократической (полуаристократической) Англии связываться не стал, уехал делать революцию в Средиземноморье. Зачем далеко ходить, я сам знал людей, вступивших в партию для того, чтобы переродить ее изнутри, желательно — с как можно более высокими постами, равно как и профессоров, видевших свое назначение в том, чтобы противостоять официальному отношению к итальянской религиозной живописи. А кроме того — красиво:

Кто драться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может.

Меня не беспокоило даже некоторое несовершенство прочих шести строк. Но, в конце концов, и я не мог не озаботиться несколькими простыми и даже обидными вопросами.

а) Почему герой, который не может отстаивать свободу у себя дома, так уж обязательно найдет себе другую свободу, да еще подходящую?

б) Почему герой, который может отстаивать только чужую свободу, так уж непременно сложит при этом голову? Может быть, свобода — это заболевание, прививка против которого действует только там, где она сделана?

в) При чем тут греки и римляне? Сложить голову за их античных родственников затруднительно, как отметил еще русский классик; Александр Македонский, конечно, герой, но зачем же стулья ломать? — так что речь идет, видимо, о современных угнетенных народах. Но где же это можно погибнуть за нескольких сразу? В Организации Объединенных Наций? Но тогда почему не за всех?

г) Почему в т о р о е четверостишие — хоть оно и отдельное — он превратил в рифмованный призыв? Да и к чему? К борьбе за общее дело?

людям — труд подвижнический, короче — собачий, может кого-то поощрить. Впрочем, и тут есть коварная идейка. Может быть, это не призыв к действию, а, напротив, оправдание бездействия? Понимать в таком случае следует так: “Служение людям — собачья работа, так что делай это как можешь и сколько можешь, скажем, в свободное время и недалеко от дома, как нормальную общественную нагрузку”.

Но дальше — больше. Пустим в ход третий — и на сегодня последний — перевод нашего стихотворения, принадлежащий Т. Гнедич (не путать с преложителем Гомера — он был другого пола) :

Если дома стоять за свободу нельзя,
То соседей свободу спасайте!
Славу греков и римлян храните, друзья,
И в боях тумачи получайте!

Добрый рыцарский подвиг высок и хорош,
Так дерись же всегда за свободу!
Если ты не в тюрьме и не в петле умрешь,
Вознесут твое имя народы!

Этот перевод нужен нам еще и потому, что он третий, контрольный и потому укажет на неслучайный характер тех или иных обстоятельств. Скажем, ясно, что греки и римляне имеются в виду древние и служат нам примером. Непонятно, правда, чего — я не помню, чтобы они боролись за чью-либо свободу, но, предположим, примером воинственности и готовности к самопожертвованию. Явно не случайно Лейтин и Маршак поминуют в последней строке рыцарское звание, да и Гнедич недалеко от них ушла — “вознесение имени” — это просто выпященный эффемизм устаревшему “возведению в дворянство”. Но вот “добрый рыцарский подвиг” за три строчки до этого — это уже нечто новое. На “подвижника труд” Лейтина это больше похоже, чем на маршаковское “борись до конца”, но все равно к этому обстоятельству нам еще придется вернуться. В остальном все мило, никакого воздаяния герою не положено, ну, будет долго тем любезен он народу, если до тех пор его не осудят клеветнически, — у нее тюрьма заменила свинец. Для увековечения имени он должен пережить определенные события или по крайней мере умереть естественной смертью, толкового объяснения тому у нас нет, но это, наверное, объективная трудность, и без оригинала нам с ней не справиться. Однако обратим внимание на прямо-таки революционное обстоятельство, выплывающее только у реалистки Гнедич. Как это понимать: “И в боях тумачи получайте”? У Маршака он прямо-таки “буйную голову сложит”, у Лейтина и того хлеще: “Умри, если медлит победа”. Чудеса! Прежде всего, совершенно ясно, что это тумачи с заранее обдуманной намерением. Т. Гнедич, бесспорно, хороший переводчик, и она не спасовала бы, если бы хотела пролить кровь героя, к тому же, кровавые варианты просто напрашиваются, скажем “в сражениях кровь проливайте”, или “шеи ломайте”, или как угодно еще. Для смягчения она вставляет фамильярное “друзья”, но это убирает комический эффект, ничего не меняя по сути. Разве в настоящих боях получают тумачи? Как ми-

Отлично. Но ведь п е р в о е все-таки существует. Разве освобождение Греции от турок или Италии от австрийцев — это общее дело? Это же то самое “чужое” дело, за которое герой должен бороться, если у него нет “своего”. А если это все-таки общее дело, то чем хуже, скажем, освобождение Польши — даже если оставаться в пределах Европы? Далее, рекламируя его среди читательских масс, он подчеркивает, что откликнувшиеся сложат на этом поприще голову. Неизбежная гибель — это как-то непривлекательно. Может быть, имеется в виду что-нибудь другое? Да и с неизбежностью получается как-то странно. С одной стороны — “за греков и римлян в ... он ... голову сложит”, с другой — “тому, кто избегнет петли и свинца, пожалуют...” Трудно поверить, что гибель от перечисленных орудий исчерпывает условия невозведения в рыцари, и если героя, во исполнение пророчеств первой строфы, заколют шпагой, с будущностью у него все будет в порядке — написано же прямо — “и будет тебе воздаянье”. Теперь спросим:

д) Какое такое воздаяние? Дело смахивает на вербовку волонтеров в Иностраный легион. Условия примерно следующие: “Безопасность не гарантируем, но зато страховка, оклад жалованья и все шансы посмотреть мир”. Почему герою не указывают на важность его миссии? И верно ли мы понимаем слово “воздаяние”? Не о наказании ли речь? Как будет ясно в дальнейшем, не такая уж вздорная идея.

е) И последнее — и самое замечательное — рыцарское звание. Боюсь, это уже вовсе никуда не лезет. Ну, для начала, кто же должен его пожаловать? Страна, где он ничего не может, в благодарность за то, что он оставляет ее в покое? Вряд ли, она ведь так и останется несвободной. Освобожденная Греция? И только если герой останется в живых и явится за наградой? Забудем на минуту, что в первом четверостишии ему обещана верная смерть. Может быть, остаться в живых значит пережить не только борьбу с угнетателями, но и саму революцию, и это намек — впрочем, Великая Французская революция уже состоялась — на неизбежную расправу победившей революции со своими участниками? Тот, кто переживет репрессии — получит награду, но вот реабилитации не будет, как не было ее во Франции? Звучит мрачно, но, к счастью, неправдоподобно, ибо, скажите на милость, зачем вообще освобожденной Греции аристократические отличия? Памятник, сквер, площадь имени — это в порядке вещей, но титул? И еще — а почему, собственно, не получит он это самое отличие, если погибнет до победы революции? У нас в Москве есть масса мест имени Баумана. Или от кого все-таки получит, если останется в живых, а революция не победит? Ведь в стихе о победе ни слова! Похоже, все-таки, что именно от реакционной родины, да на это указывает и простота, с которой сделано само предположение. Вряд ли он решился бы заранее предсказывать, как поведет себя революционная власть, в то время как в Англии дают титулы и ордена и знаменитым актерам, и удачливым ученым, и поэтам, а — кто знает — может быть, и пожилым маститым революционерам. Возможно, в те времена актерам их еще не давали, но зато с превеликим удовольствием давали победоносным пиратам, так что Байрон, пожалуй, правильно опознал тенденцию.

Остановимся пока на этом, благо, в наших руках превосходный разоблачительный материал. Оказывается, кроме С. Я. Маршака это стихотворение переводили на русский язык и другие. Мы приведем еще два перевода. Вот первый из них — пера Б. Лейтина.

Если родина спит и к борьбе не зовет,
Сражайся за волю соседа.
Вспомни Греции дни, Рима гордый полет
И умри, если медлит победа!

Служение людям — подвижника труд.
Так сражайся за волю, где можешь,
И когда не повесят, когда не убьют, —
Войско рыцарей ты приумножишь.

Его художественные достоинства весьма условны, скажем, строчка: “И умри, если медлит победа” — стоит, на мой взгляд, купания в холодной луже. Но как документ этот перевод стоит любого другого, а может быть, и более того — именно из-за неприятельности автора, — а потому обратим внимание на следующие обстоятельства:

а) Согласно Б. Лейтину, герой вовсе не обязан умирать за греков или римлян. О них достаточно вспомнить, и, разумеется, не о них самих, а об их древних предках.

б) Умереть следует только, если победа не поспешит явиться. Маршак был настроен куда решительнее. Правда, неясно, не притянута ли эта строчка за уши.

в) Понятно, почему сражаться надо именно за чужую свободу — собственная не дозрела. Не зовет родина — и не надо, во всяком случае, пока другие зовут. Был, правда, еще специфический польский лозунг: “За вашу и нашу свободу!” — но суть его, наверное, в том, что в Польше всегда готовая революционная ситуация и свою “Искру” они издают на месте.

г) Про воздаяние Лейтин ничего не написал, зато на освободившееся место он пропихнул новую идею: “Так сражайся за волю, где можешь...” Все Средиземноморье теперь к нашим услугам, впрочем, после того, как Греция и Рим отпали, это естественно.

И еще одно замечание. Строчка: “Служение людям — подвижника труд” — очень сомнительная и хочется свалить ее на бедного автора, но на сей раз вряд ли получится. Неизобретательному человеку такого не придумать, да и стоит она в начале строфы, где нет необходимости изощряться ради рифмы. С другой стороны, если на деле все так и есть, то куда же оно у Маршака подевалось? И еще. С этой строчкой призывный лейтмотив всей строфы выглядит несколько подмоченным:

Служение людям — подвижника труд,
Так сражайся за волю, где можешь...

Странновато — а как логично, хотя и несколько аморально, — с воздаянием, — было это у Маршака. Вряд ли констатация того, что служение

нимум, раны. Возникает туманное пока подозрение: что-то в нашем датском королевстве не так, то ли бои игрушечные, то ли герой не такой уж герой. А то, в самом деле, что это за рыцарский подвиг (или подвижника труд), если за него герою с одной стороны грозят только тумачи, а с другой — предположим, неизвестно с какой — тюрьма, расстрел или повешение. Удивительно, но пример такого служения у нас есть. Все это слегка напоминает историю походов доблестного идадьго Дон-Кихота Ламанчского, готового защищать кого угодно и где угодно, многократно битого за свои попытки отстаивать чужую свободу всегда благородным, но отчасти подсудным образом, на некотором этапе разыскиваемого властями — и инквизицией! (скажем, после истории с освобождением каторжников) — и, что самое интересное, действительно возведенного в рыцари (хотя и Печального образа) и высоко вознесенного народами. Может быть, образ Дон-Кихота и правда навеял Байрону это стихотворение — но нам явно пришло время обратиться к оригиналу. Вот он:

STANZAS

When a man hath no freedom to fight for at home,
Let him combat for that of his neighbours;
Let him think of the glories of Greece and of Rome
And get knocked on the head for his labours.

To do good to Mankind is the chivalrous plan,
And is always as nobly requited;
Then battle for freedom whenever you can,
And if not shot or hanged, you'll get knighted.

Прежде всего, оригинал сей в тысячу раз выше переводов. Но нам пока не до просодии — что со смыслом? Что ж, почти все проясняется. Греки и римляне и правда древние, а свобода действительно соседская. Далее, нет никакого противоречия между Маршаком и Лейтиным — у Байрона есть и воздаяние, и призыв драться повсеместно, просто по-русски одно из них никак не помещается в строфе, а потому каждый выбрал то, что ему ближе. Самое интересное — за получением награды действительно следует явиться лично. Однако, все эти проблемы при самом беглом знакомстве с оригиналом и... английским языком незамедлительно испаряются, а остается главное — то, что мы, русскоязычные читатели, обмануты самым низким образом, да еще печатно, и вовсе не можем утешаться тем, что наши переводчики обманывались вместе с нами. Ни черта они не обманывались! Если бы на свете — том и этом — существовала бы хоть какая-нибудь охрана авторских прав, за такие переводы можно было бы притянуть к суду. Перед нами — смотри непосредственно ниже — блестящее, мрачноватое, а главное, сатирическое стихотворение! Да и в томике Байрона, лежащем сейчас передо мной, оно стоит как раз между двумя эпиграммами — про В. Питта и про Джона Булля. О его содержании мы сейчас поговорим, но дабы не совершить ту же ошибку, предложим читателю более или менее аккуратный подстрочный перевод.

Когда у человека нет дома свободы, за которую [можно было бы] бороться,

Пускай себе сражается за это самое, [принадлежащее] соседям,
Пускай себе думает о великолепии Греции и Рима
И получит по голове за свои труды.

Делать добро Человечеству — это рыцарственная затея,
И всегда столь же благородно вознаграждаемая —
Так что бейся за свободу, где только можешь,
И, если не расстрелян или повешен, будешь возведен в рыцари.

В пересказе нашему знакомому это выглядит примерно так:

Если герой не нашел, за что бороться дома — а ему нейдет — пускай себе дерется за то, что найдет у соседей.

Байрон, кстати, не пишет — “за свободу соседей”, а бросает презрительно “for that”, “за это самое”, и даже не “дерись”, а “дерись себе” или, точнее, “пускай себе дерется”. И —

Пусть утешается величием древних — когда ему за все это разобьют голову.

Байроновское “chivalrous” — рыцарственный — это не “knighted” из последней строчки! “Chivalrous” — слово романское и для английского уха отдает ветреностью и легкомыслием — вспомним шевалье д’Артаньяна. Слово же “knight” — простое, германское, сходное с основной массой английских слов, означает собственно “рыцарь” в заурядном военно-дворянском смысле и в нашем случае торжественно противопоставит первому — вещественное отличие за пустое дело.

Так о чем же стихотворение? Пожалуй, это одна из горчайших перчинок в котле романтической поэзии. Не напрасно, разумеется, налепил Байрон слово “стансы” на два эти четверостишия, такие сходные и такие разные. Я подозреваю, что его ирония так жгуча оттого, что направлена на самого себя. Не знаю, предчувствовал ли он свою пародийно обидную смерть, но утверждает он примерно следующее:

а) Если человек не находит, за что бороться в своей стране, его участие в чужой борьбе — самообман (заметьте — не безусловно, но если не находит в своей стране...), ссылки на древних — вдвойне самообман, а шишки, которые он может схлопотать в этой борьбе — глупые шишки, и достаются они ему поделом.

б) Небольшое сообщение. Служить человечеству, любить всех, решать глобальные задачи — красиво и глупо, и — не могу удержаться от цитаты — всегда по заслугам вознаграждается. Это азартное предприятие — вроде русской рулетки, но в барабане сидят пять пуль из шести, потому шансы неважные, зрители любопытны, ни благородством, ни признательностью с их стороны не пахнет, пахнет кровью, однако же, выигрыш возможен и слава тоже, — для дурака-победителя, ибо в здравом уме и трезвой памяти играть в эту игру аморально. Донкихотством все это, конечно, отдает, но вовсе не его симпатичными мотивами, кстати, вряд ли лорд Байрон относился к Дон-Кихоту так же, как мы и современное литературоведение — по-дружески и философски. Что угодно, полагал он, только не удары мель-

ничных крыльев, не цирюльничий таз на голове и, пожалуй, не падение с лошади.

Вместо этого нам преподнесли героический кисель на дежурную тему об интернационализме. Впрочем, лично я готов простить все Т. Гнедич — за то, что она сохранила тумачи и не заменила их на раны ради пущей целесообразности. Вероятно, в томике "Избранных советских поэтических переводов" скрываются и другие шедевры. Ну, а я не могу отказать себе в удовольствии привести еще один перевод, иначе эти заметки будут неполны:

СТАНСЫ

Коль дома ты дела себе не найдешь —
Дерись за свободу соседей.
В компании римских и греческих рож
Прибьют, как героя трагедий.

Стараться за всех — куртуазнейший жест!
Поймут и оплатят сторицей.
Не мильную петлю — так рыцарский крест
С улыбкой проденут в петлицу.

Читателю судить о близости его к оригиналу. Я подозреваю, что так и не решил проблему до конца. В любом случае, хочу посоветовать издателям обязать переводчиков представлять нотариально заверенный подстрочник или хотя бы гарантировать его доступность. Иначе, как мы только что убедились, происходит форменное головоутиение.

И последнее — если мы еще кого-нибудь не убедили. Байрон и жизнь, и смерть, во всяком случае, свои, видел в несколько ином свете, чем Дон-Кихот, чем наши переводчики и, тем более, чем описанный им герой. Какую гибель он уготовил этому герою — мы уже видели. А вот какой он видел собственную, не такую уж далекую смерть — во всяком случае, далекой от патетики. Перед нами окончание его последнего, предсмертного стихотворения, тоже стансов, его самые последние четыре строчки — "В день моего 36-летия".

Seek — less of ten sought than found,
The soldiers' grave for thee the best.
Then look around, and choose thy ground —
And take thy Rest.

Подстрочник:

Ищи — реже ищут, чем находят —
Солдатская могила для тебя — самое лучшее,
Так осмотришь вокруг, и выбери себе место,
И отдыхай.

А вот и перевод.

Вот — реже ищут, чем находят,
Солдатский гроб — не прозевай!
Ложись, пока тебе подходит,
И отдыхай.

Как говорил один мой знакомый — ничего лишнего. Но вот что до выдумывания всевозможных цитат, предпочтительно древних, творческих переложений Гомера и Оссиана и вообще единоличного владения (см. в другом месте) разного рода старинными рукописями — это, на мой взгляд, предмет для отдельного и куда более приятного разговора.

ZESZYTY LITERACKIE

Nr 18 (WIOSNA 1987)

W numerze 18 (WIOSNA 1987): **PROZA I POEZJA:** CZESŁAW MIŁOSZ, Z nowych wierszy; VLADIMIR NABOKOV, Jezioro, obłok, zamek; TOMAS VENCLOVA, Z wierszy bałtyckich; ADAM ZAGAJEWSKI, Zdrada; PAUL CELAN, Wiersze; TOMASZ ŁUBIEŃSKI, Wiersze; KRZYSZTOF KOEHLER, Niemcy. Bawaria. **SPOJRZENIA:** MILAN KUNDERA, Śmiech Boga. **LISTRY Z PARYŻA:** WOJCIECH KARPIŃSKI, Aleksander Wat — krajobraz poezji. **INTERPRETACJE:** MAREK ZALESKI, Wat i zło. **ŚWIADECTWA:** JERZY STEMPOWSKI, Listy do Józefa Wittlina. **SYLWETKI:** JAN ZIELIŃSKI, Płaszcz wygnańca. **PREZENTACJE:** JAN KOTT, Mistyczny poemat gnozy; Pismo bez tytułu albo Traktat o powstaniu świata. **O KSIĄŻKACH:** RENATA GORCZYŃSKA, Po łąkach milczenia; FRANCESCO M. CATALUCCIO, Marmolada z gruszek czyli obraz „normalizacji” w literaturze. **NOTATKI. LISTRY DO REDAKCJI. NOWE PUBLIKACJE. NOTY O AUTORACH. SOMMAIRE.**

Numer 18 *Zeszytów Literackich* ukazał się w kwietniu 1987.

Do nabycia w redakcji (CAHIERS LITTERAIRES, 44, rue Tiquetonne
75002 PARIS).

Cena pojedynczego egzemplarza wraz z przesyłką 50 FF

(7,50 \$USA); pocztą lotniczą 56 FF (8,5 \$USA).

Prenumerata roczna — 170 FF (25 \$USA); pocztą lotniczą 210 FF
(30,00 \$USA).

ЛЮДИ И КНИГИ

Г. Дризлик

РЕИНКАРНАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ

Все нижеследующее никакого отношения к реально существующим лицам и событиям не имеет и целиком и полностью высосано из пальца.

Представь себе, дорогой читатель, следующую ситуацию, имевшую место в первой половине XIX века. В одном из литературных журналов появляется статья, подписанная "Евгений Онегин". В ней автор утверждает, что А. С. Пушкин в своем известном романе в стихах оклеветал его, приписав ему непотребные деяния, в действительности совершенные самим А. С. Пушкиным. Именно А. С. Пушкин в действительности совратил Ольгу Ларину и ухитрился убить на дуэли В. Ленского, защищавшего Ольгину честь. Описывая же эти события в романе, А. С. Пушкин извратил реальность и облыжно обвинил своего бывшего друга и соперника О. Е.

Невероятно, не правда ли? А вот в нашем полку произошел точно такой же случай. В романе Андрея С. "Спокойной ночи, малыши", в третьей части, "Сказки Венского леса", была описана следующая ситуация:

Ее глаза, как два фингала,
Полуулыбка, полуплач...
Ночь, ледяная гладь канала,
Аптека, улица, стукач.

Вернее, два стукача. А может быть, даже три. Один из стукачей обозначен только буквой "С", второй — назван по имени, Сергей, третий — мальчик без имени. Впрочем, может, мальчика-то и не было? Так или иначе, провинциальный журнал "Уловка 22" тут же опубликовал статью, подписанную "Сергей Икс", автор которой утверждал, что это он, Сергей X, является прототипом сразу двух (из трех) стукачей. Третий же — сам Андрей С. Более того, Сергей X выдвинул свою версию того, как, зачем и почему Андрей С. написал свой роман:

В склянке темного стекла
Из-под импортного пива
Роза красная цвела
В героическом порыве.
Фантастический роман
Сочинял я понемногу,
Напуская там туман
От пролога к эпилогу.

Каждый пишет, что он слышит,
Каждый слышит, кто чем дышит,
И стремится угодить.
Так держава захотела.
Почему — не наше дело.
Для чего — не нам судить.
Были губы голубы,
Было вымысле в избытке:
Факты собственной судьбы,
Телеграммы и открытки.
В путь героев снаряжал,
Ворошил дела и справки
И сексотом на полставки
Сам себя изображал.
Вымысел не есть обман,
Так я вижу мир — и точка.
И перепишу роман
До последнего листочка.
И пока еще жива
Роза красная в порыве,
Надо вычеркнуть слова,
Что давно лежат в архиве.

Немедленно вслед за тем в той же "Уловке 22" была опубликована телеграмма Наташи Р.: "Быть или не быть вопросительный знак что благороднее многоточие", — где тревожный гамлетовский вопрос ставился в отношении ее, Н. Р., дальнейшего членства в редколлегии. И хотя редакция ответила Н. Р. приватно, нам стало известно, что этот ответ гласил:

Твой телеграфный стиль,
Твой возмущенный слог
Наш здешний мертвый стиль
Поколебать не смог.
Гнетет нас тяжкий быт
И непрерывный зной.
И быть или не быть
Тебе решать. Одной!

Наиболее сенсационным, однако, оказалось письмо в редакцию "Уловки 22" возмущенного "Самого", в котором Андрей С. сквозь зубы признал наличие прототипа. Вот эта гневная, но элегантно отповедь:

Друзья подлога и обмана!
С героем моего романа
Без промедленья, сей же час
Позвольте познакомить вас.
Хмельницкий, добрый мой приятель,
Известен в тех кругах Москвы,
Где, может быть, вращались вы
Или служили, мой читатель...

Не ограничившись этим, "Сам" потребовал и добился опубликования в "Уловке 22" и других органах письма "Той", ну, в общем, шерше духами и туманами:

Андрюша, я тогда моложе...
Зачем же путать правду с ложью?
Я не пришла к нему на ложе.
Ведь это так, скажи, Сережа?
И там, где надо, знают тоже.
Ах, что я говорю, о Боже!
Но я любила вас — и что же?
Что в вашем Терце я нашла?..

Поняв, что произошел перебор, редакция "Уловки 22" от дальнейшего обсуждения уклонилась. Но литературная общественность русского Зарубежья и не-Зарубежья так это дело не оставила:

Открылась новая глава:
Донос в журнале "Двадцать два",
И мы, литературный мир,
Спешим вступить в борьбу за мир.
Как смели вы? Ведь князь Андрей —
Он по призванию еврей!
Филосемит! И либерал!
Его ж еврей и оболгал...
Дурной пример — другим наука!
Но, Боже мой, какая сука
Его ближайший друг Сергей!
Вот кто уж подлинный злодей.
Он среди стукачей предатель!
Как терпишь ты его, Создатель?
Да-с, "Двадцать два" попал впросак...
Судьба его теперь плачевна:
В Париже точит свой тесак
Княгиня Марья Алексевна...

Как и следовало ожидать, роль продолжателя развернувшейся кампании взял на себя столичный орган "Время и деньги", который всегда и во всем следует своему принципиальному кредо:

Было Время, и Мы рысаклами
Из Агентства в Агентство скакали,
Добывая и гранты, и ссуды
За кулисами Театра абсурда...
Час настал погашать облигации —
И пришлось поменять декорации.
И теперь, находясь в отдалении,
Самый раз перейти в наступление:
Наказать лопоухих данайцев,
Их лягнув, что есть силы, по яйцам...

Редакция журнала "Время и деньги" открыла у себя новую рубрику: "За что ж Андрюшку-то Нарзанова" — где из номера в номер принялась публиковать острые, принципиальные материалы:

Вокруг журнала "Двадцать два"
Шумит народная молва:
Их, говорят, субсидии лишили.
И чтоб заполнить пустоту,
Распространяют клевету
И кореша в законе заложили.
А кто сказал, что он стучач?
У "Соньки" выиграл он матч,
А это — не футбол вам и не поло!
Он показал высокий класс,
От КГБ чувиху спас,
Сам написав об этом для прикола.

Мы из романа узнаем —
А он что хочет пишет в ем —
Художнику ж положена ж свобода...
Вам этот козырь нечем крыть,
И как посмели вы забыть,
Что сделал он для нашего народа?!
Он поразил свободный мир,
Он миру заявил: "Ша, мир!
Заткнитесь, падлы, говорит Абраша!"
И говорил не по злобе,
И положил на Кагебе
И на статьи марзматические ваши...

Вот такой развернулся в нашем полку принципиальный спор. И в заключение вот-вот, кажется, прозвучит от имени общественности сакраментальный вопрос:

Кто ж за спиною "Двадцать два" —
Иерусалим или Москва?

Кстати, о Москве. Мне представляется, что процесс реинкарнации литературных героев, начатый публикацией "Спокойной ночи, малыши", будет расти и набирать силу. Можно думать, что следующими на очереди уже стоят герои и прототипы нового романа Васс. Факсенова "Скажи рахат-лукум". По-видимому, многие из них тоже теперь готовят или уже приготовили свои разоблачительные материалы, срывающие все и всяческие маски. Этот процесс можно только приветствовать. Страна должна знать своих литературных героев.

А. Пташкин

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

(И. Померанцев. "Альбы и серенады". Лондон, 1986.)

"Когда умрешь, благородный ты или нет, запашок тут как тут. Вот едет гремющим трамваем молодой, с иголки одетый труп с остановившимися часами и взглядом. От него разит воспоминаниями; от воспоминаний — духотой жимолости, объятий и камфоры; как за дымовой завесой, все преломляется, слонится, растекается — до запятых ли?"

Я выбрал этот абзац, чтобы представить коллеге-читателю прозу И. Померанцева, более или менее наудачу. На мой взгляд он очень хорош: максимум информации на минимальном пространстве благодаря редкостной гибкости языка. Гибкая и сложная грамматика этого абзаца обеспечивает его ритмическую легкость и богатство изобразительных оттенков.

Я мог себе позволить выбирать абзац для цитирования с закрытыми глазами, потому что таких абзацев в книге много; более того, думаю, что там просто нет плохих. Выбранный мной абзац иллюстрирует уровень всей книги: высокий и ровный. Я бы даже сказал, слишком высокий и слишком ровный — толковый читатель поймет, почему я так боюсь совершенства.

Сборник рассказов "Альбы и серенады" — реализация метода. Сам метод декларирован, и автору удалась одна из самых трудных задач (если ее ставить) — включение декларации метода в текст, реализующий метод. Это сделано в первом рассказе сборника — "Читая Фолкнера".

Метод, которым пользуется И. Померанцев, как мне показалось, возникает в процессе решения проблемы, обладающей всеми признаками неразрешимости. Вот эта проблема. Автор растворен в хаосе впечатлений от мира; он не протестует против этой растворенности; наоборот, он боится "выпасть в осадок", стать автором схемы. Он видит свою задачу (точнее, он х о т е л б ы) зафиксировать именно неорганизованность и даже воспеть ее, потому что она кажется ему самоценной, поскольку жизнь.

Опыт показывает, что увлекшиеся этой идеей легко впадают в соблазн отдалиться на волю самого хаоса; взять в руки перо и малевать по бумаге, что придется: стать младенцем, обезьяной, идиотом и надеяться, что "энергия" жизненной стихии и собственная предполагаемая "гениальность" вывезут куда надо.

Но это пустая надежда. Как пишет Померанцев, если идиот возьмется за перо, то на бумаге останутся только слюни и кляксы.

Рукой идиота должна водить другая рука, и эта рука должна быть искусна в тайнах языка и ремесла владения языком. Тогда получается поэзия. Чтобы передать другому интенсивность жизненной стихии, нужно хорошенько хаос организовать.

Вот этот парадокс и воплощает автор сборника "Альбы и серенады". Нельзя сказать, что это новая задача. Над ней трудятся уже давно, и нам известны имена людей, достигших в этом деле впечатляющих успехов. Фолкнер, о котором пишет И. Померанцев, один из них. Померанцев упоминает в этой связи Джойса, Мандельштама, Феллини, Пастернака, Паулу Целана. Решение этой задачи, как и всякой реальной, осмысленной и нестерильной проблемы, имеет традицию. Померанцев реализует эту традицию в пределах русскоязычной прозы.

Чтобы передать нам ощущение целостности и вместе с тем бессвязной фрагментарности окружающего мира, автор мобилизует почти все возможности организованного языка, в результате чего появляется виртуозная лирическая проза.

Она представляет собой цепь фрагментов, лишенных временной последовательности. Ее даже не "склеивает" единый центр восприятия. Это — то "я", то "ты", то "он", то "она", то "оно" (животное), то вообще "никто". Воспринимающий воспринимает не только все остальное, но и себя вместе

со всем остальным, что он воспринимает: как вещь, как признак, как связь между вещами и признаками. Автор (многоликий субъект восприятия), пользуясь его же выражением, "растворен в тексте как соль". Его нет: он идиот, животное, младенец, слово.

Однако, художественный текст не только "вещь", но и "поступок". Отдадим должное автору, который полностью растворил себя в тексте. И обратим теперь внимание, что на обложке все-таки стоит: И. Померанцев. И это тоже что-то ведь означает.

Означает это очевидное: текст написал И. Померанцев. Кто же он такой? А он вот кто такой: то, что написано. Претензия заключается в том, что этого и такого не мог бы написать никто другой.

Это оправданная претензия: это так и есть. Перед нами наглая демонстрация индивидуальности.

Эта наглость оправдана потому, что индивидуальность налицо. И. Померанцев пишет крайне индивидуалистическую прозу; как сказали бы литературоведы советской школы – "центростремительную".

В широком контексте осмысления литературы всегда будет возникать вопрос: нужна ли нам центростремительная литература, и если нужна, то зачем? Читателя на этот счет всегда будут мучить сомнения, хотя бы ввиду того, что многие авторы, упражняющиеся в такого рода литературе, остаются для читателя непроницаемой вещью в себе. И в этом виноват отнюдь не только "придурок"-читатель, не доросший эстетически до понимания непонятого. На самом деле... но об этом я скажу немного позже. Теперь я займусь апологетикой центростремительной литературы.

Что я, как читатель, получаю от наблюдения крайне индивидуалистического восприятия мира кем-то еще, скажем, в данном случае, неким И. Померанцевым?

Во-первых, знакомство с чужим опытом. Я еще раз хочу подчеркнуть, что проза Померанцева отнюдь не хаотична. Благодаря ее высокой языковой организованности она содержит богатую информацию о хаотичности мира. Мы в состоянии следить за чужим опытом.

Во-вторых, я получаю от этой прозы некоторое утешение, что ли. Я убеждаюсь, что такая вещь, как индивидуальность, действительно существует. Для русскоязычного читателя это важное обретение. Дело в том, что демонстрация русскоязычной независимой литературы, украшенная поверх голов лозунгами борьбы за "индивидуальность", поражает почти полным отсутствием индивидуального начала.

Проза Померанцева внушает некоторую надежду, как глоток свежего воздуха. Это индивидуалистическая, если хотите "центростремительная" проза, за которой стоит реальная авторская индивидуальность.

Я должен тут признаться, что сам не индивидуалист и не очень верю в будущее индивидуализма. Проза Померанцева, однако, ставит меня в неловкое положение. Она свидетельствует о том, что индивидуальность – вещь возможная, и это заставляет крепко задуматься.

Как читатель, а отчасти под впечатлением прозы, о которой пишу, я остался в пределах чистой демонстрации впечатлений. Можно было бы говорить о сборнике рассказов Померанцева и более техническим языком. Можно было бы написать длинный технический комментарий к то-

му абзацу, который я процитировал вначале; там достаточно материала для увлекательного комментирования. Можно было бы обсудить, почему эта книга — сборник рассказов, как рассказы отобраны, почему размещены именно в этом порядке, почему посередине сборника красуется рассказ без названия. И так далее.

Я лишь прошу поверить моих коллег-читателей в то, что все это вполне осмысленно и что книга И. Померанцеве вообще отличается высоким уровнем осмысленности. Читателя не пытаются провести на мякине. Это не шаманство. Это литература. Автор поработал как следует и много думал до того, как сесть писать.

Б. Камянов

ПЕРЛЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖЕМЧУЖИН

На протяжении десятилетий продукцию центральных советских издательств отличал высокий уровень грамотности. Даже в самой серой книге, в самой скучной журнальной или газетной статье явные глупости, орфографические и синтаксические ошибки, стилистические погрешности были редкостью. Какой-нибудь ляпсус вроде заголовка в одной из центральных газет "Наша сила — в плавках!" был буквально событием года, ибо многоступенчатая система прохождения издательских материалов практически исключала возможность появления чего-либо подобного: сначала над рукописью работал литературный редактор, потом ее вычитывал ответственный секретарь — как правило, тоже знаток русского языка, потом — корректор, и лишь после завершающей вычитки редактором и корректором гранок набора материал шел в типографию. В роли блюстителей законов российской словесности выступали, в основном, евреи; это положение изменилось к концу 70-х годов, когда из так называемых "надвыпускных данных" на последних страницах изданий, где перечисляются ответственные за выпуск, исчезли еврейские фамилии. Куда подевались их носители — гадать не приходится: в большинстве своем выехали в Израиль и Америку.

Следовало бы предположить, что все эти специалисты будут высоко котироваться на биржах труда в странах свободного мира, где русскоязычные издания плодятся как кролики, — но не тут-то было. Можно по пальцам пересчитать издательства, в которых работают профессиональные редакторы и корректоры: большинство бизнесменов, взявшихся за выпуск литературы на русском языке, считают приглашение специалистов дорогим для себя удовольствием и предпочитают обходиться без их услуг. "Покуда мы [литераторы. — Б. К.] преподаем в школах, составляем бухгалтерские ведомости, работаем в страховых компаниях, а зачастую кукуем на пособии по безработице [как, например, сегодня лучший, — с моей точки зрения, — редактор в Израиле Игорь Городецкий. — Б. К.], — профессиональные учителя, бухгалтеры, страховые агенты в роли литераторов успешно создают в Израиле провинциально-дилетантский, ублюбочный эрзац

русской культуры”, — так писал автор этих строк в статье “Жену отдай дяде...”, опубликованной еще в 1979 году. Увы, с тех пор мало что изменилось.

Когда речь идет о патентованных графоманах, затопивших своей продукцией книжный рынок, — не так обидно: живем мы нынче в свободном мире, где каждый вправе обеспечивать себе бессмертие так, как пожелает. Более того, когда я читаю, например, такие фразы: “...длинноногая блондинка, худая, но с упругим задом, которым она интриговала мужчин”, “Между его волосатых ног восседала телефонистка Зина, прикрывая стыдливое место следователя своим пышным задом...”, — я начинаю понимать, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. Открывая свежие выпуски русскоязычных журналов и газет Израиля и зарубежья, я заранее предвкушаю подобного рода кайф — и, как правило, пресса меня не разочаровывает. Прочтешь, например, заголовок в “Нашей стране”: “Олим живет весело, вольготно в стране”, а на другой странице: “По иорданскому телевидению выступили схваченные члены мусульманских братьев”, — и на всю неделю тебе обеспечен мощный заряд оптимизма и бодрости.

Другое дело, когда издатель, преисполненный самых благих намерений, выпускает труд, посвященный серьезной теме, а то и перевод священных текстов — если такая книга окажется безграмотной, тут уж следует не смеяться, а плакать.

Именно это, увы, и произошло со сборником “Жемчужины из древних источников (библейские и талмудические изречения)”, выпущенным в переводе на русский язык издательством “Нахала” (Иерусалим, 1985). Выдержки из этой книги, приводимые ниже, настолько красноречивы, что не нуждаются в комментариях. Следует добавить лишь, что уже рубрики сборника (“Сила единства”, “Талмудисты — рабочие, ремесленники и крестьяне”, “Рабочие, их права и обязанности”, “Демократический строй и общественные деятели”, “Женщина, ее достоинство и права”, “Равные права каждому человеку” и т. д.) свидетельствуют о тенденции составителя приспособить Тору к идеологии Гистадрута, под покровительством которого выходит в свет уже третье издание этого сборника. Но, конечно же, особенно ярко проявляется эта тенденция в переводе и комментариях.

* * *

81. Уста правдивые пребывают вечно, а лживый язык — только на мгновение.

171. Понятие “человек” включает в себя: братство, моление, дружбу.

175. Блажен тот, кто принимает участие в огорчениях всего общества.

189. Приобрести себе товарища.

389. Зависть писателей множит мудрость.

609. Для человека, у которого умерла жена, весь мир помрачнел.

621. Женщины хотят все знать (они любознательны).

624. Женщины не приняли участия в ажиотаже вокруг золотого тельца.

625. Обращаться к женщинам надо языком мягким и нежным.

632. Обварили кипятком (для медицинского обследования) блудницу,

осужденную царем на сожжение, и обнаружили двести пятьдесят два члена в ее теле (на четыре члена больше, чем у мужчины).

643. Запрещено надувать иноверца.

652. И когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его; да будет для вас пришелец как туземец...

654. Еврей обязан позаботиться об заблудшемся осле иноземца, как об осле еврея.

754. ...Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего.

785. Раб Хасида воспитывал дочерей в духе скромности и почитания своих мужей. Он приучил их не есть фиников и не пить опьяняющих напитков, влекущих расстройство желудка.

836. У одной женщины, соседки рабан Гамлиэля из Яены, умер сын, и она всю ночь плакала. Услышав ее плач, рабби Гампиэль тоже заплакал, и они рыдали вместе.

846. Наш великий праотец Авраам обслуживал ангелов, приняв их за арабов.

931. Рабби Шимеон бен Гавлиэль умело жонглировал восемью факелами... Отвешивая поклоны у Иерусалимского Храма, он прикасался большими пальцами рук к земле и целовал пол (из этого описания следует, что уже в далекой древности евреи занимались спортом и понимали его значение для здоровья).

946. Позор тому, кто кладет свои вещи под кровать, где можно хранить только сандалии.

955. Во время еды не всовывай пальцы в рот.

971. Рабби Нехемья сказал: Рвота недопустима в публичном месте (она расценивается как неуважение к обществу).

* * *

...Открываю рукопись книги, которую издательство "Шамир", где я работаю редактором, собирается выпускать в свет, и читаю: "Сотни учеников устремились в Барселону, чтобы, сидя у ног вдохновенного учителя, припасть к неиссякаемому роднику его познаний в Талмуде". Прелесть какая! Фраза, достойная того, чтобы ее увековечили, — но уж, конечно, не в учебнике по истории еврейского народа, который я сейчас готовлю к печати.

Поистине: поройся в жемчужинах — найдешь в них немало перлов...

ПИСЬМА

Уважаемый господин редактор!

В № 49 Вашего журнала я прочитал Ваше интервью с Анатолием Щаранским. Рассказывая в начале своего интервью о том, как он пришел к еврейству и сионизму, он допускает высказывание, которое я не могу оставить без ответа. Вот это высказывание — коснувшись роли, которую сыграла в его национальном самосознании Шестидневная война, Щаранский продолжает:

“Ну, потом был 68-й год, Чехословакия, и это тоже было серьезным толчком, потому что тогда я внезапно ощутил явную разницу между собой и окружающими меня неевреями. Я помню, все мои друзья по Физ-Теху — либералы, демократы, Синяевского и Даниэля почитывали — вдруг стали говорить, что не для того, мол, мы русскую кровь проливали, чтобы теперь Чехословакию отдавать, чтобы чехи нам указывали и так далее. Такие совершенно имперские соображения... Я почувствовал, что мне это абсолютно чуждо. Не просто я этих взглядов не разделяю, а, вообще, вижу мир иначе. А они не понимают того, что мне кажется совершенно очевидным. Я впервые тогда задумался над этим своим отличием от других, и к моему сионизму добавилось ощущение какой-то принципиальной разницы между моим еврейским сознанием и национальным сознанием русских людей”.

Много раз я клялся себе, что буду оставлять такие высказывания без внимания. Но обычно их допускают люди иного морального и интеллектуального уровня, да и меньшей осведомленности. А здесь неподобающие слова о русской интеллигенции, о порядочных людях, говорит человек, который, казалось бы, больше многих других должен знать, что это за люди. Надо ли доказывать, что высказывания, которые Щаранский преподносит здесь, как типичные для русской интеллигенции, и которые якобы помогли ему ощутить свою особость, вовсе для нее не типичны? Ведь они, вообще, выражают дух вовсе не русский и даже не имперский, а советский и жлобский. Пьяные в автобусах и электричках, в основном, держали такие речи. По моим наблюдениям довольно интересно держали. До 21 августа — во всю мочь, с 21-го приблизительно по 23-е — вдруг почти замолкли (боялись, что на войну возьмут), а потом опять — еще пуще. На то и жлобы. Кстати, и они не родились жлобами — у них все отняли, вот и тешатся ощущением силы. Кстати, это ощущение силы пьянило жлобов не только русских. Я тогда объехал, почитай, всю Европейскую часть: был на Кавказе, на Украине, в Молдавии. И везде было одно и то же. Упоение силой. Мобилизованные молдаване через Прут и Дунай единокровным румынам задницы показывали. Еврейские родственники моей жены тоже выражались насчет чехов вполне неуважительно. Всем они о чем-то неприятном и непреодолимом в их жизни напоминали, всех раздражало, что кто-то рпыается.

Но при чем тут интеллигенция? Вполне возможно, что в Физ-Техе были люди, которые жлобства своего не преодолели (способности к науке — не гарантия от жлобства), но до времени стеснялись и прятали его, а тут — сказалось. И, может быть, даже по непонятным причинам именно они и только они окружали в Физ-Техе Щаранского. Хотя я выступал там не раз, и знаю, что там учились не только жлобы (я таких там вообще не видел). Впрочем, тут Щаранскому лучше знать. Но отличие его отношения к советской интервенции от жлобского вовсе не было его отличием от настоящей интеллигенции русского происхождения. Это было типичное отношение русского интеллигента, да и всякого порядочного человека вообще. Например, тех, кто выходил на Красную площадь. И всех, с кем в те страшные дни я встречался во многих московских домах и кто так же, как и я, воспринимал происшедшее как личное крушение. Мне и отмечать неудобно, что это были отнюдь не только “граждане еврейского происхождения”.

Я очень рад за Щаранского, что в нашем зыбком, качающемся мире он сумел найти себе прочную точку опоры в виде адекватного его личности мировоззрения. Но меня сейчас интересует не оно, а люди, которых он мимоходом ошельмовал для того, чтоб объяснить, как он к этому мировоззрению пришел. Скорей всего, ошельмовал он их, вовсе не желая и даже не заметив этого, — в конце интервью есть место, показывающее, что он знает настоящую цену этим людям. Но ведь не всякий дочитает до конца, а начало, как видел читатель, звучит вполне определенно и чего-либо другого совсем не обещает. Это другое появляется в конце в полном противоречии с началом.

Мне бы хотелось, чтоб Анатолий Щаранский внимательно и беспристрастно перечел сейчас этот абзац из своего интервью, и тогда, я уверен, ему самому захочется внести в него необходимые уточнения.

Наум Коржавин

В редакцию журнала “22”

Редакция предложила мне написать ответ на письмо Наума Коржавина. Прочитав его, я начал было оправдываться, припоминая все свои действия, интервью и заявления, доказывающие мою “невиновность”, — но вовремя остановился. Нелепо доказывать, что ты — не верблюд. Но так же нелепо доказывать, что ты и других людей верблюдами не считаешь.

Уж если даже в своем коротком последнем слове на суде, когда я весь был сосредоточен на одном — почувствовать себя вместе со своим народом и семьей, увидеть через головы судей Израиль, — я нашел нужным сказать, “поправляя” Коржавина, “приличные слова о порядочных людях, о русской интеллигенции”, то, казалось бы, что же еще нужно доказывать?

Хочу лишь заметить, что в интервью журналу “22” я не пытался анализировать особенности русского или еврейского национального сознания. Я ничего не говорил о роли русской интеллигенции в истории России и о

ее очень сложной связи с русским национальным сознанием. И уж, конечно, я не пытался поднимать важный и интересный вопрос о том, являются ли широко распространенные в СССР великодержавные настроения порождением лишь советского и "жлобского" сознания, или в этом есть и российские корни.

Ключевский и Соловьев, Бердяев и Достоевский своими трудами дают богатую пищу для размышлений на эту тему, однако я не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы браться сейчас за них.

Я лишь, отвечая на вопросы корреспондента, попытался описать те стадии отчуждения от общества, которые я, ассимилированный советский еврей, прошел на своем пути из России в Израиль.

Могу только добавить, что именно тогда, когда я вернулся к своим национальным корням, я смог лучше оценить традиции и принципы жизни других народов. В частности, именно в период своей активной борьбы за выезд в Израиль я смог увидеть глубокую связь и преемственность великой традиции русских интеллигентов от Радищева до Сахарова.

Словом, при всем моем уважении к Науму Коржавину как русскому писателю и русскому интеллигенту я не принимаю его критику.

С уважением

Натан Щаранский

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

В "22" № 52, в стихотворении В. Тарасова "Преданье" (стр. 52) строка 10 сверху вместо "выпив пригоршню л и л у ю" следует читать – "выпив пригоршню л и х у ю"; стр. 11 сверху вместо "Откроются А л и и горы-врата" следует читать "Откроются А з и и горы-врата". Редакция приносит извинения автору и читателям.

В апреле-мае журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: И. Бар-Нави (Хайфа) – 20 шек., А. Кербель (Рамат-Шауль) – 20 шек., Л. Надель (Иерусалим) – 25 шек., Э. Рудштейн (Иегуд) – 10 шек., Н. Тышкевич (Безр-Шева) – 20 шек., В. Воронель (США) – 10 долл., Л. Коринец (США) – 20 долл. Выражаем глубокую признательность нашим друзьям.

Главный редактор – Рафаил НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, Н. РУБИНШТЕЙН,
М. ХЕЙФЕЦ, Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА

заведующая редакцией – Мириам БАР-ОР
технический редактор – Наталья РУБИНА

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", Р. О. Б. 7045, Рамат-Ган.
Телефон редакции – 1031-394525*

Представители журнала за рубежом:

США: L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805.

ФРГ: L. Roitman, 67 Oettingest. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22.

L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

Великобритания: R. Weismal, 1 Lodqe Rd., Hendon, London NW4 4DD.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва–Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 50 шек., за рубежом – 40 долл. (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56 долл.), для организаций – 50 долл.

Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС" , ул. Рош-ПИна 22, Тель-Авив

